

ФРИДРИХ АВГУСТ ФОН ХАЙЕК - ИНДИВИДУАЛИЗМ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК (1948)

СОДЕРЖАНИЕ:

СВОБОДНЫЙ УМ В НЕСВОБОДНУЮ ЭПОХУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. ИНДИВИДУАЛИЗМ: ИСТИННЫЙ И ЛОЖНЫЙ

ГЛАВА II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЗНАНИЕ

ГЛАВА III. ФАКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

ГЛАВА IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

ГЛАВА V. СМЫСЛ КОНКУРЕНЦИИ

ГЛАВА VI. «СВОБОДНОЕ» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОНКУРЕНТНЫЙ ПОРЯДОК

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ (I): ХАРАКТЕР И ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ

ГЛАВА VIII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ (II): СОСТОЯНИЕ ДИСКУССИИ

ГЛАВА IX. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ (III): КОНКУРЕНТНОЕ «РЕШЕНИЕ»

ГЛАВА X. РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА С ТОВАРНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ГЛАВА XI. ЭФФЕКТ РИКАРДО

ГЛАВА XII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

СВОБОДНЫЙ УМ В НЕСВОБОДНУЮ ЭПОХУ

О книге Ф.А.Хайека "Индивидуализм и экономический порядок".

Фридрих Август фон Хайек (1899--1992) -- лауреат Нобелевской премии, лидер неоавстрийского направления в экономической науке, критик социализма и кейнсианства, продолжатель традиций классического либерализма, один из крупнейших социальных мыслителей XX столетия -- вряд ли нуждается в представлении. [Краткий биографический очерк см. в статье: Капелюшников Р. Философия рынка Фридриха фон Хайека. -- "Мировая экономика и международные отношения", 1989, # 12.]. Многие его книги и статьи переведены на русский язык, его концепции активно обсуждаются отечественными философами, социологами, экономистами. Более того, его имя то и дело всплывает в спорах по проблемам текущей политики. (Сам Хайек, всегда сторонившийся политической злобы дня, был бы, вероятно, немало этим удивлен.)

Чем объяснить такое безразличное, пристрастное отношение к его наследию? Дело, скорее всего, в хайековской сосредоточенности на исследовании глубинных основ современного общества. Когда фундамент, на котором стоит здание человеческого сообщества, прочен, внимание и усилия естественно переключаются на обустройство "верхних этажей". Но когда закладка нового фундамента еще не закончена, насущным становится осмысление опорных принципов социального бытия, и здесь трудно найти лучшего собеседника, чем Фридрих Хайек.

"Индивидуализм и экономический порядок" (1948) -- пятая крупная книга Хайека, выходящая по-русски [Хайек Ф.А. Общество свободных. London, "Overseas Publications Interchange Ltd.", 1991; Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. М., "Catallaxy", 1992; Хайек Ф.А. Дорога к рабству. М., "Прогресс", 1993; Хайек Ф.А. Частные деньги. М., Институт национальной модели экономики, 1996]. В ней собраны его "малые произведения" 30--40-х годов -- статьи, лекции, доклады. Это был нелегкий период в жизни ученого, когда из чистого экономиста-теоретика он все больше превращался в социального философа, работающего на пересечении многих дисциплин. Смена основной сферы деятельности далась ему нелегко и сопровождалась растущим отчуждением от профессионального сообщества экономистов. Тогда же левой интеллигенцией Запада он был предан анафеме за "Дорогу к рабству" (1944), где прослеживались общие корни тоталитарных идеологий -- нацизма и коммунизма.

Постепенная переориентация научных интересов Хайека нашла отражение в сборнике "Индивидуализм и экономический порядок". Вошедшие в него работы относятся к различным отраслям знания: политической философии, эпистемологии, методологии науки, экономической теории; в некоторых из них рассматриваются практические предложения по усовершенствованию отдельных звеньев общественного механизма. Однако все они, как предупреждает в предисловии автор и как вскоре убедится сам читатель, исходят из общего взгляда на природу сложных человеческих сообществ.

Открывает сборник статья "Индивидуализм: истинный и ложный" (1945). Хайек производит здесь своеобразный смотр основополагающих принципов и ценностей "классического либерализма", таких как верховенство права, частная собственность, федерализм, демократия и др. Необходимо напомнить, в какое время была написана эта работа.

Период между Первой и Второй мировыми войнами, особенно 30-е годы, по праву можно считать эпохой затмения либерализма. Первая мировая война, а затем Великая депрессия

нанесли по нему такие удары, после которых, казалось, он уже никогда не оправится. Отступление от традиций либерализма шло по всему фронту -- как в сфере теоретической мысли, так и в сфере практической политики. Господствовало убеждение, что капиталистическая система доказала свою экономическую несостоятельность и моральную ущербность и что будущее за централизацией, сознательным планированием, всепроникающим государственным контролем. Классический либерализм воспринимался как достойный осмеяния старомодный пережиток, всеобщее увлечение тоталитарными идеологиями оставляло мало надежд на выживание свободного общества.

Неоднозначное воздействие на состояние умов было оказано Второй мировой войной. С одной стороны, она наглядно показала, к чему приводит полный отказ от либеральных ценностей в попытках переустроить общество по тоталитаристским схемам. С другой стороны, неизбежное в условиях войны усиление контроля государства над экономикой порождало иллюзию, что это и есть ключ к решению всех проблем будущего мирного времени.

В этот критический момент выбора путей мирной жизни Хайек считал своим долгом напомнить об общих принципах, лежащих в основе современной цивилизации, начать трудную работу по реабилитации и обновлению либерального символа веры. В качестве общего обозначения отстаиваемой им политической философии он избирает термин "индивидуализм". Но на какую традицию в истории мысли следовало бы опереться защитникам идеи свободы в середине XX века? Чтобы ответить на этот вопрос, Хайек берется за "расчистку корней", выявляя родословную двух несовместимых подходов, известных под одним и тем же именем.

"Истинный индивидуализм" он возводит к идеям Дж.Локка, Б.Мандевиля, Д.Юма, А.Смита, А.Фергюсона, а в XIX веке относит к его ведущим представителям А. де Токвиля и лорда Актона. "Ложный индивидуализм" он связывает с традицией, восходящей к Декарту и воспринятой затем физиократами, энциклопедистами и Руссо. (Важно отметить, что утилитаризм И.Бентама и "ревизионистский либерализм" Дж.Ст.Милля Хайек также выводит, хотя и не полностью, за пределы "истинного индивидуализма".)

По Хайеку, разделительная черта между двумя типами индивидуализма пролегает в вопросе о природе основополагающих общественных институтов: являются ли они непредвиденным результатом взаимодействия множества людей или продуктом чьего-то сознательного замысла, вырастают спонтанно или создаются по заранее вычерченным схемам? Согласно одному подходу, свобода деятельности индивидов не только не противоречит возникновению "порядка" в обществе, но сама является его источником. Согласно другому, "порядок" в обществе может создаваться только сверху, сознательными усилиями конструирующей его власти. В конечном счете различие позиций связано с неодинаковой оценкой интеллектуальных возможностей человека: смирению "истинного индивидуализма", признающего неизбежную ограниченность человеческого разума, противостоит гордыня "ложного индивидуализма", верящего в неограниченную мощь человеческого интеллекта и считающего его способным переустроить общество по собственному усмотрению (позднее Хайек обозначил такую установку как "конструктивистскую").

Небольшая работа Хайека "Факты общественных наук" (1942), посвященная методологическим проблемам социальных дисциплин, отпочковалась от созданного им в годы войны фундаментального исследования "Контрреволюция науки" [перевод "Контрреволюции науки" готовится к выходу в свет издательством "Catallaxy"]. В ней он

предстает как убежденный противник сциентизма " не критического переноса в общественное знание методов естественных наук. Вопреки претензиям на "научность", показывает Хайек, сциентистский подход к социальным явлениям ведет к прямо противоположному результату -- к персонификации таких целостностей, как "общество", "государство", "класс", которые начинают наделяться собственными потребностями, интересами и мотивами и изображаться так, как если бы это были самостоятельные живые существа.

Методологическим принципом, адекватным общественным наукам, Хайек считал принцип методологического индивидуализма, согласно которому любое социальное образование есть не что иное, как сеть взаимоотношений между индивидами, и не существует вне и помимо них. (Впервые этот принцип был отчетливо сформулирован К. Менгером, родоначальником "австрийской школы" в экономической науке.)

Еще одной мишенью хайековской критики становится историцизм -- представление о том, что история человечества жестко "запрограммирована" на прохождение через строго определенную последовательность эпох, или стадий развития. (Одним из наиболее откровенных историцистов был, как известно, К. Маркс.) Хайековские рассуждения на эту тему было бы интересно сопоставить с "Нищетой историцизма" К. Поппера, которая была написана раньше, но публиковалась на английском языке почти одновременно с "Контрреволюцией науки". [См.: Поппер К. Р. Нищета историцизма. М., "Путь", 1993. Двух ученых связывала тесная дружба. Именно по инициативе Хайека Поппер был приглашен в Лондонскую школу экономики. Их многолетнюю переписку предполагается опубликовать в одном из томов академического "Полного собрания сочинений Ф. А. Хайека".]

Ф. Хайек говорил в шутку, что за всю жизнь ему удалось сделать одно открытие и два изобретения. Своим открытием он считал концепцию рассеянного знания (он называл ее также концепцией разделения знания -- по аналогии с концепцией разделения труда у экономистов-классиков). [К своим "изобретениям" Хайек относил проект денационализации денег (см. ниже) и проект двухпалатного парламента особого типа. Верхняя палата такого парламента занималась бы законодательством в строгом смысле слова, устанавливая "правила справедливого поведения", по определению Хайека, в таких сферах, как гражданское право, уголовное право и др., тогда как нижняя ведала бы делами собственно государственного управления, выпуская необходимые "инструкции" по таким проблемам, как бюджет, оборона, внешняя политика и т.п. По мысли Хайека, такое разделение функций освободило бы законодательный процесс от искажающего давления корыстных групповых интересов.] Первый ее набросок содержится в лекции 1936 г. "Экономическая теория и знание" (глава вторая настоящего сборника), а зрелая формулировка -- в выступлении в 1945 г. перед Американской экономической ассоциацией "Использование знания в обществе" (глава четвертая). В них Хайек развивает представление о рынке как особого рода информационном устройстве, осуществляющем координацию знаний миллионов не знакомых друг другу людей. Чтобы подчеркнуть эту уникальную способность рынка, он называет его "телекоммуникационной системой".

По мысли Хайека, рынок обеспечивает синтез предельно конкретного знания с предельно абстрактным. Под первым понимается индивидуальное знание специфических условий времени, места и образа действий. Значительная часть такой информации неформализуема и невербализуема, не поддается выражению в словах или каких-либо иных символах. Оставаясь неявной, она воплощается в практических навыках и умениях, в опыте и мастерстве, в профессиональных приемах и привычках. Еще одна особенность "локального" знания -- его быстротечность: многие благоприятные возможности,

открывающиеся индивиду, существуют только здесь и сейчас, и, если ими не воспользоваться сразу же, они будут упущены навсегда. Но именно умение пользоваться уникальными возможностями времени и места предопределяет в конечном счете успех в любом деле, обеспечивает индивидуальные преимущества в производительности труда. Рынок создает условия для эффективного использования всего этого личностного знания, наделяя правом распоряжаться им самих его носителей.

Этого, однако, недостаточно. Нужно еще создать условия для координации разрозненных знаний, рассеянных среди множества индивидуумов, что невозможно без предоставления им обобщенной информации о состоянии всей системы. Сгустками такой абстрактной информации выступают цены. В сжатом виде они содержат сведения о предпочтениях, производственных возможностях и планах на будущее участников рынка, тем самым помогая каждому из них вписать свои конкретные специфические знания в общую систему разделения знаний. Хотя координация, достигаемая с помощью ценовых сигналов, далеко не безупречна, она осуществляется достаточно успешно, чтобы посчитать ее "чудом". Хайек намеренно прибегает к этому слову, чтобы подчеркнуть: никакой другой механизм -- в том числе и механизм централизованного планирования -- не способен дать результаты, обеспечиваемые рынком. По Хайеку, решающий аргумент в пользу капитализма является эпистемологическим: конкурентный рынок позволяет с большей эффективностью использовать больший объем знаний, рассеянных среди членов современного сложного общества, не имеющих, как правило, ни малейшего представления друг о друге, чем какая бы то ни было альтернативная система.

В "Смысле конкуренции" (1946) скрупулезному критическому анализу подвергается понятие "совершенной конкуренции", одно из центральных для неоклассической экономической теории. Характерному для неоклассиков представлению о конкуренции как об определенном состоянии Хайек противопоставляет выработанное "австрийской школой" понимание конкуренции как динамического процесса. По его замечанию, понятие "совершенной конкуренции", как это ни парадоксально, в принципе исключает всякую конкурентную деятельность. Теория "совершенной конкуренции", предостерегает Хайек, не только далека от реальности -- очень часто она становится источником вредных практических рекомендаций (вроде требований обязательной стандартизации продукции и т.п.).

Намеченные в "Смысле конкуренции" подходы были развиты позднее в статье Хайека "Конкуренция как процедура открытия" (1968), где конкуренция трактуется как метод открытия, метод порождения новых знаний [см.: Хайек Ф.А. Конкуренция как процедура открытия. -- "Мировая экономика и международные отношения" 1989, # 12.]. Приращение знаний в ходе конкуренции достигается не только потому, что благодаря ей производители открывают новые потребности, до сих пор никем не замечавшиеся, а потребители -- новые способы их удовлетворения, ранее им не известные. Вдобавок экономические агенты узнают нечто новое и о самих себе: на что они реально способны по сравнению со всеми остальными (насколько лучше или дешевле они могут удовлетворять чьи-то потребности). Ситуация здесь аналогична ситуации в спортивных состязаниях. И это означает, что всякое искусственное ограничение конкуренции сокращает объем знаний, доступных обществу.

"Свободное" предпринимательство и конкурентный порядок" (1947) представляет собой вступительную речь, которой открылась первая встреча международного Общества Мон-Пелерин (по названию местечка в Швейцарии, где была организована эта встреча). Оно было создано по инициативе Ф.Хайека и объединило ученых и практических деятелей, озабоченных судьбами свободы в современном мире. В списке его членов такие имена,

как К.Поппер, М.Полани, Ж.Рюэфф, М.Фридман, Л.Эрхард и др. Со дня основания до 1960 г. Ф.Хайек был председателем, а затем почетным председателем Общества.

Главная мысль хайековского выступления отчетливо выражена в его названии: защиту конкурентного порядка недопустимо сводить к идее "свободного предпринимательства", лозунгу *laissez-faire*. В этом, по убеждению Хайека, состояла роковая ошибка либералов XIX века, ставшая причиной их поражений. Вместо того чтобы давать практические ответы на возникавшие перед обществом новые сложные вопросы, они ограничивались повторением общего положения о неприемлемости государственного вмешательства. Наступление государства, подчеркивает Хайек, можно остановить, только если сегодняшние либералы будут вырабатывать собственные рецепты преодоления трудностей, с которыми сталкивается современный мир. В своем выступлении он приводит внушительный список проблем, ждущих решения.

Прошедшие годы подтвердили дальновидность такого подхода. Кардинальные изменения в интеллектуальном климате современного общества, а затем и серьезные политические сдвиги произошли действительно именно тогда, когда начали активно разрабатываться и предлагаться новые, иногда неожиданные, практические решения, выдержанные в либеральном духе.

Драматичным эпизодом в истории экономической мысли XX столетия стала знаменитая дискуссия об экономическом расчете при социализме (*the socialist calculation debate*), одним из главных участников которой стал Ф.Хайек. Под его редакцией вышел сборник "Коллективистское экономическое планирование" (1935), для которого им были написаны вводная и заключительная главы. Позднее он откликнулся обширной рецензией (1940) на книги О.Ланге и Г.Диккинсона, двух ведущих теоретиков "рыночного социализма". Эти хайековские работы образуют центральную часть "Индивидуализма и экономического порядка" (главы седьмая, восьмая, девятая).

Дискуссия о возможности "социалистического расчета" длилась несколько десятилетий, и здесь нет возможности проследить все ее повороты.

Проблема была поставлена в 1920 г. учителем Хайека Людвигом фон Мизесом, выдвинувшим тезис о невозможности рационального экономического расчета при отсутствии рынка и частной собственности на средства производства [Mises L.v. *Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen*. -- "Archiv fur Sozialwissenschaften und Sozialpolitik", 1920, v. 47, # 1]. Пик полемики пришелся на 30-е годы. Вызов критиков социалистического планирования, Л.Мизеса, Ф.Хайека и Л.Роббинса, приняли Г.Диккинсон, М.Добб, Э.Дурбин, О.Ланге, А.Лернер, Ф.Тэйлор и др. Поначалу большинство экономистов были склонны принять точку зрения критиков социализма, однако вскоре чаша весов склонилась на сторону их оппонентов. Возобладало мнение (перекочевавшее затем во все учебники), что тезис Мизеса был полностью опровергнут усилиями О.Ланге и его единомышленников.

Исходная критика социализма велась с позиций "австрийской школы" и была обращена против "классического" марксистского проекта плановой безденежной экономики. [Как показал Хайек в "Контрреволюции науки", истоки идеи всеобъемлющего централизованного планирования лежат в технократических фантазиях Сен-Симона, от которого она и была воспринята Марксом.] Чтобы принимать рациональные экономические решения (то есть достигать наилучших результатов при наименьших затратах), необходимо, утверждал Мизес, знать цены: их он называл "помощниками ума". Без цен невозможна калькуляция прибылей и издержек, а значит, невозможно узнать,

производится ли из того или иного набора ресурсов продукт, имеющий наивысшую ценность. "Где нет никакого рынка, -- писал Мизес, -- нет никакой системы цен, а где нет никакой системы цен, не может быть никакого экономического расчета". При отсутствии цен и общего знаменателя, в котором они могут быть выражены, общество обречено на "калькуляционный хаос". Опыт советского "военного коммунизма" стал своеобразным экспериментальным подтверждением этого тезиса. Вместо обещанного роста благосостояния безденежная, безрыночная экономика принесла нищету и разруху.

Последующая дискуссия прошла через несколько этапов, которые подробно прослеживаются Хайеком.

Большинство ортодоксальных марксистов оказались настолько наивны в теоретическом отношении, что просто не поняли, в чем суть доводов Мизеса. [Это, например, наглядно видно из дискуссии о безденежной экономике в советской литературе 20-х годов. См. блестящее изложение этой дискуссии у Л.Юровского: Юровский Л.Н. Денежная политика советской власти (1917--1927). Избранные статьи. М., "Начала-пресс", 1996.] Они восприняли их как попытку доказать, что централизованное планирование невозможно физически. Это, конечно, недоразумение. Речь шла не о возможности или невозможности существования централизованного планирования как такового, а о другом: возможно или невозможно успешное централизованное планирование, превосходящее по эффективности рыночный механизм координации.

В результате миссия защиты социализма от австрийской критики перешла к экономистам-неоклассикам, отправным пунктом для которых служила модель общего равновесия Л.Вальраса. Принципиальное отступление от исходной марксистской схемы состояло в том, что они признали ключевую роль цен для рационального размещения ресурсов. Идея марксистов, что экономический расчет возможен при отсутствии денег -- с помощью каких-либо натуральных измерителей (единиц энергии или часов труда), -- была оставлена. Однако, по мнению экономистов-неоклассиков, функция цен могла бы успешно реализовываться -- в иных формах -- и при социализме. В таком случае социализм представал бы как более совершенная общественная система, поскольку, не уступая капитализму по эффективности, он в то же время был бы в состоянии обеспечить большее равенство в распределении доходов.

Историки экономической мысли выделяют два основных варианта ответа на тезис Мизеса. Первый -- за ним закрепилось название "планометрического" -- предполагал, что централизованное планирование способно "имитировать" действие рыночного механизма на бумаге. Равновесный набор цен, обеспечивающий оптимальное размещение ресурсов, может быть найден с помощью соответствующих математических моделей.

Второй вариант получил название "рыночного социализма". Это был еще один шаг назад от исходной марксистской схемы. Если на предыдущей стадии дискуссии защитники планирования признали "теоретические" достоинства рынка, вменив в обязанность плановым органам "имитировать" его работу на бумаге, то теперь они пошли дальше, допустив существование при социализме реальных рынков. Фактически предлагалась гибридная конструкция -- с рынком, но без частной собственности. (Или, если точнее, с рынками потребительских товаров и труда, но без рынка капитала.)

Что касается производственных благ, то равновесные цены на них сторонники "рыночного социализма" предлагали устанавливать методом проб и ошибок -- на манер вальрасианского аукционщика. Плановым органам предстояло назначать пробные цены, которые в течение установленного периода оставались бы неизменными, так что

менеджеры социалистических предприятий принимали бы их как "данные". (В связи с этим О.Ланге писал о "параметрической функции цен".) Затем в зависимости от возникновения либо избыточного спроса, либо избыточного предложения они пересматривались бы в ту или иную сторону -- и так до тех пор, пока в конце концов не "нащупывались" бы искомые ценовые соотношения.

Хайек вскрывает непонимание самой сути рыночного процесса, стоящее как за "планометрическим", так и за "конкурентным" решением. В основании его критики лежит концепция рассеянного (неявного) знания. При социализме, доказывает он, гигантский массив знаний, имеющихся у индивидуальных агентов, неизбежно останется не востребуемым. Эта эпистемологическая ущербность, присущая социалистической системе, непреодолима.

"Планометрическая" схема несостоятельна прежде всего потому, что оставляет без ответа вопрос, каким образом всю соответствующую сумму знаний предполагается сосредоточить в центре. Ведь "имитация" работы рынка плановыми органами могла бы начаться только после получения всей необходимой для этого информации. Но важнейшая ее часть -- это неявные, личностные знания. Такие знания по определению не поддаются формализации и передаче. Кроме того, для приспособления к постоянно меняющимся условиям необходимы оперативные решения. Но ни о какой оперативности не может быть и речи, когда информацию о происшедших переменах придется сначала передавать наверх, а затем ждать указаний, как действовать. Потеря времени будет означать потерю огромного количества благоприятных возможностей, требующих мгновенной реакции. Поэтому система всеобъемлющего централизованного планирования неспособна даже отдаленно приблизиться к результатам, демонстрируемым рынком.

Далеко не всеми этот аргумент был верно понят. Некоторые восприняли его так, будто речь шла не о невозможности рационального экономического расчета в условиях плановой системы, а о невозможности математических вычислений, которые понадобились бы для решения системы уравнений с астрономически большим числом неизвестных. В таком случае помочь делу могли бы дальнейший прогресс математики и появление сверхмощных компьютеров. Однако аргументация Мизеса и Хайека не была столь примитивной. По их мысли, плановые органы не были бы способны не то что решить, но даже составить искомую систему уравнений -- из-за невозможности аккумулировать в центре все необходимые для этого "данные". Лишь видимость решения проблемы рассеянного знания, показывает Хайек, дает и модель "рыночного социализма".

Мизес и Хайек расходились с экономистами-неоклассиками прежде всего в понимании категории издержек, центральной для всей дискуссии. "Рыночные социалисты" видели в издержках объективно данную величину. Но в действительности оценки альтернативных издержек всегда субъективны и строятся исходя из индивидуальных представлений участников рынка об открывающихся благоприятных возможностях. Опираясь именно на такие субъективные ожидания и представления, предприниматели вступают в конкуренцию за право употребить часть ресурсов общества для реализации намеченных ими проектов. Важнейшее условие здесь -- свобода установления цен на ресурсы, принципиально не допускавшаяся теоретиками "рыночного социализма". Но если предприниматель лишен возможности предложить за факторы производства, необходимые ему для осуществления новой идеи, более высокую цену, ресурсы не направляются туда, где отдача от них была бы выше, а остальные агенты так и не узнают о возросших альтернативных издержках их использования. В схеме "рыночного социализма" цены перестают быть эффективными "разносчиками" информации и

оказываются не связанными с издержками, что делает невозможным рациональный экономический расчет.

Иногда складывается впечатление, что участники дискуссии говорили на разных языках. Критики социализма спрашивали: как в условиях плановой экономики на деле будут решаться задачи сбора, обработки и передачи информации, обобщение и координацию которой в условиях капитализма осуществляет конкурентный рынок? На это их оппоненты отвечали, что, если бы такая информация была "дана" органам планирования и они были бы в состоянии мгновенно осуществлять расчеты любой степени сложности, тогда ничто не мешало бы принимать решения, не уступающие по эффективности рыночным. Затрудненность диалога во многом объяснялась тем, что защитники социализма мыслили в статической, тогда как его критики -- в динамической парадигме. Однако в статических условиях проблема экономического расчета, как ее понимали Мизес и Хайек, вообще не встает. Она возникает только в динамических условиях, требующих постоянного приспособления к новым открывающимся фактам. Модель совершенной конкуренции, где нет неопределенности и все известно заранее, не оставляет места для экономического расчета и потому мало чем может помочь в анализе этой проблемы.

По существу, сторонники социализма из числа экономистов-неоклассиков доказывали, что с точки зрения эффективности не имеет значения, владеют ли средствами производства частные лица или государство: результат в обоих случаях будет примерно одинаков. Но свидетельствовало это только об одном: о неприменимости модели общего равновесия для оценки альтернативных институциональных установлений. По удачному сравнению современных исследователей, утверждать, исходя из предпосылок этой модели, что планирование не уступает по эффективности рынку, -- все равно что утверждать, исходя из тех же предпосылок, что бартерная экономика не уступает по эффективности денежной [Furubotn E.G., Richter R. *Institutions and economic theory: an introduction to and assessment of the new institutional economics*. Saarbrucken, 1995, p.15.]. Предполагать такое можно лишь при игнорировании транзакционных издержек, сопровождающих действие разных экономических систем.

Едва ли случайность, что среди теоретиков общего равновесия так часто встречались экономисты, симпатизировавшие социализму, и даже убежденные марксисты. По-видимому, конструкция вальрасианской модели с центральной фигурой аукционщика, мгновенно рассчитывающего цены и доводящего их до сведения индивидуальных агентов, с легкостью совмещалась в их сознании с социалистическими схемами, где такое же центральное место отводилось государству. Дело предстает так, как если бы теоретики социализма решили, что метафора, содержащаяся в вальрасианской модели, поддается буквальному перенесению в жизнь.

Обе стороны вышли из спора о возможности "социалистического расчета" с ощущением своего выигрыша. Однако подавляющему большинству экономистов привычнее и ближе оказался способ мышления О.Ланге и других "рыночных социалистов", рассуждавших в терминах сравнительной статики. Они и были признаны победителями.

Потребовалось почти полвека, чтобы эта оценка была пересмотрена. До окончательного отказа от нее дошло только в 80-е годы, когда оставалось совсем мало времени до краха "реального" социализма. Сегодня правота Мизеса и Хайека в том давнем споре практически никем не ставится под сомнение. [См.: Vaughn K.I. *Economic calculation under socialism: the Austrian contribution*. -- "Economic Inquiry", 1980, v.18, " 4; Murrell P. *Did the theory of market socialism answer the challenge of Ludwig von Mises?* -- "History of Political Economy", 1983, v.15, # 1; Lavoie D. *Rivalry and central planning: the socialist calculation*

debate reconsidered. Cambridge, 1985.] С этим вынуждены были согласиться даже те экономисты (вроде П.Самуэльсона), которые десятилетиями повторяли в своих учебниках вывод о победе теоретиков "рыночного социализма".

Много сил отдал Ф.Хайек борьбе с инфляционистскими тенденциями, под знаком которых прошел почти весь XX век. Особую тревогу вызвала у него ситуация, сложившаяся в 30-е годы в результате глубокого кризиса системы золотого стандарта. При всех его недостатках золотой стандарт достаточно жестко дисциплинировал поведение денежных властей отдельных государств. Какая альтернативная система могла бы справляться с этой задачей по меньшей мере не хуже или даже лучше него? Этой проблеме посвящена написанная в форме рецензии небольшая работа -- "Резервная валюта с товарным обеспечением" (1943), где Хайек выступает за введение единой резервной валюты, основанной на товарном стандарте (глава десятая). Он подробно останавливается на преимуществах денежной единицы, стоимость которой поддерживалась бы неизменной по отношению к некоторому фиксированному набору товаров. Одновременный переход всех ведущих стран на такой стандарт обеспечил бы, по его мнению, стабильность международной валютной системы.

Позднее эта идея получила неожиданное продолжение в очерке Хайека "Денационализация денег" (1976), где она была дополнена экстравагантным, на первый взгляд, предложением: лишить государство монополии на денежную эмиссию [эта работа опубликована в издании: Хайек Ф.А. Частные деньги. М., Институт национальной модели экономики, 1996.]. По замыслу Хайека, право на выпуск собственной валюты, основанной на товарном стандарте, следовало бы предоставить всем желающим частным банкам. Это не значит, что все они должны были бы эмитировать валюту одного наименования и выражать ее стоимость в одном и том же наборе товаров. Каждый эмитент был бы вправе выбрать наиболее предпочтительный с его точки зрения стандарт. В поливалютном мире выигрывал бы тот, кто добивался бы большей стабильности своей денежной единицы и выбирал более удачный товарный набор в качестве ее обеспечения: "хорошие" деньги вытесняли бы "плохие". В условиях конкуренции со стороны частных денег государству не оставалось бы ничего другого, как поддерживать стабильной стоимость своей собственной валюты, иными словами -- избегать соблазна инфляции. Конкуренция налагала бы на денежные власти более жесткую дисциплину, которую, полагал Хайек, не в состоянии обеспечить ни золотой стандарт, ни монетаристское правило постоянного темпа прироста денежной массы.

Важным вкладом в разработку неоавстрийской теории экономического цикла явилась статья Хайека "Эффект Рикардо" (1942). Понятие "эффекта Рикардо" было введено в ряде хайековских работ 30-х годов, спровоцировавших оживленную полемику [Hayek F.A. Prices and production. London, 1935, pp. 69--100, 148--157; Hayek F.A. Profits, interest and investment. London, 1939, pp. 3--71; Hayek F.A. A comment. -- "Economica", 1942, v.9, Nov.]. Рассматриваемая статья построена как развернутый ответ критикам. Дискуссия на этом не завершилась: уже в 60-е годы она была продолжена Дж.Хиксом, что заставило вернуться к ней вновь и самого Хайека [Hicks J. The Hayek story. In: "Critical essays in monetary theory". Oxford, 1967; Hayek F.A. Three elucidations of Ricardo effect. -- "Journal of Political Economy", 1969, v.77, '2].

Согласно его позднейшей формулировке, "эффект Рикардо" предполагает, "что в условиях полной занятости рост спроса на потребительские блага будет вызывать сокращение инвестиций и, соответственно, наоборот". Эффекту Рикардо отводится важная роль в хайековской интерпретации экономического цикла: он призван объяснять высшую поворотную точку цикла -- от подъема к спаду.

По представлениям "австрийской школы", бум запускается кредитной экспансией, в результате которой денежная норма процента опускается ниже его "естественной" нормы. Под воздействием этого ложного сигнала предприниматели начинают инвестировать больше, чем общество реально готово сберегать. Но кроме того, падение процента меняет и относительную прибыльность различных видов и методов производства -- в пользу наименее трудоемких. В результате предприниматели начинают больше вкладывать в более капиталоемкие проекты в ущерб менее капиталоемким (по австрийской терминологии, переключаются с менее "капиталистических" методов производства на более "капиталистические").

Однако такое удлинение вертикальной структуры производства не может продолжаться долго. Переключение ресурсов на выпуск большего объема оборудования ведет к временному сокращению производства потребительских товаров и их удорожанию. Рост потребительских цен, опережающий рост денежной заработной платы, запускает "эффект Рикардо", и это кладет конец циклическому подъему: относительное удешевление труда дает толчок возвратному движению -- от более к менее "капиталистическим" методам производства. Растущее отвлечение ресурсов на производство потребительских товаров не позволяет завершить многие начатые проекты, значительная их часть оказывается "зависшей". Предприниматели бросаются за дополнительными кредитами, вследствие чего норма процента идет вверх, восстанавливая равновесие между инвестициями и добровольными сбережениями. Капиталовложения и занятость сокращаются, экономика вступает в фазу спада.

Хайковский анализ "эффекта Рикардо" не был упражнением в чистой теории. Фактически он был ответом на идеи и практические рекомендации Дж.М.Кейнса. Из него следовало, что попытки лечить безработицу непрерывной подкачкой спроса рано или поздно натолкнутся на "эффект Рикардо", что кейнсианская политика, ставящая своей целью обеспечить непрерывный экономический рост при помощи стимулирующих мер государства, обречена на провал.

Главным оппонентом Ф.Хайека выступил Н.Калдор, ученик Кейнса, один из виднейших представителей "кембриджской школы". "Эффект Рикардо" он иронически переименовал в "эффект гармошки" (поскольку вертикальная структура производства должна растягиваться на одних стадиях цикла и сжиматься на других). [Kaldor N. Professor Hayek and the concertina effect. -- "Econimica", 1942, v.9, Nov. Основной контраргумент Колдора состоял в том, что в случае превышения денежной нормой процента "естественного" уровня возрастет прибыльность всех методов производства, пусть одних в большей, других в меньшей степени. Поэтому предприниматели станут расширять выпуск всех видов продукции, а не только наиболее капиталоемкую. Следовательно, те изменения в вертикальной структуре производства, которые предполагаются "эффектом Рикардо", происходить не будут.] Вердикт, вынесенный профессиональным сообществом по поводу полемики об "эффекте Рикардо", как и в случае дискуссии об экономическом расчете при социализме, оказался неблагоприятен для Хайека: он был признан проигравшей стороной.

В 80-е годы эта оценка, до тех пор не менявшаяся, подверглась серьезной корректировке. Обнаружилось, что большинство оппонентов Хайека неадекватно воспринимали его аргументацию. Так, Калдор рассуждал в терминах сравнительной статистики, тогда как Хайек пытался построить динамическую теорию переходного процесса от одного равновесного состояния к другому [Garrison R.W. Hayekian trade cycle theory: a reappraisal. -- "Cato Journal", 1986, v.6, ' 2; Moss L.S., Vaughn K.I. Hayek's Ricardo effect: a second look. -- "History of Political Economy", 1986, v.18, ' 4].

Большинство историков экономической мысли оценивают хайкевский анализ весьма высоко. Признается его теоретическая корректность. Отмечается также, что "эффект Рикардо" действительно мог играть решающую роль в разворачивании некоторых циклических кризисов, хотя его и нельзя признать универсальным механизмом, объясняющим переход от подъема к спаду. Его действие может также выходить за рамки цикла. Так, в 70--80-е годы в странах Западной Европы опережающий рост реальной заработной платы по сравнению с ростом производительности труда привел к последствиям, о которых писал Рикардо: "вытеснению труда машинами" и, соответственно, сокращению занятости.

Сегодня подходы Ф.Хайека к изучению циклического движения экономики развиваются не только его непосредственными последователями, теоретиками неоавстрийского направления. По признанию некоторых представителей школы рациональных ожиданий, при разработке равновесной теории цикла они также во многом опирались на идеи Хайека, высказанные им в 30--40-е годы (на это, в частности, указывал лауреат Нобелевской премии Р.Лукас) [Kim K. Equilibrium business cycle theory in historical perspective. Cambridge, 1988].

В завершающей сборник статье "Экономические условия межгосударственного федерализма" (1939) Хайек обращается к обсуждению проблем интеграции. Основная идея работы -- невозможность прочного политического союза без союза экономического. Многие из высказанных Хайеком соображений были реализованы при создании Общего рынка, многие сохраняют актуальность и сегодня, когда Европа стоит на пороге нового этапа интеграции.

Но эта работа интересна еще и тем, что она разрушает стереотип восприятия Хайека как мыслителя, погруженного в абстрактные материи и далекого от реальной жизни. Сам он также не переставал повторять, что заниматься политически возможным -- дело практического политика; дело политического философа -- открывать общие принципы, не слишком заботясь, готово ли общество принять сегодня его идеи. Однако последняя глава сборника "Индивидуализм и экономический порядок" представляет один из тех примеров, когда Хайек прямо обращается к обсуждению проблем практической политики, и у нас есть возможность оценить, насколько трезвым и реалистическим оказывается его подход, насколько живым и не книжным -- понимание человеческих интересов и устремлений.

Пожалуй, настоящая книга позволяет увидеть разного Хайека лучше, чем любая другая его работа. Абстрактного мыслителя сменяет разработчик вполне конкретных практических предложений, экономиста-теоретика -- виртуозный полемист, историка идей -- пронизательный политический наблюдатель, методолога науки -- убежденный защитник идеалов свободного общества. При этом он неизменно сохраняет независимость от мнений большинства, от давления академической среды, от господствующих увлечений эпохи.

Интеллектуальная мода никогда не имела над ним власти, чего не скажешь о многих и многих его современниках, с готовностью отдававшихся общему течению. Возможно, это самый последовательный "иконоборец" нашего времени. Ведь Фридриху Хайеку довелось противостоять практически всем главнейшим поветриям XX века: социализму, национализму, кейнсианству, идеологии "государства благосостояния". Расплачивался он за это годами забвения и почти полного одиночества. Внутренняя свобода, позволившая ему остаться непобежденным и способствовать глубинным сдвигам в интеллектуальном

ландшафте конца столетия, в полной мере ощутима и в этой книге, приходящей к российскому читателю ровно через полвека после того, как она впервые увидела свет.

ПРЕДИСЛОВИЕ

На первый взгляд может показаться, что очерки, собранные в настоящей книге, посвящены далеким друг от друга темам. Однако, я надеюсь, читатель быстро обнаружит, что в большинстве из них рассматриваются проблемы, тесно связанные между собой. Несмотря на широту охвата -- от моральной философии до методов общественных наук и от проблем экономической политики до чистой экономической теории -- обсуждаемые вопросы трактуются в большинстве очерков как различные аспекты одного главного предмета. Эта связь наиболее очевидна в первых шести из них, однако последующие три -- об экономическом расчете при социализме -- можно в какой-то мере рассматривать как приложение тех же идей к конкретной проблеме, хотя во время написания я еще не воспринимал их именно в таком свете. Только последние три очерка касаются несколько иных моментов теории или политики. Поскольку я уверен, что затронутые в них проблемы будут обсуждаться в будущем шире, чем до сих пор, я воспользовался возможностью представить их в более доступной форме.

Не так давно я опубликовал более популярную книгу по проблемам, связанным с некоторыми из рассматриваемых здесь. Поэтому мне хотелось бы честно предупредить, что настоящее издание не предназначено для общедоступного чтения. Только часть включенных сюда работ (главы I и VI, а также, возможно, IV и V) можно в каком-то смысле считать дополнением к тому предварительному наброску вполне определенных практических выводов, который, побуждаемый чувством безотлагательности, я опубликовал под названием "Дорога к рабству". Остальные безусловно адресованы собратьям-ученым и носят достаточно специальный характер. Все они, должен признаться, представляют собой фрагменты -- промежуточные результаты, появившиеся во исполнение одного моего дальнего замысла и призванные временно служить вместо конечного продукта. Следует, вероятно, добавить, что из своих недавних публикаций в той области, к которой относится большинство глав данной книги, я не включил сюда две серии статей "Сциентизм и изучение общества" и "Контрреволюция науки", поскольку они предназначены для более крупной и систематической работы. Однако их можно найти в соответствующих выпусках журнала "Economica" за 1940 и 1941"-1945 гг.

Приношу благодарность редакторам "American Economic Review", "Economica", "Economic Journal", "Ethics" и "New Commonwealth Quarterly" за разрешение перепечатать статьи, впервые появившиеся в этих журналах, а также издательству George Routledge & Sons, Ltd., London, за разрешение воспроизвести два очерка, вошедших ранее в сборник "Collectivistic Economic Planning", опубликованный в 1935 г.

Ф.А.Хайек

Лондонская школа экономики

ГЛАВА I. ИНДИВИДУАЛИЗМ: ИСТИННЫЙ И ЛОЖНЫЙ

Двенадцатая финлеевская лекция, прочитанная в Университетском колледже, Дублин, 17 декабря 1945г. Опубликовано: Hodges, Figgis & Co., Ltd., Dublin, e B.H. Blackwell, Ltd., Oxford, 1946.

Из восемнадцатого столетия и революции, как из общего источника, вышли два течения: первое вело людей к свободным институтам, тогда как второе направляло их к абсолютной власти.

Алексис де Токвиль

1

Проповедовать в наши дни какие бы то ни было четко сформулированные принципы общественного порядка -- значит почти наверняка заработать ярлык оторванного от жизни доктринера. Стало считаться признаком беспристрастного ума, когда в социальных вопросах не придерживаются твердых принципов, но решают каждую проблему "как она есть сама по себе"; когда большей частью руководствуются целесообразностью и с готовностью идут на компромиссы между противоположными точками зрения. Однако у принципов есть способ утвердить себя, даже если они не признаются явно, а лишь подразумеваются отдельными решениями или присутствуют только в качестве смутных идей о том, что следует и чего не следует делать. Так и получилось, что под вывеской "ни индивидуализма, ни социализма" мы на деле быстро движемся от общества свободных индивидов к обществу полностью коллективистского толка.

Я не только намереваюсь защитить определенный общий принцип социальной организации, но и постараюсь показать, что отвращение к общим принципам и предпочтение переходить от одного частного случая к другому являются плодом движения, которое с "неизбежностью постепенности" ведет нас назад от общественного порядка, покоящегося на общем признании известных принципов, к системе, в которой порядок создается с помощью прямых приказов.

После опыта тридцати последних лет, похоже, уже не нужно доказывать, что без принципов мы начинаем просто плыть по течению. Прагматический подход, господствовавший в этот период, не только не усилил нашу власть над событиями, но фактически привел нас к такому положению вещей, которого никто не желал; и единственным результатом нашего пренебрежения принципами стало, по-видимому, то, что нами управляет логика событий, которую мы тщетно пытаемся игнорировать. Вопрос сейчас состоит не в том, нуждаемся ли мы в направляющих нас принципах, но скорее в том, существует ли еще хоть какой-то их набор, пригодный для общего употребления, которому мы могли бы при желании следовать. Где еще можно отыскать систему заповедей, способную дать нам ясное руководство в решении проблем нашего времени? Осталась ли где-нибудь последовательная философия, которая укажет нам не только моральные цели, но и верный способ их достижения?

Усилия, предпринимаемые церковью с целью выработки законченной общественной философии, и те абсолютно противоположные результаты, к которым приходят многие, начинающие с одних и тех же христианских оснований, показывают, что религия сама по себе не дает нам ясного руководства в этих вопросах. Несмотря на то что упадок ее влияния, несомненно, является одной из главных причин нынешнего отсутствия у нас

ясных интеллектуальных и нравственных ориентиров, возрождение религии не намного уменьшило бы потребность в пользующемся всеобщим признанием принципе общественного порядка. Мы все равно нуждались бы в политической философии, которая шла бы дальше фундаментальных, но общих предписаний, предоставляемых религией и нравственностью.

Название, выбранное для этой главы, говорит о том, что такая философия, как мне кажется, все же существует. Речь идет о наборе принципов, внутренне присущих основной части западной, или христианской, политической традиции, которые, однако, не могут быть однозначно описаны каким-либо легко узнаваемым термином. Необходимо, таким образом, заново изложить все эти принципы, прежде чем мы сможем решить, в состоянии ли они еще служить нам в качестве практического руководства.

Трудность, с которой мы сталкиваемся, состоит не просто в том, что существующие политические термины отличаются заведомой двусмысленностью, и даже не в том, что для разных групп одно и то же понятие зачастую обладает почти противоположным смыслом. Гораздо более значим тот факт, что нередко употребление одного и того же слова создает впечатление общности людей, в действительности верящих в несовместимые или враждебные друг другу идеалы. В наши дни такие термины, как "либерализм" и "демократия", "капитализм" и "социализм", не символизируют больше никаких связных систем идей. Они стали обозначать конгломераты совершенно разнородных принципов и фактов, которые исторический случай связал с этими словами, но которые имеют между собой мало общего помимо того, что их защищали в разное время одни и те же люди или вообще что они просто проповедовались под одинаковым названием.

Никакой другой термин не пострадал в этом отношении больше, чем "индивидуализм". Он не только был окарикатурен своими оппонентами до неузнаваемости -- а нам всегда следует помнить, что большинству наших современников вышедшие сегодня из моды политические концепции известны только в изображении, созданном их противниками, -- но и использовался для обозначения нескольких отличных взглядов на общество, которые имели между собой так же мало общего, как и со взглядами, традиционно считавшимися их противоположностью. Действительно, когда при подготовке этой работы я просмотрел несколько стандартных определений "индивидуализма", то почти пожалел о том, что вообще связал идеалы, в которые верю, с термином, которым так злоупотребляли и который так неверно понимали. Но что бы еще ни обозначалось термином "индивидуализм" помимо этих идеалов, есть две веские причины для закрепления его за теми воззрениями, что я намерен отстаивать: во-первых, эти воззрения всегда были известны под таким названием, пусть временами оно приобретало к тому же и какие-то иные значения; во-вторых, оно примечательно тем, что именно с целью выразить идею, противоположную индивидуализму, было придумано слово "социализм". [По происхождению оба термина - "индивидуализм" и "социализм" - являются изобретением сен-симонистов, основоположников современного социализма. Сначала они ввели термин "индивидуализм" для обозначения конкурентного общества, против которого выступали, а затем придумали слово "социализм" для обозначения централизованно планируемого общества, в котором вся деятельность управляется по тому же принципу, что и на отдельной фабрике. О происхождении этих терминов см. мою статью "Контрреволюция науки": *Economica*, VIII (new ser., 1941), 146. (Здесь и далее оформление библиографии дается по оригиналу. - Прим. ред.)] Именно систему, альтернативную социализму, я и предполагаю рассмотреть.

Прежде чем объяснить, что я понимаю под истинным индивидуализмом, полезно указать на интеллектуальную традицию, к которой он принадлежит. Развитие современного индивидуализма, который я попытаюсь защитить, началось с Джона Локка и, в особенности, с Бернарда Мандевиля и Дэвида Юма. В полную же силу он впервые заявил о себе в работах Джозайи Такера, Адама Фергюсона, Адама Смита и их великого современника Эдмунда Бёрка -- человека, которого Смит охарактеризовал как единственного из всех известных ему людей, чьи мысли по экономическим предметам полностью совпали с его собственными, хотя ранее они никогда не общались [R. Bisset, *Life of Edmund Burke* (2d ed., 1800), II, 429. Ср. также: W.C.Dunn, "Adam Smith and Edmund Burke: Complimentary Contemporaries", *Southern Economic Journal* (University of North Carolina), Vol. VII, No. 3 (January, 1941).]. Я считаю, что в XIX веке наиболее полно истинный индивидуализм представлен в работах двух величайших историков и политических философов того времени -- Алексиса де Токвиля и лорда Актона. Мне представляется, что эти два человека успешнее любых других известных мне авторов развили все лучшее из политической философии шотландских философов, Бёрка и английских вигов, тогда как экономисты классической школы XIX века или, по крайней мере, примыкающие к ней последователи Бентама и философы-радикалы все более подпадали под влияние индивидуализма другого рода, имевшего иные истоки.

Это второе и совершенно отличное от первого направление мысли, также известное как индивидуализм, представлено в основном французскими и другими континентальными авторами, что обусловлено, как мне представляется, той доминирующей ролью, какую играет в нем картезианский рационализм. Выдающимися представителями этой традиции являются энциклопедисты, Руссо и физиократы. По причинам, которые мы вскоре изложим, этот рационалистический индивидуализм всегда имел тенденцию перерождаться в противоположность индивидуализма -- в социализм или коллективизм. Именно потому, что индивидуализм первого типа внутренне последователен, я утверждаю за ним название истинного индивидуализма, тогда как вторую его разновидность следует, вероятно, считать таким же значимым источником современного социализма, как и собственно коллективистские теории. [Карл Менгер, который в новейшие времена одним из первых сознательно возрождал методологический индивидуализм Адама Смита и его школы, был, вероятно, также первым, кто указал на связь между "проектной" теорией общественных институтов и социализмом. См. его: *Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften* (1883), особенно книгу VI, гл. 2, где он говорит о "прагматизме, который, вопреки намерению его представителей, неминуемо ведет к социализму". (Рус. пер.: Менгер К. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности. СПб., 1894, с. 194.). Знаменательно, что уже физиократы перешли от рационалистического индивидуализма, с которого они начинали, не только близко к социализму (полно раскрытому в работе их современника Морелли "Кодекс природы" [1755]), но к проповедыванию худшего вида деспотизма. "Государство делает с людьми все, что захочет", -- писал Бодо.]

Мне трудно дать лучший образчик господствующей путаницы относительно смысла индивидуализма, нежели тот, что человека, которого я считаю одним из величайших представителей истинного индивидуализма, Эдмунда Бёрка, обычно (и справедливо) представляют главным оппонентом так называемого "индивидуализма" Руссо, чьи теории, опасаясь Бёрк, быстро разложат человеческое сообщество "на пыль и прах индивидуального бытия" [Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France* (1790), в *Works* (World's Classics ed.), VI, 105: "Таким образом, само человеческое сообщество всего через пару поколений искрошилось бы в пыль и прах индивидуального бытия и, в конце

концов, рассеялось бы по всем четырем сторонам света". (Рус. пер.: Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. М., "Рудомино", 1993.) То, что Бёрк (как указывает А.М.Осборн в своей книге "Руссо и Бёрк" [Oxford, 1940], р. 23), сначала нападавший на Руссо за его крайний "индивидуализм", позднее напал на него за крайний коллективизм, не есть непоследовательность, а всего лишь результат того, что проповедь рационалистического индивидуализма и Руссо и всеми остальными неизбежно вела к коллективизму.]; а также то, что сам термин "индивидуализм" проник в английский язык через перевод одной из работ другого великого представителя истинного индивидуализма, Токвиля, использующего этот термин в своей работе "Демократия в Америке" для обозначения позиции, которую он считает предосудительной и отвергает. [Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. Henry Reeve (London, 1864), том II, книга II, гл. 2, где Токвиль определяет индивидуализм как "взвешенное и спокойное чувство, побуждающее гражданина изолировать себя от массы себе подобных и замыкаться в узком семейном и дружеском кругу. Создав для себя таким образом маленькое общество, человек перестает тревожиться обо всем обществе в целом". (Рус. пер.: А. де Токвиль. Демократия в Америке. М., "Прогресс", 1992, с. 373.) В примечании к этому тексту переводчик приносит свои извинения за введение французского термина "индивидуализм" в английский язык и поясняет, что, насколько ему известно, "никакое английское слово не может быть точным эквивалентом данного выражения". Как указал Альбер Шатц в упоминающейся ниже книге, использование Токвилем устоявшегося французского термина в таком особом смысле является полностью произвольным и ведет к серьезной путанице с устоявшимся значением.] Несомненно все же, что как Бёрк, так и Токвиль в самом главном стоят близко к Адаму Смиту, а уж ему-то никто не откажет в звании индивидуалиста; верно и то, что "индивидуализм", которому они противостоят, есть нечто совершенно отличное от индивидуализма Адама Смита.

3

Каковы же в таком случае характерные особенности истинного индивидуализма? В первую очередь это теория общества, попытка понять силы, определяющие общественную жизнь человека, и только во вторую -- ряд политических максим, выведенных из подобного представления об обществе. Этого достаточно, чтобы опровергнуть наиболее нелепое из распространенных недоразумений -- убеждение, что индивидуализм постулирует существование обособленных и самодостаточных индивидов (или основывает на этом предположении свои аргументы) вместо того, чтобы начинать с людей, чья природа и характер целиком обусловлены их бытием в обществе. [В своем превосходном обзоре истории индивидуалистических теорий Альбер Шатц делает верный вывод о том, что "...прежде всего мы с очевидностью понимаем, чем индивидуализм не является - как раз тем, чем его обыкновенно считают: системой обособленного существования и апологией эгоизма..." (L'Individualisme économique et social [Paris, 1907], р. 558). Эта книга, которой я чрезвычайно обязан, заслуживает быть гораздо более известной как вклад не только в предмет, обозначенный в ее заглавии, но и вообще в историю экономической теории.] Если бы это было так, тогда он действительно не мог бы ничего добавить к нашему пониманию общества. Но основное утверждение индивидуализма совершенно иное. Оно состоит в том, что нет другого пути к объяснению социальных феноменов, кроме как через наше понимание индивидуальных действий, обращенных на других людей и исходящих из их ожидаемого поведения. [В этом отношении, как правильно разъяснил Карл Прибрам, индивидуализм есть необходимый результат философского номинализма, тогда как коллективистские теории уходят корнями в традицию "реализма" (или, как недавно более точно назвал ее К.П.Поппер, "эссенциализма") (K.Pribram, Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie [Leipzig, 1912]). Однако этот "номиналистский" подход присущ только истинному

индивидуализму, тогда как ложный индивидуализм Руссо и физиократов, в соответствии с его картезианским происхождением, является последовательным "реализмом", или "эссенциализмом".] Этот аргумент нацелен прежде всего против собственно коллективистских теорий общества, которые претендуют на способность непосредственно постигать социальные целостности (вроде общества и т.п.) как сущности *sui generis* < особого рода (лат.)>, обладающие бытием независимо от составляющих их индивидов. Следующий шаг в индивидуалистическом анализе общества направлен против рационалистического псевдоиндивидуализма, который также на практике ведет к коллективизму. Он утверждает, что, прослеживая совокупные результаты индивидуальных действий, мы обнаруживаем, что многие институты, составляющие фундамент человеческих свершений, возникли и функционируют без какого бы то ни было замыслившего их и управляющего ими разума; что, по выражению Адама Фергюсона, "нации наталкиваются на учреждения, которые являются, по сути, результатом человеческих действий, но не результатом человеческого замысла" [Adam Ferguson, *An Essay on History of Civil Society* (1st ed., 1767), p. 187. Ср. также: "Формы общества ведут свое происхождение от неясного и отдаленного начала; они возникают -- задолго до рождения философии -- из инстинктов, а не из размышлений человека... Мы приписываем предварительному замыслу то, что стало известным только из опыта, то, что никакая человеческая мудрость не могла предвидеть, и то, чего никакой авторитет - без согласия с настроениями и нравами своего времени -- не мог бы дать возможность индивиду исполнить" (ibid., p. 187, 188). Небезынтересно сравнить эти места с похожими высказываниями, в которых современники Фергюсона выражали ту же основную идею британских экономистов XVIII в.: Josiah Tucker, *Elements of Commerce* (1756), перепечатано в: Josiah Tucker: A Selection from His Economic and Political Writings, ed. R.L. Schuyler (New York, 1931), p. 31, 92: "Главное не в том, чтобы уничтожить или ослабить себялюбие, но в том, чтобы придать ему такую направленность, при которой оно может способствовать общественному интересу при преследовании своего собственного... Действительная цель настоящей главы, собственно, и состоит в том, чтобы показать, как универсальный движитель человеческой природы, себялюбие, может в рассматриваемом случае (как и во всех прочих) получить такую направленность, что будет служить общественным интересам благодаря тем усилиям, которые оно станет возбуждать при преследовании своего собственного интереса". Adam Smith, *Wealth of Nations* (1776), ed. Cannan, I, 421: "...направляя эту промышленность таким образом, чтобы ее продукт обладал максимальной ценностью, он преследует лишь собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения; при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это". (Рус. пер.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., "Соцэкгиз", 1962, с. 332.) Ср. также: *The Theory of Moral Sentiments* (1795), part IV (9th ed., 1801), ch. i, p. 386. (Рус. пер.: Смит А. Теория нравственных чувств. М., "Республика", 1997.) Edmund Burke, *Thoughts and Details on Scarcity* (1795), in *Works* (World's Classics ed.), VI, 9: "Милостивый и мудрый распорядитель всех вещей, который понуждает людей, хотя бы они того или нет, связывать при преследовании собственных эгоистических интересов общее благо со своим индивидуальным успехом". После того как эти утверждения стали предметом презрения и насмешек со стороны большинства авторов в течение последних ста лет (К.Э.Рэйвен (C.E.Raven) не так давно называл цитируемое последнее утверждение Бёрка "вредной сентенцией" - см. его *Christian Socialism* [1920], p. 34), интересно теперь наблюдать, как один из ведущих теоретиков современного социализма усваивает выводы Адама Смита. Согласно А.П. Лернеру (*The Economics of Control* [New York, 1944], p. 67), первостепенная полезность ценового механизма для общества заключается в том, что "если он правильно используется, то

побуждает каждого члена общества делать в погоне за собственной выгодой то, что соответствует всеобщему общественному интересу. В своей основе это - великое открытие Адама Смита и физиократов".]; а также, что спонтанное сотрудничество свободных людей часто создает вещи более великие, чем их индивидуальные умы смогут когда-либо постичь в полной мере. Это великая тема Джозайи Такера и Адама Смита, Адама Фергюсона и Эдмунда Бёрка, великое открытие классической политической экономики, ставшее основой нашего понимания не только экономической жизни, но и большинства подлинно социальных явлений.

Различие между этим взглядом, согласно которому булыжная часть порядка, обнаруживаемого нами в людских делах, есть непредвиденный результат индивидуальных действий, и другим, который возводит весь существующий порядок к преднамеренному замыслу, составляет первый глубокий контраст между истинным индивидуализмом британских мыслителей XVIII в. и так называемым "индивидуализмом" картезианской школы. [Ср. Schatz, *op. cit.*, p. 41--42, 81, 378, 568--69, особенно место, цитировавшееся им (p. 41, n. 1) из статьи Альбера Сореля ("Comment j'ai lu la "Reforme sociale"" в *Riforme sociale*, November 1, 1906, p. 614): "Каким бы ни было в то время мое почтение, к тому же в значительной мере внушенное и опосредованное, к "Рассуждению о методе", я уже знал, что из этого прославленного рассуждения проистекло столько же общественного безрассудства и метафизических нелепиц, абстракций и утопий, сколько и положительных установлений, что, ведя к Конту, оно привело также к Руссо". О влиянии Декарта на Руссо см. также: P. Janet, *Histoire de la science politique* (3d ed., 1887), p. 423; F. Bouillier, *Histoire de la philosophie cartesienne* (3d ed., 1868), p. 643; и H. Michel, *L'Idee de l'etat* (3d ed., 1898), p. 68.] Но это только один аспект еще более широкого различия между взглядом, вообще оценивающим довольно низко роль разума в людских делах и утверждающим, что человек достиг всего несмотря на то, что он лишь отчасти руководим разумом, к тому же крайне ограниченным и несовершенным, и взглядом, согласно которому все люди всегда в полной и равной мере обладают Разумом с большой буквы и все, чего достигает человек, есть прямой результат работы индивидуального разума и, соответственно, подчинено его контролю. Можно даже сказать, что первый взгляд -- это продукт острого осознания ограниченности индивидуального ума и вызванного этим чувства смирения перед безличными и анонимными общественными процессами, посредством которых индивиды создают вещи более великие, чем доступно их пониманию, тогда как второй -- это продукт неумеренной веры в силы индивидуального разума и вытекающего отсюда презрения ко всему, что не было им сознательно спроектировано и не вполне для него постижимо.

Антирационалистический подход, в соответствии с которым человек не высокорациональное и непогрешимое, а достаточно иррациональное и подверженное заблуждениям существо, индивидуальные ошибки которого корректируются только в ходе общественного процесса и которое стремится создать самое лучшее из очень несовершенного материала, представляет собой, вероятно, наиболее характерную черту английского индивидуализма. Мне кажется, что его преобладание в английской мысли обусловлено глубоким влиянием Бернарда Мандевиля, впервые ясно сформулировавшего эту центральную идею. [Ключевое значение Мандевиля в истории экономической теории, долго не принимавшееся во внимание и оцененное по достоинству лишь несколькими авторами (в частности, Эдвином Кэннаном и Альбером Шатцем), теперь начинает признаваться в основном благодаря великолепному изданию "Басни о пчелах", которым мы обязаны покойному Ф.Б.Кэйе. Хотя главнейшие идеи Мандевиля уже обозначены в первом издании "Басни" 1705 г., решающая разработка и в особенности полно выраженный взгляд на происхождение разделения труда, денег и языка встречается только во II ее части, увидевшей свет в 1723 году (см.: Bernard Mandeville, *The Fable of the*

Bees, ed. F.V. Kaye [Oxford, 1924], II, 142, 287-88, 349-50). (Рус. пер. первой части: МанDEVиль Б. Басня о пчелах. М., "Мысль", 1974.) Здесь есть место только для того, чтобы процитировать решающий пассаж из его обзора развития разделения труда, где он замечает, что "...мы часто приписываем превосходству человеческого гения и глубине его проницательности то, что в действительности обязано долговременности и опыту многих поколений, очень мало отличавшихся друг от друга по природным способностям и благоразумию" (ibid., p. 142). Стало уже привычным характеризовать Джамбаттиста Вико и его лозунг (обычно неверно цитируемый) - *homo non intelligendo fit omnia* -- все творится человеком не понимающим (Opere, ed., Ferrari [2d ed., Milan, 1854], V, 183), как начало антирационалистической теории общественных явлений, однако представляется, что МанDEVиль не только опередил, но и превзошел его. Вероятно, заслуживает упоминания и то, что не только МанDEVиль, но и Адам Смит занимает почетное место в разработке теории языка, которая в столь многих отношениях поднимает проблемы, сходные по своей природе с теми, что ставят другие общественные науки.]

Чтобы полнее показать противоположность картезианского, или рационалистического, "индивидуализма" такому подходу, я приведу знаменитый пассаж из II части "Рассуждения о методе" Декарта. Он доказывает, что "часто творение, составленное из многих частей и сделанное руками многих мастеров, не столь совершенно, как творение, над которым трудился один человек". Далее он переходит к мысли (что примечательно -- после того, как приводит пример с инженером, по плану которого возводится город) о том, что "народы, бывшие в полудиком состоянии и лишь постепенно цивилизовавшиеся и учреждавшие свои законы только по мере того, как бедствия от совершаемых преступлений и возникавшие жалобы принуждали их к этому, не могут иметь такие же хорошие гражданские порядки, как те, которые соблюдают установления какого-нибудь мудрого законодателя с самого начала своего объединения". И, доводя свою мысль до конца, Декарт добавляет, что, по его мнению, "Спарта была некогда в столь цветущем состоянии не оттого, что законы ее были хороши каждый в отдельности... но потому, что все они, будучи составлены одним человеком, направлялись к одной цели" [Rene Descartes, *A Discourse on Method* (Everyman's ed.), p.10--11. (Рус. пер.: Декарт Р. Сочинения. М., "Мысль", 1989, Т.1, с. 256--257)].

Было бы интересно проследить дальнейшее развитие такого рода индивидуализма, связанного с идеей общественного договора и "проектными" теориями ("design" theories) общественных институтов от Декарта через Руссо и французскую Революцию, до специфически инженерного подхода к социальным проблемам, существующего в наши дни. [О специфическом подходе к экономическим явлениям, свойственном инженерному сознанию, см. мою работу: *Scientism and the Study of Society, Economica*, Vols. IX-XI (new ser., 1942--44), особ. XI, 34 ff.] Подобный очерк обнаружил бы, как картезианский рационализм постоянно оказывался серьезным препятствием на пути понимания исторических явлений и что он в значительной степени ответствен за веру в неумолимые законы исторического развития и за современный фатализм, который от нее произошел. [Со времени первой публикации этой лекции я познакомился с поучительной статьей Джерома Розенталя (Jerome Rosenthal) "Attitudes of Some Modern Rationalists to History" (*Journal of the History of Ideas*, IV, No. 4 [October, 1943], 429--56), в которой довольно детально описывается антиисторическая позиция Декарта и особенно его ученика Мальбранша и приводятся интересные примеры презрения, выражавшегося Декартом в его "Разыскании истины посредством естественного света", к изучению истории, языка, географии и особенно классической литературы.]

Однако нам здесь важно только то, что данный взгляд, хотя и известный как "индивидуализм", являет собой полную противоположность истинному индивидуализму в

двух решающих пунктах. В то время как в отношении псевдоиндивидуализма совершенно справедливо, что "представление о спонтанных социальных образованиях было логически невозможно для всех философов, бравших за отправной пункт отдельного человека и считавших, что он создает общества путем объединения своей частной воли с другой через формальный договор" [James Bonar, *Philosophy and Political Economy* (1893), p. 85], истинный индивидуализм есть единственная теория, имеющая право утверждать, что делает формирование спонтанных социальных образований понятным. Тогда как "проектные" теории неизбежно ведут к заключению, что общественные процессы можно заставить служить людским целям, только если они поставлены под контроль индивидуального человеческого разума, и тем самым прямым путем ведут к социализму, истинный индивидуализм, напротив, полагает, что, если предоставить людям свободу, они зачастую достигнут большего, чем мог бы спроектировать или предвидеть индивидуальный человеческий ум.

Эта противоположность между истинным, антирационалистическим, и ложным, рационалистическим, индивидуализмом пронизывает всю общественную мысль. Но поскольку обе теории приобрели известность под одним и тем же именем и частично потому, что на экономистов классической школы XIX в., в особенности на Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера, французская традиция повлияла почти так же сильно, как английская, всевозможные концепции и предположения, совершенно чуждые истинному индивидуализму, стали восприниматься как неотъемлемые части этого учения.

Вероятно, лучшим примером неверных представлений об индивидуализме Адама Смита и его единомышленников служит ходячая вера в то, что они выдумали пугало "экономического человека" и что их выводы подрываются их же предположением о строго рациональном поведении и вообще ложной рационалистической психологией. Конечно же, они были крайне далеки от предположений подобного рода. Будет куда правильнее сказать, что с их точки зрения человек по природе ленив и склонен к праздности, недалковиден и расточителен и что только силой обстоятельств его можно заставить вести себя экономно и осмотрительно, дабы приспособить его средства к его же целям. Но даже сказанное нами не точно передает чрезвычайно сложные и реалистические взгляды этих мыслителей на природу человека. Поскольку вошло в моду высмеивать Смита и его современников за их якобы ошибочную психологию, я готов, пожалуй, рискнуть и высказать мнение, что для любых практических задач мы все еще можем больше узнать о поведении человека из "Богатства народов", чем из большинства претенциозных современных трактатов по "социальной психологии".

Как бы там ни было, почти не вызывает сомнений, что Смита главным образом интересовало не столько то, чего человек мог бы время от времени достигать, когда он бывает на высоте, сколько то, чтобы у него было как можно меньше возможностей наносить вред, когда он оказывается несостоятелен. Вряд ли будет преувеличением утверждать, что основное достоинство индивидуализма, отстаивавшегося Смитом и его современниками, заключается в том, что это порядок, при котором дурные люди способны причинять наименьшее зло. Это социальная система, функционирование которой не требует, чтобы мы нашли добродетельных людей для управления ею или чтобы все люди стали лучше, чем они есть теперь, но которая использует людей во всем их разнообразии и сложности: иногда хорошими, иногда дурными, порой умными, но чаще глупыми. Их целью была система, предоставляющая свободу всем, а не только "добродетельным и мудрым", как того желали их французские современники. [А.У.Бенн (A.W.Benn) в своей "History of English Rationalism in the Nineteenth Century" (1906) справедливо говорит: "У Кенэ следовать природе означало выяснять путем изучения окружающего нас мира и его законов, какое поведение наиболее способствует здоровью и

счастьем, а естественные права означали свободу следования установленному таким образом пути. Такая свобода принадлежит исключительно мудрым и добродетельным и может быть дарована только тем, кого опекающая власть в государстве сообразовывает признать таковыми. С другой стороны, у Адама Смита и его учеников природа означает всю совокупность импульсов и инстинктов, которые движут индивидуальными членами общества; они утверждают, что лучшие установления возникают благодаря свободной игре этих сил - при уверенности в том, что частичная неудача будет более чем компенсирована успехами в другом месте и что преследование каждым своего собственного интереса обернется наибольшим счастьем для всех" (I, 289). Подробнее по этому вопросу см.: Elie Halévy, *The Growth of Philosophic Radicalism* (1928), esp. p. 266-70. Противоположность между шотландскими философами XVIII в. и их французскими современниками выявляется также в недавней работе Глэдис Брайсон (G. Bryson) "Man and Society: The Scottish Enquiry of the Eighteenth Century" (Princeton, 1945), p. 145. Она подчеркивает, что шотландские философы "все хотели покончить с картезианским рационализмом с его упором на абстрактный интеллектуализм и врожденные идеи", и неоднократно отмечает "антииндивидуалистические" тенденции у Дэвида Юма (p. 106, 155) -- используя слово "индивидуалистический" в том смысле, который мы здесь называем ложным, рационалистическим. Но иногда она впадает в распространенную ошибку, рассматривая их как "типичных представителей мысли того века" (p. 176). Еще существует чрезмерная склонность, главным образом в результате принятия немецкой концепции "Просвещения", считать взгляды всех философов XVIII в. сходными, тогда как во многих отношениях расхождения между английскими и французскими философами данного периода гораздо более серьезны, нежели сходства. Распространенная привычка смешивать воедино Адама Смита и Кенэ, вызванная прежней верой в то, что Смит был многим обязан физиократам, безусловно должна исчезнуть теперь, когда это убеждение было опровергнуто недавним открытием У.Р.Скотта (W.R.Scott) (см. его: "Adam Smith as Student and Professor" [Glasgow, 1937], p. 124). Важно также, что побуждением к работе как для Юма, так и для Смита послужило, как сообщают, их неприятие Монтескье. В работе Рудольфа Голдшайда (R.Goldsheid) "Grundlinien zu einer Kritik der Willenskraft" (Vienna, 1905), pp. 32--37, можно найти заставляющий задуматься анализ различий между британскими и французскими социальными философами XVIII в., искаженный, однако, неприязнью автора к "экономическому либерализму" британцев.]

Главной заботой великих индивидуалистов было действительно отыскать набор институтов, которые могли бы побуждать человека по его собственному выбору и на основании мотивов, направляющих его обычное поведение, вносить максимально возможный вклад в удовлетворение потребностей всех остальных; их открытием стало то, что система частной собственности обеспечивает такие побуждения в гораздо большей мере, чем это представляли до тех пор. Они не заявляли, однако, что эту систему невозможно далее улучшать и, еще менее, как утверждают те, кто ныне искажают их мысли, что, независимо от действующих институтов, существует "естественная гармония интересов". Они прекрасно сознавали конфликты индивидуальных интересов и подчеркивали настоятельную потребность в "правильно построенных институтах", когда "правила и принципы по согласованию соперничающих интересов и нахождению компромиссов в том, что касается преимуществ" [Edmund Burke, *Thoughts and Details on Scarcity* (1795), in *Works* (World's Classics ed.), VI, 15], примиряли бы конфликтующие интересы и исключали бы возможность предоставления какой-либо одной группе такой власти, которая позволила бы ей всегда ставить свои взгляды и интересы выше всех остальных.

В этих исходных психологических предпосылках есть один момент, который необходимо рассмотреть более полно. Поскольку убеждение, что индивидуализм одобряет и поощряет человеческий эгоизм, является одной из основных причин неприязни к нему со стороны столь многих людей и поскольку существующая здесь путаница вызвана реальными интеллектуальными затруднениями, мы должны тщательно исследовать смысл выдвигаемых им предположений. Безусловно, нельзя усомниться, что великие авторы XVIII в. преподносили, если воспользоваться их языком, в качестве "всеобщего движителя" именно "себялюбие" человека или даже его "свокорыстные интересы" и что в подобных выражениях они описывали прежде всего моральную позицию, которую считали широко распространенной. Эти термины, однако, не означали эгоизма в узком смысле, то есть озабоченности исключительно непосредственными нуждами своей собственной личности. "Я" (self), о котором, как предполагалось, только и заботятся люди, естественным образом распространялось на семью и друзей, так что для хода рассуждений этих авторов не имело бы никакого значения, если бы туда же оказалось включено что угодно, к чему люди реально питают интерес.

Гораздо более важным, чем эта моральная позиция, которую можно считать поддающейся пересмотру, является тот неоспоримый факт нашей умственной жизни, отменить который никому не под силу и который сам по себе представляет достаточное основание для выводов, сделанных философами-индивидуалистами. Он заключается в конститутивной ограниченности знаний и интересов человека -- в том, что человек не в состоянии знать больше крохотной частицы всего общества в целом и что, следовательно, мотивами для него могут становиться лишь ближайшие результаты его действий в той сфере, которая ему знакома. Когда речь идет о социальной организации, любые возможные расхождения в моральных установках людей оказываются гораздо менее значимы, чем тот факт, что человеческий ум может эффективно охватывать лишь явления того узкого круга, центром которого сам он является, и что, будь он полным эгоистом или совершенным альтруистом, те людские потребности, о которых он способен эффективно позаботиться, составляют крайне малую частицу нужд и потребностей всех членов общества. Стало быть, настоящий вопрос заключается не в том, руководствуется или должен ли руководствоваться человек эгоистическими побуждениями, но в том, можем ли мы позволить ему руководствоваться в своих действиях теми их непосредственными последствиями, которые он осознает и которые его волнуют, или же его следует заставить делать то, что представляется надлежащим кому-то еще, кто якобы обладает более полным пониманием значения этих действий для общества в целом.

К общепринятой христианской традиции, считающей, что человек должен иметь свободу следовать своей совести в вопросах нравственности, дабы его действия обладали каким-либо достоинством, экономисты добавили еще один аргумент: человек должен иметь свободу полностью использовать свои знания и мастерство, ему надо позволить руководствоваться своим интересом к определенным вещам, которые он знает и которые ему безразличны, дабы он настолько содействовал достижению общих целей общества, насколько это в его силах. Главная проблема для них -- как превратить эти ограниченные интересы, фактически определяющие действия людей, в эффективные стимулы, побуждающие их добровольно вносить максимальный вклад в удовлетворение потребностей, находящихся вне поля их зрения. Экономисты поняли впервые, что уже возникший рынок представлял собой действенный путь к тому, чтобы понудить человека принять участие в процессе, более сложном и широком, чем он в состоянии постичь, и что именно рынок направляет его к "цели, которая совсем и не входила в его намерения".

Было почти неизбежно, что авторы-классики при объяснении своей позиции начнут пользоваться языком, который непременно станут неверно понимать, и что таким образом они обретут репутацию людей, превозносящих эгоизм. Причина этого сразу же становится ясной, стоит нам попытаться передать правильный ход их мысли более простым языком. Если мы выразимся кратко, сказав, что люди руководствуются и им следует руководствоваться в своих действиях собственными интересами и желаниями, это немедленно будет неверно понято и переиначено в ложное утверждение, что они руководствуются и должны руководствоваться исключительно своими личными потребностями или эгоистическими интересами, тогда как мы имеем в виду, что им следует позволить стремиться к чему бы то ни было, что они находят желательным.

Еще одна вводящая в заблуждение фраза, используемая для того, чтобы подчеркнуть действительно важный момент, -- это знаменитое предположение, что всякий человек лучше кого бы то ни было знает свои интересы. В подобной форме оно звучит неправдоподобно и не является необходимым для выводов индивидуалиста. Действительная их основа заключается в том, что никто не в состоянии знать, кто же знает это лучше всех, и единственный способ, каким можно это выяснить, -- через социальный процесс, где каждому предоставлена возможность попытаться и удостовериться, на что он годен. Фундаментальная предпосылка здесь и во всех последующих рассуждениях -- это безграничное разнообразие человеческих талантов и навыков и вытекающее отсюда неведение любого отдельного индивида относительно большей части того, что известно всем остальным членам общества вместе взятым. Или, если выразить эту фундаментальную мысль иначе, человеческий Разум с большой буквы не существует в единственном числе, как данный или доступный какой-либо отдельной личности, что, по-видимому, предполагается рационалистическим подходом, но должен пониматься как межличностный процесс, когда вклад каждого проверяется и корректируется другими. Этот тезис не предполагает, что все люди равны по своим природным дарованиям и способностям, а означает только, что ни один человек не правомочен выносить окончательное суждение о способностях, которыми обладает другой человек, или выдавать разрешение на их применение.

Здесь, пожалуй, стоит заметить, что только потому, что все люди в действительности не являются одинаковыми, мы можем рассматривать их как равных. Если бы все люди были совершенно одинаковы в своих дарованиях и склонностях, нам надо было бы относиться к ним по-разному, чтобы достичь хоть какой-то формы социальной организации. К счастью, они неодинаковы, и только благодаря этому дифференциация функций не нуждается в том, чтобы ее устанавливало произвольное решение некоей организующей воли. При установлении формального равенства перед законами, применяемыми ко всем одинаково, мы можем позволить каждому индивиду самому занять подходящее ему место.

В этом, собственно, и состоит вся разница между равным отношением к людям и попытками сделать их равными. В то время как первое есть условие свободного общества, второе означает, по выражению Токвиля, "новую формулу рабства". [Эта фраза вновь и вновь используется Токвилем при характеристике последствий социализма. См., в частности, "Oeuvres completes", где он говорит: "Если бы, в конце концов, мне пришлось предложить общую формулу, передающую, чем мне представляется социализм в его целостности, я бы сказал, что это новая формула рабства".].

5

Осознание ограниченности индивидуального знания и тот факт, что никакой человек или небольшая группа людей не может обладать всей полнотой знаний кого-либо другого,

приводит индивидуализм к его главному практическому заключению: он требует строгого ограничения всякой принудительной или исключительной власти. Его возражения, однако, направлены только против использования принуждения для создания организации или ассоциации, но не против ассоциации как таковой. Индивидуализм далек от того, чтобы противостоять добровольному ассоциированию; напротив, его доводы основываются на представлении, что многое из того, что, по распространенному мнению, может быть осуществлено только с помощью сознательного управления, можно гораздо лучше достичь путем добровольного и спонтанного сотрудничества индивидов. Таким образом, последовательный индивидуалист должен быть энтузиастом добровольного сотрудничества -- во всяком случае, пока оно не вырождается в насилие над другими людьми и не приводит к присвоению исключительной власти.

Истинный индивидуализм -- это, безусловно, не анархизм, являющий собой всего лишь еще один плод рационалистического псевдоиндивидуализма, которому истинный индивидуализм противостоит. Он не отрицает необходимости принудительной власти, но желает ограничить ее -- ограничить теми сферами, где она нужна для предотвращения насилия со стороны других, и для того, чтобы свести общую сумму насилия к минимуму. Надо признать, что, хотя все философы-индивидуалисты согласны, вероятно, с этой общей формулой, они не всегда достаточно содержательно высказываются по вопросу ее применения в конкретных случаях. Здесь не слишком-то помогает столь неверно понимаемый оборот, как "laissez faire", которым так много злоупотребляли, или еще более старая формула -- "защита жизни, свободы и собственности". Фактически, поскольку оба этих выражения наводят на мысль, что мы можем оставить все как оно есть, они могут оказаться еще хуже, чем отсутствие ответа вообще; они, безусловно, не говорят нам, в каких сферах желательна и необходима деятельность правительства, а в каких нет. Тем не менее решение, может ли индивидуалистическая философия служить нам практическим руководством, должно в конечном счете зависеть от того, позволяет ли она нам разграничить то, что относится к компетенции правительства, от того, что к ней не относится.

Мне представляется, что некоторые общие правила такого рода, обладающие самой широкой применимостью, прямо вытекают из основных принципов индивидуализма: если каждый человек должен использовать свои личные знания и мастерство для достижения интересующих его целей и если он, действуя таким образом, должен вносить максимально возможный вклад в удовлетворение потребностей, выходящих за пределы его кругозора, то явно необходимо, во-первых, чтобы он имел четко очерченную сферу своей ответственности и, во-вторых, чтобы относительная важность для него различных результатов, которых он может достигать, соответствовала относительной важности для других людей тех последствий его деятельности, которые ему неизвестны и носят более отдаленный характер.

Обратимся сначала к проблеме определения сферы индивидуальной ответственности и отложим на время вторую проблему. Если человек должен быть свободен, чтобы полностью использовать свои знания и мастерство, то разграничение сфер ответственности не должно принимать форму предписывания ему определенных целей, которых он должен стараться достичь. Это было бы скорее навязыванием специфических обязанностей, нежели определением границ сферы ответственности. Это также не должно принимать форму передачи ему специфических ресурсов, отобранных некоей властью, что почти в той же мере лишало бы его выбора, как и навязывание ему определенных задач. Если человеку надлежит применять свои собственные дарования, то сфера его ответственности должна определяться в результате его собственной деятельности и планирования. Решение данной проблемы, которое люди постепенно раскрыли и которое

предвосхищает появление государственного правления (government) в современном смысле, состоит в признании неких формальных принципов -- "постоянного закона, общего для каждого в этом обществе" [John Locke, Two Treatises of Government (1690), Book II, chap. 4, " 22: "Свобода людей в условиях существования системы правления заключается в том, чтобы жить в соответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе и установленным законодательной властью, созданной в нем". (Рус. пер.: Локк Дж. Сочинения. М., "Мысль", 1988, Т. 3, с. 274--275.)], то есть правил, которые прежде всего и позволяют человеку проводить различие между "моим" и "твоим" и с помощью которых он и его собратья могут устанавливать, что составляет его сферу ответственности, а что -- чью-либо еще.

Фундаментальная противоположность между правлением посредством правил, основная цель которых состоит в информировании индивида, что есть сфера его ответственности, в пределах которой ему надлежит отстраивать свою жизнь, и правлением посредством приказов оказалась в последние годы настолько затемнена, что ее необходимо рассмотреть более подробно. Этот вопрос затрагивает не что иное, как различие между свободой в рамках закона и использованием законодательного механизма, будь то демократического или нет, для упразднения свободы. Суть не в том, что за действиями правительства должен стоять какой-либо руководящий принцип, но в том, что его деятельность должна сводиться к одному: заставлять индивидов соблюдать принципы, которые им известны и могут учитываться в их решениях. Это означает следующее: то, что индивид может или не может делать, и то, что, как он ожидает, станут или не станут делать его собратья, должно зависеть не от каких-то отдаленных и косвенных последствий его действий, но от непосредственных и легко распознаваемых обстоятельств, которые предположительно ему известны. Перед ним должны быть правила, касающиеся типических ситуаций и определенные в терминах того, что может быть знакомо действующим лицам безотносительно к отдаленным последствиям каждого конкретного случая, -- правила, которые, если они постоянно соблюдаются, в большинстве случаев будут действовать благотворно, пусть даже в "затруднительных случаях" (hard cases), которые, по известной поговорке, "рождают плохие законы" (устанавливают неудачные прецеденты), этого и не происходит.

Главнейший принцип, лежащий в основании индивидуалистической системы, состоит в том, что она использует всеобщее признание некоторых универсальных принципов как средство создания порядка в общественных делах. Она противоположна такому правлению посредством принципов, которое, к примеру, подразумевается одним современным проектом контролируемой экономики, предлагающим как "фундаментальный организационный принцип... чтобы в каждом конкретном случае применялись средства, которые лучше всего служат интересам общества" [Lerner, *op. cit.*, p. 5]. Полная нелепость так говорить о принципе, когда весь смысл сказанного сводится к тому, что править должен не принцип, а голая целесообразность, и когда все ставится в зависимость от того, что именно власти декретируют в качестве "интересов общества". Принципы -- это средство предотвращать столкновения конфликтующих устремлений, а не набор фиксированных целей. Наше подчинение общим принципам необходимо, поскольку в своей практической деятельности мы не можем исходить из полного знания и исчерпывающей оценки всех ее последствий. Покуда люди не обладают всеведением, единственный способ дать свободу индивиду -- это очертить с помощью таких общих правил ту сферу, в пределах которой решение будет принадлежать ему самому. Свободы не может быть, когда правительство не ограничено каким-то определенным кругом деятельности, но может использовать свою власть любым образом, если это служит поставленным целям. Как указал давным-давно лорд Актон, "едва только какая-то единственная вполне определенная цель провозглашается высшей целью государства,

будь то классовые преимущества, безопасность или могущество страны, наибольшее счастье наибольшего числа людей или борьба за утверждение какой-либо спекулятивной идеи, государство тотчас и с неизбежностью становится абсолютным" [Lord Acton, "Nationality" (1862), перепечатано в The History of Freedom and Other Essays (1907), p. 288. (Рус. пер.: Лорд Актон. Очерки становления свободы. L., Overseas Publications Interchange Ltd., 1992, p. 124.)].

6

Тем не менее если наш главный вывод состоит в том, что индивидуалистический порядок покоится на принуждении (enforcement) к соблюдению абстрактных принципов, а не к выполнению конкретных приказов, то все еще остается открытым вопрос, какого рода общие правила нам нужны. Допуская осуществление властных полномочий в основном одним-единственным методом, такой порядок предоставляет вместе с тем почти безграничное поле для человеческой изобретательности в конструировании наиболее эффективного набора правил. И хотя наилучшие решения конкретных проблем в большинстве случаев приходится открывать с помощью опыта, все-таки в том, что касается желательных характеристик и содержания таких правил, мы можем многое почерпнуть из общих принципов индивидуализма. Из сказанного прежде всего следует один важный вывод, а именно: поскольку правила должны служить для индивидов указателями при выстраивании их собственных планов, они должны устанавливаться так, чтобы оставаться в силе долгое время. Либеральная, или индивидуалистическая, политика, по существу, должна быть политикой долговременной. Нынешняя мода сосредоточиваться на краткосрочных результатах, оправдывая это тем доводом, что "в долгосрочном периоде все мы будем покойники" <Это выражение, ставшее крылатым, принадлежит Дж.М.Кейнсу. В нем обыгрывается введенное А.Маршаллом различие между долго- и краткосрочным периодом. (В долгосрочном периоде изменению поддаются затраты как постоянных, так и переменных факторов производства, в краткосрочном - только переменных.) Мысль Кейнса состоит в том, что поскольку в "очень" длительном периоде никого из нас уже не будет в живых, постольку при выработке политического курса во внимание следует принимать только его непосредственные, ближайшие результаты. Эта позиция была совершенно неприемлема для Ф.Хайека, всегда выступавшего за такое институциональное устройство, которое, несмотря на неизбежную ограниченность временного горизонта отдельных членов общества, побуждало бы их учитывать прежде всего долгосрочные последствия принимаемых решений. Ср. также: наст. изд., с. 252. (Прим. науч. ред.)>, неизбежно ведет к опоре на приказы, исходящие из конкретных сиюминутных обстоятельств, вместо правил, сформулированных в терминах типических ситуаций.

Нам нужна, однако, гораздо более определенная помощь для построения пригодной правовой рамки -- и нам ее оказывают основополагающие принципы индивидуализма. Попытка заставить человека при преследовании своих собственных интересов вносить как можно больший вклад в удовлетворение потребностей других людей не только приводит к общему принципу "частной собственности". Она помогает нам также определить, каким должно быть содержание прав собственности в отношении разного рода вещей. Для того чтобы, принимая решения, индивид учитывал все порождаемые ими материальные последствия, нужно так определить упомянутую мной "сферу ответственности", чтобы она охватывала с максимально возможной полнотой все прямые последствия его действий в отношении получаемых другими людьми удовлетворений от подконтрольных ему вещей. Там, где речь идет о движимом имуществе или, как выражаются юристы, "движимости", это достигается в общем с помощью простого понятия о собственности как исключительном праве пользования конкретной вещью. Однако в связи с землей

возникают гораздо более сложные проблемы, когда признание принципа частной собственности дает нам очень мало, пока мы точно не установим, какие права и обязанности собственность включает. А когда мы обращаемся к таким недавно возникшим проблемам, как контроль за воздушным пространством или передачей электроэнергии, изобретениями или произведениями литературы и искусства, ничто, кроме обращения к рациональному обоснованию (*rationale*) принципа частной собственности, не поможет нам решить, какой должна быть в каждом конкретном случае сфера контроля или ответственности индивида.

Я не могу здесь углубляться далее в увлекательную проблему о наиболее подходящей для эффективной индивидуалистической системы правовой рамке или входить в обсуждение многочисленных вспомогательных функций, выполняя которые правительство может намного повысить эффективность индивидуальной деятельности, например содействуя распространению информации и устраняя неопределенность, которой действительно можно избежать. [Действия, которые правительство может целенаправленно предпринимать по сокращению той неопределенности для индивида, которая действительно поддается устранению, -- это вопрос, породивший столько путаницы, что я боюсь оставлять в тексте краткое упоминание о нем без хотя бы некоторых дополнительных разъяснений. Суть дела в том, что хоть и легко защитить отдельного человека или отдельную группу от потерь, которые могут быть вызваны непредвиденными изменениями, мешать людям замечать эти изменения, когда они произошли, значит просто перекладывать эти потери на плечи других людей, но не предотвращать их. Если, например, капитал, вложенный в очень дорогостоящий завод, защищен от обесценения под влиянием новых изобретений благодаря запретам на их внедрение, то это повышает защищенность владельцев данного завода, но лишает общество выгод от новых изобретений. Или, другими словами, если мы сделаем поведение людей более предсказуемым, мешая им приспособляться к непредвиденным изменениям в их знаниях о мире, реально это не сократит неопределенность для общества в целом. Подлинное сокращение неопределенности состоит всегда в увеличении знания и никогда -- в препятствовании использованию людьми новых знаний.] Я упоминаю их только для того, чтобы подчеркнуть, что, помимо простого принуждения к соблюдению норм гражданского и уголовного права, у государства есть дополнительные (причем ненасильственные) функции и они вполне поддаются оправданию с точки зрения индивидуалистических принципов.

Остается, однако, один момент, который я уже упоминал, но который столь важен, что на нем следует остановиться особо. Он состоит в том, что любой работоспособный индивидуалистический порядок должен быть построен таким образом, чтобы не только относительное вознаграждение, ожидаемое индивидом от того или иного употребления своих способностей и ресурсов, соответствовало относительной полезности результатов его усилий для других людей, но и чтобы это вознаграждение соответствовало объективным результатам его усилий, а не их субъективным достоинствам. Эффективный конкурентный рынок удовлетворяет обоим данным условиям. Тем не менее именно в связи со вторым из них наше личное чувство справедливости так часто восстает против безличных решений рынка. И все же, если индивиду надо иметь свободу выбора, он неизбежно должен нести риск, с этим выбором связанный, и вознаграждаться не в зависимости от добродетельности или порочности его намерений, но исключительно исходя из ценности полученных результатов для других людей. Мы должны прямо признать, что сохранение индивидуальной свободы несовместимо с полным удовлетворением наших стремлений к распределительной справедливости.

Хотя теория индивидуализма способна, таким образом, внести определенный вклад в технику построения соответствующей правовой рамки и в усовершенствование институтов, сложившихся спонтанно, особое значение она, конечно, придает тому факту, что та часть нашего общественного порядка, которая может или должна быть сознательным продуктом человеческого разума, представляет лишь малую толику всех сил общества. Иными словами, государство, воплощающее преднамеренно организованную и сознательно контролируемую власть, должно составлять только небольшую часть гораздо более богатого организма, называемого "обществом", обеспечивая лишь ту правовую рамку, в пределах которой свободное (и, следовательно, не "управляемое сознательно") сотрудничество людей имело бы максимальный простор.

Это влечет за собой определенные выводы, где истинный индивидуализм опять-таки резко противостоит ложному индивидуализму рационалистического толка. Первый из них заключается в том, что сознательно организованное государство, с одной стороны, и индивид, с другой, вовсе не считаются единственными реальностями, что предполагало бы необходимость последовательного искоренения всех промежуточных образований и ассоциаций (это и было одной из целей французской Революции). Непринудительные обычаи и условности, присущие социальному взаимодействию, рассматриваются как неотъемлемые факторы сохранения упорядоченной работы человеческого общества. Второй вывод состоит в том, что индивид, участвуя в общественных процессах, должен хотеть и быть готовым приспособляться к переменам и подчиняться обычаям и условностям, которые не являются плодом сознательного замысла, существование которых в отдельных случаях может не поддаваться разумному объяснению и которые часто представляются ему непонятными и иррациональными.

Мне нет нужды продолжать разговор о первом моменте. Было бы излишне еще раз подчеркивать, что истинный индивидуализм утверждает ценность семьи и любых совместных усилий небольшой общины или группы, что он убежден в необходимости местной автономии и добровольных ассоциаций и что его доводы действительно в значительной мере основаны на том, что многого, для чего обращаются обычно к принудительной деятельности государства, можно скорее добиться при помощи добровольного сотрудничества. Не может быть большей противоположности этому, чем ложный индивидуализм, который хочет растереть все эти небольшие группы до атомов, ничем между собой не скрепленных, кроме навязанных государством принудительных правил, и который пытается сделать все общественные связи предписываемыми вместо того, чтобы использовать государство прежде всего для защиты индивида от присвоения прав на принуждение более мелкими группами.

Для функционирования индивидуалистического общества столь же важны, наряду с этими более мелкими объединениями людей, те традиции и обычаи, которые складываются в свободном обществе и, не будучи принудительными, создают гибкие и обычно соблюдаемые правила, делаая поведение окружающих людей достаточно высоко предсказуемым. Готовность подчиняться таким правилам не только когда человек понимает их обоснованность, но до тех пор, пока он не находит веских доводов против них, является важнейшим условием постепенной эволюции и усовершенствования норм социального взаимодействия. Готовность обыкновенно подчиняться результатам общественного процесса, который никем не замышлялся и оснований которого может никто не понимать, также есть необходимое условие возможности обходиться без принуждения. [Различие между рационалистическим и истинно индивидуалистическим подходами хорошо видно из разнообразных мнений, выражавшихся французскими

наблюдателями по поводу видимой иррациональности английских общественных институтов. Например, жалобы Анри де Сен-Симона на то, что "сотни томов *in folio*, мельчайшим шрифтом, не хватило бы, чтобы перечислить все органические несообразности, существующие в Англии" (*Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin* [Paris, 1865-78], XXXVIII, 179), Токвиль парирует тем, что "...эти странности англичан могут иметь какое-то отношение к их свободам" (*L'Ancien regime et la revolution* [7th ed.; Paris, 1866], p.103). (Рус. пер.: Токвиль А. Старый порядок и революция. М., Московский философский фонд, 1997, с. 61.)] То, что существование общепринятых условностей и традиций позволяет группе работать вместе эффективно и без трений при гораздо меньшей степени формальной организации и принуждения, чем группе, не имеющей такой общей подосновы, -- это, конечно, банальность. Однако обратное утверждение хотя и менее привычно, но, вероятно, не менее справедливо: похоже, только в обществе, где условности и традиции сделали поведение человека в значительной мере предсказуемым, насилие может быть сведено к минимуму. [Нужно ли еще раз цитировать Эдмунда Бёрка, чтобы напомнить читателю, каким важнейшим условием возможности существования свободного общества он считал силу моральных правил? "Подготовленность людей к гражданской свободе прямо пропорциональна их расположенности накладывать моральные цепи на собственные аппетиты; и пропорциональна тому, насколько их любовь к справедливости выше их жадности; пропорциональна тому, насколько их здоровое и трезвое мышление выше их тщеславия и самонадеянности; пропорциональна тому, насколько они расположены предпочитать советы мудрых и добродетельных лести плутов" (*A Letter to a Member of the National Assembly* [1791], in *Works* [World's Classics ed.], IV, 319).]

Это приводит меня ко второму моменту: к необходимости индивидуального подчинения анонимным и внешне иррациональным социальным силам в любом сложном обществе, где последствия деятельности всякого человека выходят далеко за рамки его кругозора, -- подчинения, которое должно включать не только признание правил поведения как имеющих силу, без выяснений, что именно зависит от их соблюдения в каждом конкретном случае, но и готовность приспособляться к переменам, причины которых могут быть совершенно непонятны человеку, но при этом глубоко влиять на его судьбу и открытые перед ним возможности. Именно против этих вещей склонен восставать современный человек, если ему не продемонстрировать, что их необходимость покоится на "основании, ясном и очевидном для каждого индивида". Однако тут-то понятное желание вразумительных объяснений и порождает иллюзорные требования, которые никакая система не в состоянии удовлетворить. У человека в сложном обществе нет другого выбора, как только между приспособлением к тому, что должно казаться ему слепыми силами социального процесса, и подчинением приказам вышестоящих. Пока ему знакома только жесткая дисциплина рынка, он вполне может считать предпочтительным управление со стороны какого-либо более могучего человеческого ума; но, испробовав это, он вскоре обнаруживает, что первое все-таки оставляет ему хоть какой-то выбор, тогда как последнее не дает никакого, и что лучше иметь выбор между несколькими неприятными альтернативами, чем быть принудительно загнанным в какую-то одну.

Нежелание терпеть или уважать любые общественные силы, которые нельзя счесть плодом разумного замысла, будучи важнейшей причиной нынешней жажды всеобъемлющего экономического планирования, является, в сущности, лишь одним из аспектов более общего движения. Мы встречаем ту же тенденцию в области нравов и обычаев, в желании заменить существующие языки искусственным и во всем современном подходе к процессам, управляющим ростом знания. Убеждение, что только синтетическая система нравственности, искусственный язык или даже искусственное общество имеют право на существование в век науки, равно как и растущее нежелание

подчиняться любым моральным нормам, чья полезность не доказана рационально, или соблюдать обычаи, чьи разумные основания не видны, -- это проявления все той же исходной установки, требующей, чтобы любые виды социальной активности выступали как части единого согласованного плана. Они представляют собой следствие все того же рационалистического "индивидуализма", жаждущего во всем видеть продукт сознающего индивидуального разума. Они, конечно же, не являются детищем истинного индивидуализма и могут даже затруднять или делать невозможной работу истинно индивидуалистической системы. В самом деле, великий урок, который дает нам на этот счет философия индивидуализма, состоит в том, что, хотя и нетрудно разрушить добровольные формирования, составляющие незаменимую опору свободной цивилизации, нам может оказаться не по силам сознательно воссоздать такую цивилизацию после того, как ее фундамент был разрушен.

8

Положение, которое я попытаюсь доказать, хорошо иллюстрируется следующим очевидным парадоксом: хотя немцев обычно считают очень послушными, их нередко характеризуют и как крайних индивидуалистов. Не без оснований этот так называемый немецкий индивидуализм зачастую приводят как одну из причин, почему немцам никогда не удалось развить свободные политические институты. В рационалистическом смысле слова немецкая интеллектуальная традиция в своем настаивании на развитии "самобытной" личности, которая во всех отношениях была бы продуктом сознательного выбора самого индивида, действительно поощряет тип "индивидуализма", мало известный где-либо еще. Я хорошо помню, как сам был удивлен и даже шокирован, когда, еще молодым студентом, при первом знакомстве с английскими и американскими сверстниками обнаружил, насколько они были готовы считаться во всех внешних проявлениях с общепринятыми условностями вместо того, чтобы, как мне казалось естественным, гордо быть непохожими и оригинальными почти во всем. Если вы сомневаетесь в значимости моего личного опыта, то найдете полное ему подтверждение в большинстве немецких дискуссий по поводу, например, английской системы закрытых школ (взять хотя бы известную книгу Дибелиуса об Англии [W.Dibelius, England (1923), pp. 464-68, английский перевод 1934 г.]). Вновь и вновь вы будете сталкиваться с той же вызывающей удивление склонностью к добровольному подчинению и обнаруживать контраст со стремлением молодого немца развить "самобытную" личность, в мельчайших проявлениях выражающую то, что он счел правильным и истинным. Этот культ особой, отличающейся от всех индивидуальности, несомненно, глубоко уходит корнями в немецкую интеллектуальную традицию, а через влияние некоторых величайших ее представителей, особенно Гёте и Вильгельма фон Гумбольдта, он проник далеко за пределы Германии и ясно виден в трактате Дж.С.Милля "О свободе".

Этот сорт "индивидуализма" не только не имеет ничего общего с истинным индивидуализмом, но в действительности может оказаться серьезным препятствием для слаженной работы индивидуалистической системы. Приходится оставить открытым вопрос, можно ли заставить успешно работать свободное, или индивидуалистическое, общество, если люди слишком "индивидуалистичны" в превратном смысле, если они совершенно не склонны добровольно подчиняться традициям и условностям и если они отказываются признавать все, что не спроектировано сознательно или рациональность чего не может быть продемонстрирована всем и каждому. Понятно, во всяком случае, что преобладание "индивидуализма" такого сорта часто заставляло людей доброй воли отчаиваться в возможности достижения порядка в свободном обществе и даже вынуждало их требовать диктаторского правления, наделенного властью навязывать обществу порядок, который оно не в состоянии создать само.

В Германии, в частности, это предпочтение организации сознательной и соответствующее презрение к организации спонтанной и неконтролируемой подкреплялось сильнейшей склонностью к централизации, которую породила борьба за объединение нации. В стране, где имевшиеся традиции носили, по сути, местный характер, стремление к единству подразумевало систематическое противодействие почти всему, что вырастало спонтанно, и неуклонное замещение этого искусственными учреждениями. Поэтому нам не следовало, вероятно, так уж сильно удивляться, что в процессе, метко названном современным историком "отчаянным поиском традиции, которой у них не было" [E.Vermeil, Germany's Three Reichs (London, 1944), p. 224], немцам было уготовано кончить созданием тоталитарного государства, навязавшего им то, чего, как они чувствовали, им не хватало.

9

Если верно, что прогрессирующая тенденция к централизованному контролю над всеми общественными процессами есть неизбежный результат подхода, настаивающего на том, что все должно быть аккуратно спланировано и являть собой видимый невооруженным глазом порядок, то верно также, что эта тенденция ведет к созданию условий, при которых только всесильное центральное правительство способно сохранять порядок и стабильность. Концентрация всех решений в руках власти сама по себе порождает такое положение вещей, когда та структура, которая еще остается у общества, оказывается навязанной ему государством, а индивиды становятся взаимозаменяемыми единицами, не имеющими иных определенных и устойчивых отношений друг с другом, кроме установленных организацией, объемлющей всё и вся. На жаргоне современных социологов такой тип общества стал известен как "массовое общество" -- несколько обманчивое название, поскольку характерные признаки подобного общества являются не столько результатом просто больших чисел, сколько результатом отсутствия у него какой-либо спонтанно сложившейся структуры, кроме той, что навязана ему сознательной организацией, его неспособности углублять свою внутреннюю дифференциацию с вытекающей отсюда зависимостью от власти, целенаправленно его формирующей и перекраивающей. Это связано с большими числами лишь постольку, поскольку в крупных странах процесс централизации будет гораздо быстрее достигать момента, когда сознательная организация сверху задушит спонтанные формирования, основанные на контактах более близких и личных, чем те, что могут существовать в крупных единицах.

Неудивительно, что в XIX веке, когда эти тенденции впервые отчетливо заявили о себе, противостояние централизации стало одной из основных забот философов-индивидуалистов. Это противостояние особенно заметно в трудах двух великих историков, которых я ранее выделил как ведущих представителей истинного индивидуализма в XIX веке, -- Токвиля и лорда Актона; оно нашло отражение в их симпатиях к малым странам и к федеративному устройству больших. В наше время есть еще больше оснований полагать, что малые страны вскоре станут последними оазисами, сохраняющими свободное общество. Может быть, уже слишком поздно, чтобы остановить неотвратимый ход прогрессирующей централизации в более крупных странах, настолько далеко зашедших по пути создания такого массового общества, что деспотизм начинает в конце концов представляться последним спасением. Смогут ли хотя бы малые страны избежать такой судьбы, зависит от того, останутся ли они свободными от яда национализма, являющегося и стимулом, и результатом все того же стремления к обществу, сознательно организуемому сверху.

Отношение индивидуализма к национализму, интеллектуально являющемуся не чем иным, как близнецом социализма, заслуживает специального обсуждения. Здесь я могу только упомянуть, что фундаментальное различие между тем, что в XIX веке считалось либерализмом в англоговорящем мире, и тем, что носило это название на континенте, тесно связано с их происхождением от истинного индивидуализма и ложного рационалистического индивидуализма соответственно. Только либерализм в английском смысле всегда противостоял централизации, национализму и социализму, тогда как либерализм, господствовавший на континенте, содействовал всем трем. Я должен, однако, добавить, что в этом отношении, как и во многих других, Джон Стюарт Милль и произошедший от него более поздний английский либерализм принадлежат, по меньшей мере, в равной степени и континентальной, и английской традиции; и я не знаю лучшего освещения фундаментальных расхождений между ними, чем критика лордом Актоном уступок, сделанных Миллем националистическим тенденциям континентального либерализма [Lord Acton, "Nationality", (1862), reprinted in *The History of Freedom*, pp. 270--300. (Рус. пер.: Лорд Актон. Назв. соч., с. 102--138.)].

10

Расхождение между двумя видами индивидуализма обнаруживается еще по двум пунктам, и здесь наиболее показательна та позиция, которую заняли лорд Актон и Токвиль по отношению к тенденциям, выступившим в то время на первый план, -- их взгляды на соотношение демократии и равенства. Истинный индивидуализм не только верит в демократию, но вправе утверждать, что демократические идеалы происходят из основных принципов индивидуализма. Тем не менее, хотя индивидуализм утверждает, что всякое правление должно быть демократическим, у него нет суеверного преклонения перед всемогуществом решений большинства. В частности, он отказывается признать, что "абсолютная власть может -- в случае получения ее из рук народа -- быть столь же легитимной, как и конституционная свобода" [Lord Acton, "Sir Erskine May's Democracy in Europe" (1878), reprinted in *The History of Freedom*, p. 78.]. Он убежден, что при демократии не менее, чем при любой другой форме правления, "сфера действия принудительных распоряжений должна быть ограничена жесткими рамками" [Lord Acton, *Lectures on Modern History* (1906), p. 10]; он особенно враждебно относится к наиболее роковому и опасному из всех ходячих ложных представлений о демократии -- убеждению, что нам надлежит принимать мнения большинства как истинные и обязательные для дальнейшего развития. Хотя демократия основывается на конвенции, что мнение большинства является решающим в отношении коллективных действий, отсюда не следует, что сегодняшнее мнение большинства должно приниматься всеми -- даже если бы это оказалось необходимо для достижения целей большинства. Напротив, все оправдание демократии покоится на том факте, что с течением времени сегодняшнее мнение ничтожного меньшинства может стать мнением большинства. Я серьезно считаю, что один из наиболее важных вопросов, на который политической теории предстоит найти ответ в ближайшем будущем, состоит в том, чтобы нащупать демаркационную линию между теми сферами, где взгляды большинства должны быть обязывающими для всех, и теми, где, напротив, надо дать простор мнению меньшинства, если это может привести к результатам, лучше удовлетворяющим потребности людей. Помимо того, я убежден, что там, где затронуты интересы конкретной отрасли коммерции, мнение большинства всегда будет реакционным и косным и что достоинство конкуренции состоит именно в предоставлении меньшинству возможности восторжествовать. В тех случаях, когда меньшинство может достигать этого без какого-либо применения силы, оно всегда должно иметь такое право.

Нет лучшего способа выразить общее отношение истинного индивидуализма к демократии, чем процитировать еще раз лорда Актона. Он писал: "Истинно демократический принцип, что никто не должен властвовать над народом, означает, что никто не сможет ограничить его власть или уклониться от нее. Истинно демократический принцип, что народ не должен принуждаться делать то, что ему не нравится, означает, что ему никогда не придется терпеть то, что ему не нравится. Истинно демократический принцип, что воля каждого человека должна быть освобождена от оков настолько, насколько возможно, означает, что свободная воля всего народа не будет скована ничем" [Lord Acton, "Sir Erskine May's Democracy in Europe", перепечатано в *The History of Freedom*, pp. 93--94].

Однако когда мы обращаемся к равенству, следует сразу сказать, что истинный индивидуализм не является эгалитарным в современном смысле слова. Он не видит причин пытаться делать всех людей равными -- в отличие от того, чтобы обращаться с ними как с равными. Индивидуализм глубоко враждебен любым предписанным привилегиям, всякой защите, будь то законом или силой, любых прав, не основанных на правилах, равно применимых ко всем людям; и он отказывает также правительству в праве накладывать ограничения на то, чего может достичь талантливый или удачливый человек. Он равно враждебен любым попыткам жестко ограничивать положение, которого могут достигать индивиды -- независимо от того, используется при этом власть для увековечения неравенства или для создания равенства. Его главный принцип заключается в том, что ни один человек или группа людей не должны обладать властью решать, каков должен быть статус другого человека, и он считает это настолько существенным условием свободы, что им недопустимо жертвовать для удовлетворения нашего чувства справедливости или нашей зависти.

С точки зрения индивидуализма не могло бы, по-видимому, существовать никакого оправдания даже тому, чтобы заставлять всех индивидов начинать с одних и тех же стартовых позиций, не давая им пользоваться теми преимуществами, которые они ничем не заработали, как, например, появление на свет от родителей более умных или более добросовестных, чем в среднем. В этом индивидуализм действительно менее "индивидуалистичен", чем социализм, поскольку считает семью столь же легитимной единицей, как и индивида. Это верно и в отношении иных групп, как, например, языковые или религиозные общины, которым совместными усилиями удается в течение долгого времени сохранять для своих членов материальные или моральные стандарты, до которых далеко остальному населению. Токвиль и лорд Актон говорят об этом в один голос. Токвиль писал: "Демократия и социализм не имеют ничего общего, кроме одного слова -- равенство. Отметьте, однако, различие: тогда как демократия добивается равенства в свободе, социализм добивается равенства в ограничениях и рабстве" [Alexis de Tocqueville, *Oeuvres complètes*, IX, 546]. И Актон присоединялся к нему, считая, что "глубочайшей причиной, сделавшей французскую Революцию столь губительной для свободы, была ее теория равенства" [Lord Acton, "Sir Erskine May's Democracy in Europe", перепечатано в *The History of Freedom*, p.88] и что "благоприятнейшая возможность из когда-либо открывавшихся миру... была упущена из-за страсти к равенству, погубившей надежды на свободу" [Lord Acton, "The History of Freedom in Christianity" (1877), перепечатано в *The History of Freedom*, p. 57. (Рус. пер. Лорд Актон. Назв. соч., с.98.)].

11

Можно было бы долго еще разбирать другие различия между двумя традициями мысли, которые, хотя и носят одинаковое имя, разделены фундаментально противоположными принципами. Но я не должен позволять себе далеко отклоняться от своей основной задачи

-- проследить до самых истоков возникшую из-за этого путаницу и показать, что существует одна последовательная традиция -- согласны вы со мной или нет в том, что она есть "истинный" индивидуализм, -- являющаяся во всяком случае единственным видом индивидуализма, который я готов отстаивать и который, я считаю, действительно можно последовательно защищать. Так позвольте мне вернуться в заключение к тому, с чего я начал: фундаментальная позиция истинного индивидуализма состоит в смирении перед процессами, благодаря которым человечество достигло вещей, которых никто не замыслил и не понимал и которые действительно превосходят своей мощью индивидуальный разум. В данный момент важнейший вопрос заключается в том, будет ли человеческому разуму позволено и далее развиваться как части этого процесса, или же ему предстоит опутать себя оковами, сотворенными им самим.

Индивидуализм учит нас, что общество -- это нечто более великое, чем человек, только пока оно свободно. Покуда оно контролируется или управляется, оно ограничено мощью контролирующих его или управляющих им индивидуальных умов. Если современное мышление, в своей самонадеянности не относящееся с уважением ни к чему, что не контролируется сознательно индивидуальным разумом, не поймет со временем, где надо остановиться, мы можем, как предупреждал Эдмунд Бёрк, "быть совершенно уверены, что все вокруг нас будет постепенно приходить в упадок, пока наконец наши дела и интересы не сморщатся до размеров наших мозгов".

ГЛАВА II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЗНАНИЕ

Президентское обращение к Лондонскому экономическому клубу от 10 ноября 1936 г. Перепечатано из: *Economica*, IV (new ser., 1937), pp. 33-54.

1

Двусмысленность, заключенная в названии настоящей работы, не случайна. Ее главный предмет -- это, конечно, та роль, которую в экономическом анализе играют предпосылки и допущения относительно знаний, имеющихся у различных членов общества. Но это никак не отделяется от другого вопроса, который можно рассматривать под тем же заголовком, -- в какой мере формальный экономический анализ дает какое-либо знание о происходящем в реальном мире. Действительно, мой главный тезис будет заключаться в том, что тавтологии, из которых состоит формальный равновесный анализ экономической теории, можно превратить в высказывания, которые что-то говорят нам о причинных связях в реальном мире, лишь постольку, поскольку мы способны наполнить эти формальные положения содержательными утверждениями о том, как приобретаются и передаются знания. Короче говоря, я намерен показать, что эмпирический элемент в экономической теории -- единственная ее часть, имеющая отношение не только к импликациям из заданных предпосылок, но также к причинам и следствиям и ведущая нас таким образом к выводам, поддающимся (во всяком случае, в принципе) верификации [или, скорее, фальсификации (ср.: К.В.Поппер, *Logik der Foshung* [Vienna, 1935], *passim*). (Рус пер.: Поппер К. *Логика и рост научного знания*. М., "Прогресс", 1983)], -- состоит из утверждений, касающихся приобретения знаний.

Вероятно, мне следует сначала напомнить вам о том примечательном обстоятельстве, что в разных областях в самое последнее время было предпринято немало попыток продвинуть теоретическое исследование за рамки традиционного равновесного анализа. И очень скоро выяснилось, что их успешность зависит от допущений, которые мы делаем в вопросе если и не идентичном моей теме, то, по меньшей мере, составляющем ее часть, -- а именно в вопросе о предвидении. Мне кажется, что впервые, как и следовало ожидать, широкое внимание к обсуждению предпосылок, касающихся предвидения, привлекла теория риска. [Более полный обзор процесса, в ходе которого ожидания постепенно заняли такое важное место в экономическом анализе, следовало бы, вероятно, начать с работы И. Фишера *Appreciation and Interest* (1896).] И может еще случиться, что глубокое стимулирующее воздействие работ Фрэнка Найта выйдет далеко за пределы этой специальной области.

Так, почти сразу же обнаружилось, что допущения, которые приходится делать в отношении предвидения, имеют фундаментальное значение для решения головоломок теории несовершенной конкуренции, проблем дуополии и олигополии. С тех пор стало еще более очевидно, что при изучении более "динамических" вопросов денежного обращения и промышленных колебаний предпосылкам относительно предвидения и "ожиданий" также принадлежит центральная роль и что, в частности, понятия, перенесенные в эти сферы из чисто равновесного анализа, как, например, равновесная норма процента, можно строго определить только в терминах допущений, касающихся предвидения. По-видимому, в данном случае дело обстоит так, что, прежде чем мы сможем объяснить, почему люди ошибаются, мы должны сначала объяснить, почему они вообще могут быть правы.

В общем мы, кажется, подошли к пункту, где все осознали, что само понятие равновесия можно сделать ясным и определенным только в терминах допущений, имеющих

отношение к предвидению, хотя мы можем оставаться еще не согласными в том, каковы именно эти важнейшие допущения. Я обращусь к этому вопросу несколько позже. Пока же я только попытаюсь показать, что при нынешнем положении дел, хотим ли мы определить границы экономической статики или выйти за ее пределы, нам не миновать спорной проблемы, какое именно место должны занимать в наших рассуждениях предпосылки, касающиеся предвидения. Может ли это быть простой случайностью?

Как я уже говорил, причина этого, на мой взгляд, кроется в том, что мы имеем здесь дело с частным аспектом гораздо более широкой проблемы, к которой следовало бы обратиться намного раньше. Вопросы, по сути схожие с уже упомянутыми, фактически возникают всякий раз, как только мы пытаемся применить к обществу, состоящему из некоторого числа независимых лиц, систему тавтологий -- набор из таких высказываний, которые необходимо истинны, поскольку являются всего лишь преобразованиями наших же начальных допущений, и которые составляют основное содержание равновесного анализа. Мне давно казалось, что само понятие равновесия и методы, используемые нами в чистой теории, имеют ясный смысл только тогда, когда все ограничивается анализом действий отдельного человека, и что мы действительно переходим в иную сферу и молча вводим новый элемент совершенно иного свойства при попытках использовать его для объяснения взаимодействия множества различных индивидов.

Я уверен, многие относятся с раздражением и подозрительностью к присущей всему современному равновесному анализу общей тенденции превращать экономическую теорию в раздел чистой логики -- в набор самоочевидных утверждений, не подлежащий, подобно математике или геометрии, никакой проверке, кроме проверки на внутреннюю непротиворечивость. Представляется, однако, что, если только продвинуть этот процесс достаточно далеко, он принесет средства для собственного исправления. Выделяя из наших рассуждений о фактах экономической жизни части, верные априорно, мы не только изолируем один элемент в качестве своего рода Чистой Логике Выбора во всей его чистоте, но также вычленим другой элемент, которым слишком долго пренебрегали, и подчеркиваем его важность. Моя критика нынешних устремлений делать экономическую теорию все более и более формальной состоит не в том, что они зашли слишком далеко, а в том, что они все еще не доведены до окончательного обособления этого раздела логики и возвращения на законное место исследований причинных процессов с использованием формальной экономической теории в качестве такого же инструмента, как мы используем математику.

2

Но прежде чем я смогу доказать свое утверждение, что тавтологические высказывания чистого равновесного анализа как таковые не могут прямо использоваться для объяснения социальных отношений, мне нужно сначала показать, что понятие равновесия имеет ясный смысл применительно к действиям отдельного индивида и в чем этот смысл состоит. На мое утверждение можно возразить, что именно в такой ситуации понятие равновесия лишается смысла, поскольку если бы кто-то захотел применить это понятие к ней, то не смог бы сказать ничего, кроме того, что отдельный человек всегда находится в состоянии равновесия. Однако, хотя это последнее утверждение и представляет собой трюизм, оно показывает только, до какой степени злоупотребляют обычно понятием равновесия. К делу относится не то, пребывает ли человек как таковой в равновесии или нет, а то, какие из его действий пребывают в равновесных отношениях друг с другом. Все положения равновесного анализа, например то, что относительные ценности будут соответствовать относительным издержкам или что человек будет уравнивать предельные доходы от различных вариантов использования любого фактора, касаются отношений

между действиями. Можно говорить, что действия человека находятся в равновесии, коль скоро подразумевается, что они составляют часть одного плана. Только в этом случае, то есть только если решение обо всех этих действиях было принято одновременно и с учетом одних и тех же обстоятельств, наши утверждения об их взаимосвязях, высказанные исходя из допущений относительно знаний и предпочтений данного человека, могут иметь какой-то прикладной смысл. Важно помнить, что к так называемым "данным", которые служат нам отправным пунктом в этом виде анализа, относятся (помимо вкусов рассматриваемого человека) все факты, которые ему даны, то есть вещи, как они существуют в его знаниях (или представлениях) о них, а не объективные факты в строгом смысле. Только поэтому дедуцируемые нами выводы необходимо имеют силу априори, и только поэтому наша аргументация остается непротиворечивой. [Ср., в частности, по этому вопросу: Ludvig von Mises, Grundprobleme der Nationalökonomie (Jena, 1933), pp. 22 ff., 160 ff.]

Два главных вывода из этих соображений состоят в следующем. Во-первых, поскольку отношения равновесия существуют между последовательными действиями человека, лишь пока они остаются частями выполнения одного и того же плана, любое изменение в релевантных (relevant) знаниях человека, то есть любая перемена, заставляющая его пересмотреть свой план, подрывает равновесное отношение между действиями, предпринятыми до и после изменений в его знаниях. Иными словами, равновесное отношение охватывает действия этого человека только за тот период, пока его ожидания оказывались верными. Во-вторых, поскольку равновесие -- это отношение между действиями и поскольку действия одного человека обязательно должны происходить последовательно во времени, очевидно, что ход времени весьма важен для придания понятию равновесия какого-либо смысла. Об этом стоит упомянуть, поскольку многие экономисты оказались, похоже, неспособны найти место для времени в равновесном анализе и потому предположили, что понятие равновесия должно рассматриваться как вневременное. Подобное представление мне кажется лишенным смысла.

3

Несмотря на то, что я сказал ранее о сомнительной значимости равновесного анализа применительно к условиям конкурентного общества, я не хочу, конечно, отрицать, что первоначально он был введен именно для выражения идеи своего рода сбалансированности между действиями различных индивидов. Все, что я пока доказывал, так это то, что смысл, вкладываемый нами в понятие равновесия при описании взаимозависимости разных действий одного человека, не позволяет непосредственно переносить это понятие на отношения между действиями различных людей. Вопрос, по существу, заключается в том, как мы можем пользоваться им, когда ведем речь о равновесии применительно к конкурентной системе.

Первый вывод, вытекающий, по-видимому, из нашего подхода, состоит в том, что равновесие здесь существует, если действия всех членов общества в течение какого-то периода представляют собой выполнение соответствующих индивидуальных планов, намеченных каждым из них на начало данного периода. Однако когда мы пытаемся затем выяснить, что же именно это значит, оказывается, что такая формулировка создает трудностей больше, чем решает. С идеей отдельного человека (или группы лиц, управляемой одним из них), действующего в течение какого-то периода по заранее задуманному плану, особых проблем не возникает. В этом случае план не должен отвечать каким-то специфическим критериям, чтобы его выполнение было мыслимым. Он может, конечно, основываться на неверных предположениях относительно внешних обстоятельств и из-за этого нуждаться в пересмотре. Однако всегда будет наличествовать

некий мыслимый набор внешних событий, который позволил бы осуществить план в первоначально задуманном виде.

Иначе обстоит дело с планами, намеченными одновременно, но независимо друг от друга некоторым числом людей. Во-первых, для осуществимости всех этих планов необходимо, чтобы они были составлены в ожидании одного и того же ряда внешних событий, поскольку если бы разные люди основывали свои планы на противоречащих друг другу ожиданиях, то никакой набор внешних событий не мог бы позволить осуществить их все вместе. И во-вторых, в обществе, основанном на обмене, планы каждого человека в значительной своей части будут состоять из действий, требующих согласующихся с ними действий со стороны других индивидов. Это означает, что планы различных индивидов должны быть в определенном смысле совместимыми, чтобы, хотя бы предположительно, они были способны их все реализовать. [Меня давно удивляло, почему в социологии, насколько мне известно, не делалось систематических попыток проанализировать общественные отношения в терминах соответствия и несоответствия, или совместимости и несовместимости, индивидуальных целей и желаний.] Или, говоря иначе, поскольку часть данных, на основе которых всякий человек станет строить свои планы, будет состоять из ожиданий определенного образа действий других людей, для совместимости разных планов существенно важно, чтобы планы одного человека содержали именно те действия, которые образуют данные для планов другого.

В традиционной трактовке равновесного анализа это затруднение удастся, по-видимому, частично обойти с помощью допущения, что данные в форме кривых спроса, отражающие вкусы индивидов и технические факты, в равной мере даны всем участникам и что осуществление ими действий на основе одних и тех же предпосылок так или иначе приведет к взаимной адаптации их планов. Часто подчеркивалось, что трудность, создаваемая тем, что действия одного человека выступают как данные для другого, в действительности таким путем не преодолевается и что в известном смысле подобный ход рассуждений представляет собой порочный круг. Однако до сих пор, похоже, ускользало от внимания, что вся эта процедура влечет за собой путаницу еще более общего свойства, в которой упомянутый момент представляет собой лишь частный случай и которая обусловлена двусмысленностью самого понятия "datum" -- "данное". Данные, под которыми здесь подразумеваются одинаковые для всех людей объективные факты, очевидно не эквивалентны данным, которые служат отправным пунктом для тавтологических преобразований Чистой Логике Выбора. Там "данные" означали факты, причем только те, которые присутствовали в голове действующего лица, и лишь эта субъективная интерпретация понятия "данное" делала такие высказывания необходимо истинными. "Datum" означает данное, известное рассматриваемому человеку. Однако при переходе от анализа действий индивида к анализу ситуации в обществе смысл этого понятия претерпевает незаметное превращение.

4

Путаница, касающаяся понятия "данное", стала причиной столь многих наших затруднений в этой области, что необходимо рассмотреть его несколько более подробно. Datum, данное, означает безусловно нечто, что дано. Однако вопрос, который остается открытым и на который в общественных науках может быть два разных ответа, состоит в том, кому, как предполагается, эти факты даны. Видимо, подсознательно экономисты всегда испытывали некоторую неловкость по этому поводу, и им приходилось, наперекор ощущению, что они понятия не имеют, кому же были даны факты, успокаивать себя, подчеркивая, что факты были даны -- даже прибегая к такому плеоназму, как "данные данные". Но отсюда неясно, предполагается ли, что упомянутые факты даны

наблюдателю-экономисту или что они даны лицам, чьи действия он хочет объяснить, и что касается последних, то допускается ли, что всем различным людям внутри системы известны одни и те же факты или же что "данные" для различных людей могут быть разными.

Нет никакого сомнения, что два этих понимания "данных" -- с одной стороны, в смысле реальных объективных фактов в том виде, в каком они, как предполагается, известны наблюдателю-экономисту, и, с другой стороны, в субъективном смысле, как вещей, известных лицам, чье поведение мы пытаемся объяснить, -- действительно глубоко несхожи и их следует тщательно разграничивать. И, как мы увидим, вопрос, почему данные в субъективном смысле слова вообще должны приходить в соответствие с объективными данными, -- это одна из основных проблем, требующая от нас ответа.

Полезность такого разграничения немедленно обнаруживается, как только мы применяем его к вопросу, что может означать понятие общества, в любой данный момент находящегося в состоянии равновесия. Очевидно, лишь в двух смыслах мы можем говорить, что субъективные данные, имеющиеся у разных лиц, и индивидуальные планы, необходимо следующие из них, находятся между собой в согласии. Мы можем просто иметь в виду, что эти планы взаимно совместимы и что, соответственно, имеется мыслимый ряд внешних событий, позволяющий всем людям осуществить свои планы, ни у кого не вызвав разочарования. Если бы такая взаимная совместимость намерений отсутствовала и, следовательно, никакой набор внешних событий не мог бы удовлетворить все ожидания, мы были бы вправе просто сказать, что это не есть состояние равновесия. Перед нами ситуация, когда пересмотр планов хотя бы некоторых людей неизбежен, или, по выражению, имевшему в прошлом довольно туманный смысл, но, видимо, точно подходящему к данному случаю, когда неизбежны "эндогенные" нарушения.

Остается, однако, еще и другой вопрос: соответствуют ли индивидуальные наборы субъективных данных объективным данным и, следовательно, подкрепляются ли фактами те ожидания, на которых были основаны планы. Если равновесие требует соответствия между данными в этом смысле, то решить, находилось ли общество в равновесии на начало периода, можно было бы лишь ретроспективно, в конце периода, на который люди составляли планы. Видимо, будет ближе к укоренившемуся словоупотреблению, если сказать в таком случае, что равновесие, как оно было определено в первом смысле, может быть нарушено непредвиденным изменением (объективных) данных, и обозначить это как экзогенное нарушение. В самом деле, видимо, вряд ли можно придать какой-либо четкий смысл широко применяемому понятию "изменения в (объективных) данных", если мы не проведем различия между внешними событиями, согласующимися с ожиданиями, и внешними событиями, не согласующимися с ними, и не определим как "изменение" любое отклонение действительного развития событий от ожидавшегося, независимо от того, имело ли место "изменение" в некоем абсолютном смысле. Если, например, неожиданно прекратится чередование времен года и погода, начиная с определенной даты, будет оставаться постоянной, это, конечно, будет представлять изменение в данных в нашем смысле, то есть отклонение от ожиданий, хотя в абсолютном смысле это будет не изменением, а его отсутствием. Но все это означает, что мы можем говорить об изменении в данных, только если существует равновесие в первом смысле, то есть если ожидания совпадают. Если же они противоречат друг другу, то любое развитие внешних событий может привести к осуществлению ожиданий одних людей и обману ожиданий других и нельзя будет решить, в чем же состояло изменение в объективных данных. [Ср. мою статью: "The Maintenance of Capital", *Economica*, II (new ser., 1935), 265, перепечатано в *Profits, Interest and Investment* (London, 1939).]

В применении к обществу мы можем говорить о состоянии равновесия в какой-то момент времени, но это лишь означает, что различные планы, составленные индивидами для своих действий в данный момент, взаимно совместимы. И равновесие, стоит ему установиться, будет сохраняться, пока внешние данные будут соответствовать общим для всех членов общества ожиданиям. Продолжительность состояния равновесия в этом смысле не зависит от постоянства объективных данных в абсолютном смысле, и оно не обязательно сводится к стационарному процессу. Равновесный анализ становится в принципе применим и к прогрессирующему обществу, и к тем межвременным ценовым соотношениям, которые доставляли нам столько беспокойства в последнее время. [Это отделение понятия равновесия от понятия стационарного состояния представляется мне не чем иным, как неизбежным итогом процесса, продолжавшегося довольно долго. Сегодня, вероятно, всеми ощущается, что эти два понятия связаны не по сути, а только в силу исторических обстоятельств. Если полное отделение все еще не состоялось, то, по-видимому, только потому, что до сих пор не было предложено никакого альтернативного определения состояния равновесия, позволившего бы сформулировать в общем виде те положения равновесного анализа, которые, по сути, не зависят от понятия стационарного состояния. Очевидно несмотря на это, что большая часть положений равновесного анализа отнюдь не рассчитана на применение только к стационарному состоянию, каковое, вероятно, никогда и не будет достигнуто. По-видимому, процесс отделения начался с Маршалла и проведенного им различия между долго- и краткосрочным равновесием. Ср. его утверждения вроде следующего: "...сама природа равновесия и причин, его обуславливающих, зависит от продолжительности периода, который занимает расширение рынка". (Principles [7th ed.], I, 330). (Рус. пер.: А.Маршалл. Принципы политической экономии. М., "Прогресс", 1984, Т.2, с.12 [с исправлениями].) Идея состояния равновесия, не являющегося стационарным состоянием, уже присутствовала в моей работе: "Das intertemporale Gleichgewichtssystem der Preise und die Bewegungen des Geldwerters", *Weltwirtschaftliches Archiv*, Vol. XXVIII (June, 1928), и она, конечно, очень важна, если мы хотим применять аппарат теории равновесия для объяснения любого из явлений, связанных с "инвестированием". Богатую историческую информацию по этому вопросу в целом можно найти в: E.Schams, "Komparative Statik", *Zeitschrift für Nationalökonomie*, Vol. II, No. 1 (1930). См. также: F.H.Knight, *The Ethics of Competition* (London, 1935), p. 175n; о дальнейшей разработке проблемы после первой публикации настоящего очерка см. мою работу *Pure Theory of Capital* (London, 1941), chap. ii.]

Отсюда, похоже, значительно яснее становится та связь между равновесием и предвидением, о чем в последние годы шли такие горячие споры. [Ср., в частности: Oskar Morgenstern, "Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht", *Zeitschrift für Nationalökonomie*, VI (1934), 3.] Представляется, что понятие равновесия подразумевает лишь то, что предвидения различных членов общества верны -- в некотором специальном смысле. Они должны быть верны в том смысле, что план каждого человека основывается на ожиданиях именно таких действий со стороны других лиц, которые эти люди и намерены совершить, и что все их планы построены в ожидании одного и того же набора внешних событий, так что при определенных условиях ни у кого не будет причин эти планы менять. В таком случае правильное предвидение не является, как это иногда считалось, предварительным условием, которое должно быть соблюдено для достижения равновесия. Оно скорее является определяющим признаком состояния равновесия. Для достижения равновесия не требуется также, чтобы предвидение было совершенным, то есть чтобы оно простиралось в бесконечное будущее и чтобы каждый правильно предвидел всё. Точнее было бы сказать, что равновесие будет сохраняться до тех пор, пока ожидания сбываются, и что они должны сбываться только по тем пунктам, которые

релевантны для решений индивидов. Но мы вернемся к вопросу о том, что такое релевантное предвидение, или релевантное знание, чуть позже.

Прежде чем двигаться далее, мне следует, вероятно, ненадолго остановиться и проиллюстрировать на конкретном примере сказанное мною о смысле состояния равновесия и о том, как оно может нарушаться. Представьте приготовления, происходящие в любой момент при строительстве домов. Кирпич, трубы и др. -- каждый строительный материал будет производиться в количестве, соответствующем определенному числу домов: на сколько его может хватить. Таким же образом мы можем представить себе, как будущие покупатели накапливают сбережения, позволяющие им в определенный срок купить определенное количество домов. Если все эти действия являются приготовлениями к производству (и приобретению) одинакового количества домов, мы вправе сказать, что все участвующие в этих приготовлениях люди могут убедиться в осуществимости своих планов. [Другим примером, имеющим более общее значение, могло бы, конечно, служить соответствие между "инвестициями" и "сбережениями" -- то есть соответствие между пропорцией (в терминах относительных издержек), в какой предприниматели готовятся поставить к определенной дате производственные и потребительские блага, и пропорцией, в какой на эту дату станут распределять свои средства между производственными и потребительскими благами все потребители (ср. мои работы: "Price Expectations, Monetary Disturbances and Malinvestment" [1933], перепечатано в Profits, Interest and Investment [London, 1939], pp. 135--56, и "The Maintenance of Capital", в том же издании, pp. 88--134). Здесь может быть небезынтересно упомянуть, что, изучая ту же сферу, которая навела меня на настоящие размышления, а именно теорию кризисов, великий французский социолог Г.Тард выдвигал в качестве их основной причины "противоречие верований", или "противоречие мнений", или "противоречие надежд" (Psychologie économique [Paris, 1902], II, pp.128-29; ср. также: N.Pinkus, Das Problem des Normalen in der Nationalökonomie [Leipzig, 1906], pp. 252, 275).] Вовсе не обязательно, что так и будет на самом деле, поскольку другие обстоятельства, также являющиеся частью их планов действия, могут оказаться отличны от того, что они ожидали. Часть материалов может быть случайно уничтожена, погодные условия могут сделать строительство невозможным, какое-то изобретение может изменить требуемые пропорции различных факторов. Это то, что мы называем изменением (внешних) данных, нарушающим существовавшее равновесие. Но если различные планы были несовместимы с самого начала, тогда, что бы ни произошло, что-то планы обязательно окажутся нарушены и будут подлежать изменению; неизбежно также, что вследствие этого весь комплекс действий за рассматриваемый период не продемонстрирует тех характеристик, которые приложимы к ситуации, когда все действия каждого индивида могут считаться частью одного общего плана, составленного им вначале. [Интересный вопрос, который я не могу, однако, здесь рассматривать, касается следующего: должен ли каждый отдельный индивид быть прав, чтобы мы могли говорить о равновесии, или будет достаточно, если в результате взаимопогашения разнонаправленных ошибок количества различных товаров, выносимых на рынок, окажутся такими же, как если бы каждый индивид был прав. Мне кажется, что равновесие в строгом смысле слова потребовало бы соблюдения первого условия, но я могу представить, что иногда могло бы оказаться полезным более широкое понятие, требующее соблюдения лишь второго. Более полное обсуждение этой проблемы должно было бы учитывать огромное значение, которое иные экономисты (включая Парето) придают в связи с этим закону больших чисел. По данному вопросу в целом см.: P.N.Rosenstein-Rodan, "The Coordination of the General Theories of Money and Price", *Economica*, August, 1936.]

Когда во всем этом я подчеркиваю различие между простой взаимосовместимостью индивидуальных планов [или же, поскольку ввиду тавтологического характера Чистой Логики Выбора "индивидуальные планы" и "субъективные данные" выступают как синонимы, согласованностью субъективных данных разных индивидов] и соответствием между ними и реальными внешними фактами, или объективными данными, то, конечно, не хочу сказать, что внешние обстоятельства не могут способствовать тем или иным образом такому субъективному взаимоприспособлению. Безусловно, нет ни малейших оснований, почему субъективные данные разных людей вообще должны когда-либо соответствовать друг другу, если только они не были обусловлены опытом столкновения с одними и теми же объективными фактами. Дело, однако, в том, что чистый равновесный анализ не касается того, каким образом достигается такое соответствие. При описании существующего состояния равновесия просто предполагается, что субъективные данные совпадают с объективными фактами. Равновесные отношения не могут выводиться из одних только объективных фактов, поскольку анализ будущих действий людей может отталкиваться лишь от того, что известно им. Не может равновесный анализ начинаться и просто с заданного набора субъективных данных, коль скоро субъективные данные разных людей могут быть совместимыми или несовместимыми, заранее предопределяя, существует равновесие или нет.

Мы не слишком продвинемся здесь вперед, пока не спросим себя о причине нашего интереса к воображаемому, как признано всеми, состоянию равновесия. Что бы ни говорили время от времени экономисты, с головой ушедшие в чистую теорию, трудно, наверное, усомниться, что единственным оправданием подобного интереса является предполагаемое существование тенденции к равновесию. Только при утверждении, что такая тенденция имеет место, экономическая теория перестает быть упражнением в чистой логике и становится эмпирической наукой; и именно к экономической теории как науке эмпирической мы должны теперь обратиться.

В свете нашего анализа о смысле состояния равновесия легко сказать, что является реальным содержанием утверждения о существовании тенденции к равновесию. Вряд ли это может означать что-либо иное, кроме того, что при определенных условиях знания и намерения различных членов общества должны, как предполагается, все больше и больше приходить в согласие. Или же, выражая ту же самую мысль в менее общих и менее точных, но более конкретных выражениях, -- ожидания людей, и в частности предпринимателей, должны становиться все более и более верными. В такой форме утверждение о существовании тенденции к равновесию является безусловно эмпирическим высказыванием, то есть утверждением о том, что происходит в реальном мире, которое должно, по крайней мере в принципе, поддаваться верификации. Это делает наше несколько абстрактное заявление довольно правдоподобным выражением здравого смысла. Единственная беда заключается в том, что мы все еще находимся в достаточно глубоком неведении относительно: а) условий, при которых предполагается существование такой тенденции, и б) характера процесса, благодаря которому происходит изменение индивидуальных знаний.

В стандартных изложениях равновесного анализа, как правило, создается видимость, что вопросы о том, как достигается равновесие, решены. Однако, присмотревшись внимательнее, сразу же становится очевидно, что эти мнимые доказательства сводятся просто-напросто к ясной формулировке тех предпосылок, что были изначально приняты.

[В последнее время это, видимо, часто признают, хотя скорее в неявной, чем в осознанной форме, когда подчеркивают, что равновесный анализ лишь описывает условия равновесия, не пытаясь вывести положение равновесия из имеющихся данных. Равновесный анализ в этом смысле был бы, конечно, чистой логикой и не содержал бы высказываний, касающихся реального мира.] Используемый обычно для этого прием состоит в допущении существования совершенного рынка, где любое событие одновременно становится известным всем участникам. Тут надо помнить, что совершенный рынок, требуемый для выполнения предпосылок равновесного анализа, нельзя сводить к отдельным рынкам каких бы то ни было конкретных товаров; вся экономическая система должна приниматься как один совершенный рынок, на котором все знают всё. В таком случае допущение существования совершенного рынка означает не что иное, как то, что все члены общества, даже если и не предполагать их всеведущими, по крайней мере должны автоматически узнавать все, что релевантно для их решений. Похоже, скелет в нашем шкафу -- "экономический человек", которого мы изгоняли постом и молитвой, -- вернулся через черный ход в виде квазивсеведущего индивида.

Утверждение, что если людям известно всё, то они находятся в состоянии равновесия, истинно просто потому, что мы так определяем равновесие. Допущение совершенного рынка в этом случае есть лишь иной способ говорить, что равновесие существует, но оно не приближает нас к объяснению, когда и как такое состояние возникнет. Очевидно, если мы хотим заявить, что при определенных условиях люди будут приближаться к этому состоянию, то должны объяснить, каким образом они обретут необходимое знание. Конечно, любое предположение о реальном приобретении знаний в ходе такого процесса также будет носить гипотетический характер. Но это не означает, что все такие предположения равно оправданны. Нам приходится иметь тут дело с предположениями о причинных связях, и потому такие предположения должны рассматриваться не только как возможные (что, конечно, излишне, если мы просто считаем людей всеведущими), но и как, с известной долей вероятности, истинные. Должна быть возможность, по крайней мере в принципе, продемонстрировать их истинность в конкретных случаях.

Важно здесь то, что именно эти явно вспомогательные гипотезы или предположения о том, что люди в самом деле учатся на своем опыте, и о том, как они приобретают знания, составляют эмпирическое содержание наших высказываний по поводу происходящего в реальном мире. Обычно они предстают замаскированными и неполными -- в форме описания того типа рынка, к которому относятся наши высказывания. Однако это только один, хотя, по-видимому, и самый важный, аспект более общего вопроса о том, как знание приобретается и передается. Существенный момент, который, как мне кажется, часто не осознают экономисты, заключается в том, что подобные гипотезы имеют во многом иную природу, чем те более общие допущения, с которых начинается Чистая Логика Выбора. Мне представляется, что основных отличий два.

Во-первых, допущения, с которых начинается Чистая Логика Выбора, есть факты, являющиеся, насколько нам известно, общими для всякого человеческого мышления. Их можно считать аксиомами, определяющими и устанавливающими границы сферы, внутри которой мы способны понимать, или реконструировать в своем уме, процессы мышления других людей. Следовательно, они обладают универсальной применимостью в той сфере, которая нас интересует, -- хотя, конечно, вопрос о границах этой сферы *in concreto* <конкретно (лат.)> является эмпирическим. Они скорее относятся к типу человеческой деятельности (той, что мы обыкновенно называем "рациональной" или даже просто "сознательной" в отличие от "инстинктивной"), нежели к конкретным условиям, при которых она совершается. Однако предположения, или гипотезы, которые мы должны вводить, когда хотим объяснить социальные процессы, касаются отношения мышления

индивида к внешнему миру. Они связаны с вопросом, в какой мере и каким образом его знания достигают соответствия с внешними фактами. И такие гипотезы обязательно должны принимать форму утверждений о причинных связях, о том, как опыт создает знание.

Во-вторых, в сфере Чистой Логике Выбора наш анализ можно сделать исчерпывающим, иными словами, здесь мы можем разработать формальный аппарат, покрывающий все мыслимые ситуации. В отличие от этого вспомогательные гипотезы по необходимости должны носить избирательный характер, то есть нам нужно отбирать из бесчисленного разнообразия возможных ситуаций такие идеальные типы, которые по той или иной причине мы считаем особенно релевантными для условий реального мира. [Проведенное здесь разграничение может помочь в преодолении давних разногласий между экономистами и социологами по поводу роли, которую "идеальные типы" играют в аргументации экономической теории. Социологи часто подчеркивали, что обычные процедуры экономической теории включают допущение об определенных идеальных типах, тогда как экономисты-теоретики указывали, что их аргументация носит настолько универсальный характер, что им не требуется прибегать к каким-либо "идеальным типам". Истина, по-видимому, состоит в том, что в сфере Чистой Логике Выбора, которая в основном интересует экономиста, он в своих утверждениях был прав. Но как только у него возникало желание применить их для объяснения социального процесса, он вынужден был обращаться к тому или иному "идеальному типу".] Конечно, мы могли бы также создать отдельную науку, предмет которой был бы *per definitionem* <по определению (лат.)> ограничен "совершенным рынком" или каким-либо иным объектом, заданным сходным образом, и которая точно так же, как и Логика Выбора, относилась бы только к людям, распределяющим ограниченные средства среди множества целей. Для сферы, определенной подобным образом, наши высказывания опять-таки были бы верны априори, однако в этом случае у нас не было бы оправдания, состоящего в предположении, что ситуация в реальном мире подобна вымышленной нами.

8

Пора обратиться теперь к вопросу, каковы же конкретные гипотезы, касающиеся условий, при которых люди предположительно приобретают релевантные знания, а также процесса, в ходе которого это происходит. Если бы было совершенно ясно, какие гипотезы для этого обычно используются, нам следовало бы тщательно рассмотреть их под двумя углами зрения. Надо было бы выяснить, являются ли они необходимыми и достаточными для объяснения движения к равновесию, и установить, в какой мере они подтверждаются реальностью. Боюсь, однако, что теперь я подхожу к той черте, когда становится очень сложно говорить, каковы же в точности те допущения, на основе которых мы утверждаем, что тенденция к равновесию будет иметь место, и заявляем, что наш анализ приложим к реальному миру. [Старые экономисты зачастую яснее выражались по этому поводу, чем их последователи. См., например, у Адама Смита (*Wealth of Nations*, ed. Cannan, I, 116): "Однако для соблюдения такого равенства в общей сумме выгод и невыгод [заработной платы] необходимы даже при наличности наиболее полной свободы три следующих условия: во-первых, данная отрасль торговли или промышленности должна быть хорошо всем известна и давно утвердиться в данной местности..." (Рус. пер.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., "Соцэкгиз", 1962, с. 99); или у Давида Рикардо (*Letters to Malthus*, October 22, 1811, p. 18): "Сказать, что люди не знают самого лучшего и самого дешевого способа вести дела и платить свои долги, не было бы ответом мне, потому что это вопрос факта, а не науки; такое же возражение могло быть выдвинуто почти против любого положения политической экономии". (Рус. пер.: Рикардо Д. Сочинения, М., "Соцэкгиз", 1961, Т.V, с.

23).] Я не могу претендовать на то, что уже далеко продвинулся в этом отношении. Соответственно все, что я могу, это поставить ряд вопросов, на которые нам предстоит найти ответы, если мы хотим получить ясное представление о значении нашей аргументации.

Единственное условие, с необходимостью которого для установления равновесия экономисты, видимо, более или менее согласны, -- это "постоянство данных". Однако после того, как мы убедились в расплывчатости понятия "datum" ("данное"), можно справедливо заподозрить, что это не слишком-то продвигает нас вперед. Даже если допустить -- как, вероятно, нам и следует поступить, -- что это понятие употреблено здесь в его объективном смысле (что включает, напомним, предпочтения различных индивидов), никоим образом не становится ясно: то ли "постоянство данных" необходимо и достаточно для приобретения людьми требуемых знаний, то ли оно выступает просто как констатация условий, при которых им предстоит это делать. Во всяком случае знаменательно, что некоторые авторы находят нужным добавлять предпосылку "совершенного знания" как дополнительное и отдельное условие [см.: N.Kaldor, "A Classificatory Note on the Determination of Equilibrium", *Review of Economic Studies*, I, No. 2 (1934), p. 123]. На самом деле, как мы увидим, постоянство объективных данных не является ни необходимым, ни достаточным. Во-первых, из того факта, что никому не пришло бы в голову интерпретировать его в том абсолютном смысле, что в мире никогда ничего не должно происходить, следует, что оно не может быть необходимым условием. Во-вторых, как мы убедились, стоит нам включить сюда периодически повторяющиеся изменения или даже изменения, идущие в постоянном темпе, как единственным способом определить постоянство данных становится отсылка к ожиданиям. Тогда все это условие сводится к тому, что в мире должна быть какая-то видимая регулярность, позволяющая правильно предсказывать события. И поскольку существования подобной регулярности явно недостаточно для доказательства того, что люди научатся правильно предвидеть события, столь же недостаточным для этого оказывается и постоянство данных в абсолютном смысле. Для любого отдельного индивида постоянство данных никоим образом не означает постоянства всех фактов, помимо относящихся к нему самому, потому что в таком смысле можно, конечно, допустить постоянство лишь вкусов других людей, но не их действий. Поскольку все эти другие люди будут менять свои решения, приобретая на опыте знания о внешних фактах и о действиях всех остальных, нет причин, почему такие цепочки последовательных изменений должны когда-либо завершиться. Названные трудности хорошо известны [*Ibid.*, *passim.*], и я привел их здесь только затем, чтобы напомнить вам, как мало мы на самом деле знаем об условиях, при которых было бы когда-нибудь достигнуто равновесие. Но я не намерен дальше следовать в этом направлении, хотя с эмпирическим вопросом, насколько вероятно, что люди будут обучаться (то есть что их субъективные данные будут все больше соответствовать как друг другу, так и объективным фактам), связано немало нерешенных и крайне интересных задач. Причина скорее в том, что существует другой, более плодотворный, как мне кажется, подход к проблеме, являющейся центральной.

9

Рассмотренные только что вопросы -- об условиях, делающих вероятным приобретение людьми необходимых знаний, и о процессе, с помощью которого эти знания приобретаются, -- привлекли хоть какое-то внимание в ходе прошлых дискуссий. Но есть еще один вопрос, представляющийся мне не менее важным, но который, похоже, был вовсе обойден вниманием: знаниями в каком объеме и какого рода должны обладать разные индивиды, чтобы мы были вправе говорить о равновесии? Ясно, что, если понятие равновесия должно иметь какое-то эмпирическое значение, оно не может предполагать,

что все знают всё. Мне уже пришлось применять, не определив его, выражение "релевантное знание", то есть знание, релевантное для некоего отдельного человека. Но что представляет собой это релевантное знание? Вряд ли это может быть просто знание, которое реально повлияло на действия человека, поскольку его решения могли бы оказаться иными не только, скажем, если бы он обладал правильным, а не искаженным знанием, но и если бы он обладал знанием из совершенно иных сфер.

Здесь с очевидностью возникает проблема разделения знания [ср.: L. v. Mises, *Gemeinwirtschaft* (2d ed.; Jena, 1932, p.96): "В обществах, основанных на разделении труда среди множества индивидов, распределение прав собственности на производимые товары создает своего рода духовное разделение труда, без которого ни производственный расчет, ни ведение хозяйства были бы невозможны". (Ср.: Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. М., "Catallaxy", 1994, с.80)], которая вполне аналогична проблеме разделения труда или, по меньшей мере, так же важна. Однако тогда как последняя была одним из главных предметов изучения с самого начала существования нашей науки, на первую совершенно не обращали внимания, хотя она представляется мне поистине центральной проблемой экономической теории как общественной науки. Проблема, подлежащая решению, такова: каким образом спонтанное взаимодействие множества людей, где каждый обладает только небольшой крупицей знаний, порождает такое положение дел, при котором цены соответствуют издержкам и т.д. и которое могло бы быть создано лишь под сознательным руководством некоего существа, обладающего совокупным знанием всех этих индивидов. Опыт подсказывает нам, что нечто в этом роде и вправду происходит, поскольку эмпирическое наблюдение, что цены действительно имеют тенденцию соответствовать издержкам, стало началом нашей науки. Однако в нашем анализе вместо того, чтобы показать, какими частицами информации должны обладать разные люди для достижения подобного результата, мы, в сущности, прибегаем к допущению, что все знают всё, и таким образом уклоняемся от какого-либо реального решения проблемы.

И все же прежде чем перейти к рассмотрению разделения знания между различными людьми, необходимо уточнить, какого рода знание является здесь релевантным. Среди экономистов вошло в привычку подчеркивать потребность только в знании цен -- очевидно, потому, что из-за смешения объективных и субъективных данных полное знание объективных фактов считалось само собой разумеющимся. В последнее время даже знание текущих цен стало считаться настолько не требующим подтверждений, что вопрос о знании рассматривается как проблематичный только в одном отношении -- когда речь идет о предвидении будущих цен. Но, как я уже говорил в начале этой работы, ценовые ожидания составляют лишь малую часть проблемы знания, как я ее вижу. Меня занимает более важный ее аспект: о соответствии между знанием исходных фактов -- того, как могут приобретаться и использоваться различные товары [Знание в данном смысле -- это нечто большее, чем то, что обычно описывается как умения, и разделение знания, о котором мы здесь ведем речь, -- это нечто большее, чем то, что понимают под разделением труда. Говоря короче, "умение" относится только к знанию, которое человек использует в своей профессии, тогда как то дополнительное знание, о котором нам надлежит иметь какое-то представление, чтобы мы были способны высказать нечто о процессах в обществе, -- это то знание альтернативных возможностей действия, которое человек непосредственно не пускает в дело. Можно добавить, что знание в том смысле, в каком это понятие употребляется здесь, идентично предвидению лишь постольку, поскольку всякое знание представляет собой способность делать предсказания.], и действительными условиями, при которых они приобретаются и используются, то есть общий вопрос, почему субъективные данные различных людей согласуются с объективными фактами. Интересующая нас здесь проблема знания -- это именно

проблема существования такого соответствия, наличие которого просто предполагается в большей части современного равновесного анализа. Однако мы должны объяснить его, если хотим показать, почему высказывания, являющиеся необходимо истинными в отношении использования отдельным человеком вещей, обладающих, по его мнению, определенными свойствами, должны оказываться истинными и в отношении действий общества с вещами, которые либо обладают такими свойствами, либо -- по какой-то требующей объяснения причине -- обычно наделяются ими в сознании его членов. [То, что все высказывания экономической теории относятся к вещам, определяемым в терминах отношений к ним людей, то есть что "сахар", который экономисты могут иногда упоминать, определяется не его "объективными" качествами, а тем, что, как полагают люди, он будет тем или иным образом служить их конкретным потребностям, является источником всевозможных трудностей и недоразумений, особенно в связи с проблемой "верификации". Безусловно также, что именно в связи с ней контраст между *verstehende* -- понимающим подходом (нем.) -- общественных наук и подходом бихевиористов становится столь ярким. Я не уверен, что бихевиористы в социальных дисциплинах сознают, сколь многое из традиционного подхода им пришлось бы отбросить, если бы они захотели быть последовательными, или что они несмотря ни на что пошли бы на это, если бы знали о последствиях. Например, это подразумевало бы, что утверждения теории денег должны относиться исключительно к, скажем, "круглым металлическим кружкам с неким оттиском на них" или к другим физическим объектам либо группам объектов, определенным подобным же образом.]

Вернемся, однако, к только что поднятой специальной проблеме -- об объеме знания, которым должны обладать разные индивиды, чтобы равновесие могло установиться (иначе говоря, о "релевантном" знании, которое им необходимо иметь). Мы приблизимся к ответу, если вспомним, каким образом может выявиться, что равновесия не существовало или что оно было нарушено. Мы видели, что равновесные связи будут нарушены, если любой человек изменит свои планы -- то ли потому, что изменились его вкусы (что нас здесь не интересует), то ли потому, что ему стали известны новые факты. Очевидно, однако, что есть два различных способа, с помощью которых он может узнавать о новых фактах, заставляющих его менять свои планы, и которые имеют совершенно разное значение для наших последующих рассуждений. Он может узнать о новых фактах случайно, то есть таким путем, который не является необходимым следствием его попыток осуществить первоначально намеченный им план. Или же эти попытки сами могут с неизбежностью вести к обнаружению расхождений фактов с ожиданиями. Ясно, что для движения вперед согласно плану требуется правильность его знаний лишь по тем пунктам, где они с необходимостью будут подтверждаться или корректироваться самим ходом выполнения плана. Но у человека может и не быть знания о вещах, которое, обладая он им, наверняка повлияло бы на его план.

Отсюда нам следует заключить, что релевантное знание, которым должен обладать индивид с тем, чтобы могло установиться равновесие, -- это то знание, приобретение которого диктуется его исходным положением и составленным им в этом положении планом. Это, конечно, не все знание, каковое, будь оно получено случайно, оказалось бы ему полезным и заставило бы его внести изменения в намеченный план. Следовательно, мы вполне можем иметь состояние равновесия просто потому, что у некоторых людей нет возможности узнать о фактах, которые, зная они их, побудили бы их пересмотреть свои планы. Или, другими словами, достижение равновесия возможно лишь по отношению к тому знанию, которое человеку уготовано приобрести в ходе попыток осуществления своего первоначального плана.

Хотя такое состояние в каком-то смысле является равновесным, ясно, что это не равновесие в том особом смысле, когда оно рассматривается как состояние оптимальности. Для того чтобы результаты комбинирования индивидуальных частиц знания оказались сравнимы с результатами управления всеведущим диктатором, нужно, по-видимому, ввести дополнительные условия. [Эти условия обычно обозначаются как отсутствие "трений". В опубликованной недавно статье ("Quantity of Capital and the Rate of Interest", Journal of Political Economy, XLIV, No. 5 [1936], p.638) Фрэнк Х. Найт правильно указывает, что: "ошибка" -- это обычное обозначение трения в экономических дискуссиях."] Хотя, наверное, и возможно определить объем знания, которым должен обладать индивид для достижения нужного ему результата, мне неизвестно ни одной настоящей попытки продвинуться в этом направлении. Одно из условий состояло бы, вероятно, в том, чтобы каждый из альтернативных вариантов применения любого вида ресурсов был известен обладателю некоторой части этих ресурсов, реально использовавшему их для какой-то иной цели, благодаря чему все различные варианты их применения оказывались бы связаны прямо или косвенно. [Это было бы одним, но, вероятно, еще недостаточным условием для обеспечения того, чтобы при данном состоянии спроса предельная производительность различных факторов производства в различных вариантах их употребления уравнивалась бы, так что с этой точки зрения было бы достигнуто равновесие производства. Не является необходимым, как можно было бы подумать, чтобы всякое возможное альтернативное применение любого вида ресурсов было известно хотя бы кому-то одному из каждой группы владельцев, использующих данные ресурсы для одной и той же конкретной цели. Это обусловлено тем, что если владельцам, использующим каким-то определенным способом свои ресурсы, известны и иные варианты их употребления, то знание подобных альтернатив будет находить отражение в ценах на эти ресурсы. В этом отношении для распространения знаний об альтернативных вариантах применения m , n , o ... u , x некоего товара будет достаточно, если A , который использует имеющееся у него количество этих ресурсов для m , знает об n ; B , который использует свои для n , знает об m ; тогда как C , использующий свои для o , знает об n , и т.д., пока мы не дойдем до L , который использует свои для z , но знает только об u . Мне неясно, в какой мере дополнительно к этому требуется определенное распределение знаний о том, в каких пропорциях могут комбинироваться различные факторы в производстве каждого товара. Для полного равновесия потребуются дополнительные допущения об имеющихся у потребителей знаниях относительно пригодности соответствующих товаров для удовлетворения их потребностей.] Однако я упоминаю данное условие только как пример того, что в большинстве случаев будет достаточно, чтобы в каждой сфере имелась бы небольшая группа людей, сообща обладающих всем релевантным знанием. Дальнейшая разработка этого вопроса была бы очень интересной и крайне важной, но она выходит далеко за рамки настоящей работы.

Несмотря на то что все мои высказывания по данному предмету носили преимущественно критический характер, мне не хочется показаться впавшим в уныние в отношении уже достигнутого. Даже если в ходе аргументации мы проскочили какое-то важное звено, я все же считаю, что экономическая теория благодаря тому, что неявно содержится в ее положениях, подошла ближе любой другой социальной дисциплины к ответу на центральный вопрос всех общественных наук: как может соединение фрагментов знания, существующего в разных головах, приводить к результатам, которые при сознательном стремлении к ним потребовали бы от управляющего разума таких знаний, которыми не может обладать никакой отдельный человек? Мне кажется, если показать, как в подобной ситуации спонтанные действия индивидов (при наличии условий, которые мы способны определить) приведут к такому распределению ресурсов, как если бы оно было достигнуто по некоему единому плану, хотя никто его и не планировал, то это действительно будет ответом на проблему, которая иногда метафорически обозначалась

как проблема "общественного разума". Нас, однако, не должно удивлять, что подобные претензии обычно отвергались, поскольку мы не подводили под них правильную основу.

В связи с этим мне хотелось бы упомянуть еще только один момент. Дело в том, что если тенденция к равновесию (существование которой у нас есть основания допускать исходя из эмпирических соображений) нацелена только на равновесие по отношению к тем знаниям, которые уготовано обрести людям по ходу своей экономической деятельности, а любое другое изменение знаний нужно считать изменением в "данных" (в стандартном их понимании) и выводить за рамки равновесного анализа, то это будет означать, что равновесный анализ фактически ничего не в состоянии поведать нам о значении таких изменений в знаниях. Намного понятнее становится и то, почему чистому анализу, похоже, практически нечего сказать о таких институтах, как пресса, цель которых -- передача знаний. Это могло бы даже объяснить, почему поглощенность чистым анализом так часто создает своеобразную слепоту по отношению к той роли, которую в реальной жизни играют институты вроде рекламы.

10

Такими, довольно отрывочными, соображениями о заслуживающих гораздо более серьезного исследования предметах я должен завершить свой обзор. Мне хотелось бы добавить только одно-два замечания.

Первое состоит в том, что, обращая особое внимание на характер эмпирических высказываний, которыми мы должны пользоваться, дабы формальный аппарат равновесного анализа служил объяснению реального мира, и подчеркивая, что относящиеся сюда утверждения о путях приобретения людьми знания фундаментально отличаются по своей природе от утверждений формального анализа, я не имею в виду, что здесь и сейчас открывается широкое поле для эмпирических исследований. Я очень сомневаюсь, что такое исследование могло бы научить нас чему-то новому. Важный момент состоит скорее в том, что нам надо осознать, от чего действительно зависит применимость нашей аргументации к реальному миру, или, другими словами, на каком этапе применения нашей аргументации к явлениям реального мира она начинает подлежать верификации.

Второе заключается в том, что я, безусловно, не имею в виду, что рассмотренные мной проблемы были чужды экономистам прежних поколений. Единственный упрек, который можно им предъявить, это то, что они настолько смешали два типа высказываний -- априорные и эмпирические, которыми постоянно приходится пользоваться любому реалистически мыслящему экономисту, -- что зачастую совершенно невозможно понять, какой тип обоснования прилагался ими к тому или иному утверждению. Более поздние работы свободны от этого недостатка, но лишь ценой все возрастающей неясности, какое же отношение имеют их доводы к явлениям реального мира. Все, что я пытался сделать, -- это найти дорогу назад, к обретению нашим анализом здравого смысла, который, я боюсь, мы вполне можем упустить из вида по мере того, как анализ будет становиться все более изощренным. Вам даже может показаться общим местом все, что я сказал. Однако иногда, по-видимому, необходимо отойти от технических деталей аргументации и вполне наивно спросить, о чем, собственно, идет речь. Я достиг своей цели, если сумел показать не только то, что в некоторых отношениях ответ на этот вопрос не очевиден, но и то, что подчас мы даже не понимаем, в чем, собственно, заключается сам вопрос.

ГЛАВА III. ФАКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Прочитано в Клубе моральных наук Кембриджского университета 19 ноября 1942 г. Перепечатано из: *Ethics* LIV, No. 1 (October, 1943), pp. 1-13. Некоторые из вопросов, поднятых в данном очерке, рассматриваются более подробно в моей работе «Сциентизм и изучение общества», появившейся в трех выпусках журнала «*Economica*», 1942–1945.

1

В наши дни не существует общепринятого термина для обозначения группы дисциплин, которые будут интересовать нас в данной работе. Выражение "моральные науки" в том смысле, в каком его употреблял Джон Стюарт Милль, приблизительно покрывает эту область, но оно давно вышло из моды и для большинства читателей оказалось бы сегодня связано с уводящими в сторону ассоциациями. Хотя именно по этой причине приходится использовать в заголовке привычное сочетание "общественные науки", я должен сразу же подчеркнуть, что далеко не во всех дисциплинах, изучающих явления общественной жизни, возникают те конкретные проблемы, которые мы собираемся обсудить. К примеру, статистика естественного движения населения или изучение распространения инфекционных заболеваний, безусловно, имеют дело с социальными явлениями, но не поднимают специфических вопросов, которые нам здесь предстоит рассмотреть. Они, если можно так выразиться, есть самые настоящие естественные науки об обществе и не имеют серьезных отличий от других естественных наук. Однако иначе обстоит дело с изучением языка, рынка, права и большинства других человеческих институтов. Я намерен обратиться именно к этой группе дисциплин, для обозначения которой вынужден прибегнуть к несколько обманчивому термину "общественные науки".

Поскольку я буду утверждать, что роль опыта в этих областях знания фундаментально отличается от той, какую он играет в естественных науках, мне, вероятно, надо бы пояснить, что сам я вначале подходил к своему предмету, полностью уверенный в универсальной пригодности (*validity*) методов естественных наук. Дело не только в том, что мое первое специальное образование было в значительной мере научным в узком смысле этого слова, но еще и в том, что даже та не слишком глубокая подготовка в области философии и методологии науки, которую я получил, была полностью в духе школы Эрнста Маха и, позднее, логического позитивизма. И все это только порождало сознание, становившееся со временем все более и более отчетливым, что в экономической теории уж точно все люди, являющиеся, по общему мнению, воплощением здравого смысла, на каждом шагу нарушают принятые каноны научного метода, выросшего из практики естественных наук, и что даже ученые-естествоиспытатели, начиная обсуждать общественные явления, делают то же самое -- по крайней мере, пока они сохраняют сколько-то здравого смысла. Однако в тех нередких случаях, когда ученый-естествоиспытатель всерьез пытается применить свои профессиональные навыки мышления к социальным проблемам, результат почти неизменно оказывается ужасающим -- то есть таким, который всем профессиональным исследователям в этих областях представляется полной бессмыслицей. Но, хотя и нетрудно показать абсурдность большинства предпринимавшихся попыток сделать общественные науки "научными", не так легко предложить убедительную защиту своих собственных методов, которые, хоть и удовлетворяют большинство людей при применении их в конкретных случаях, для критического взгляда подозрительно смахивают на пресловутую "средневековую схоластику".

Впрочем, довольно вступлений. Позвольте мне теперь прямо взяться за дело и спросить, с какого рода фактами нам приходится сталкиваться в общественных науках. Этот вопрос немедленно вызывает следующий, во многих отношениях критический для обсуждаемой проблемы: что мы имеем в виду, когда говорим об "определенном роде фактов"? Даны ли они нам как факты определенного рода, или же мы делаем их таковыми, смотря на них определенным образом? Безусловно, все наше знание внешнего мира выводится в известной мере из чувственного восприятия и, следовательно, из нашего знания физических фактов. Но значит ли это, что все наше знание сводится только к физическим фактам? Ответ зависит от того, что мы подразумеваем под выражением "определенный род фактов".

Аналогия из естественных наук прояснит это положение. Все рычаги или маятники, какие мы можем себе представить, имеют химические и оптические свойства. Однако, ведя речь о рычагах или маятниках, мы говорим не о химических или оптических фактах. То, что делает отдельные предметы фактами какого-то рода, -- это характерные признаки, которые мы выбираем, чтобы трактовать их как представителей какого-то одного класса. Это, конечно, банальность. Но это значит, что, хотя все общественные явления, с которыми мы, по-видимому, можем иметь дело, обладают физическими свойствами, они не обязательно должны выступать как физические факты для наших целей. Все зависит от того, как нам будет удобнее их классифицировать при рассмотрении наших проблем. Являются ли человеческие действия, которые мы наблюдаем, и объекты этих действий предметами одного и того же или разного рода по той причине, что они кажутся нам, наблюдающим, физически одинаковыми или разными, -- или же причина в чем-то другом?

Ныне все без исключения общественные науки изучают то, как ведут себя люди по отношению к окружающей их среде -- другим людям и вещам. Я бы даже сказал, что эти последние есть элементы, из которых общественные науки строят модели отношений между множеством людей. Как мы должны определить или классифицировать объекты их деятельности, если хотим понять или объяснить их действия? Что мы должны класть в основу классификации объектов, когда пытаемся объяснить, что люди с ними делают, -- физические свойства этих объектов, которые мы можем установить путем их изучения, или же нечто иное? Давайте рассмотрим несколько примеров.

Возьмите такие понятия, как инструменты, продукты питания, лекарства, оружие, слова, предложения, средства общения или акты производства "или любой конкретный пример из этого ряда. Я считаю их достаточно хорошей выборкой объектов человеческой деятельности того рода, что постоянно встречаются в общественных науках. Нетрудно убедиться, что все эти понятия (что верно и для более конкретных случаев) отсылают нас не к каким-то объективным свойствам, которыми обладают вещи или которые наблюдатель может в них обнаружить, но к мнениям по поводу этих вещей, которых придерживаются какие-то другие люди. Такие объекты вообще невозможно определить в физических терминах, потому что здесь нет никакого единого физического свойства, которое должно было бы быть у каждого представителя того или иного класса. Эти понятия есть не просто абстракции вроде тех, что мы используем в любой естественной науке; они абстрагированы от всех физических свойств вещей как таковых. Все они -- примеры того, что иногда называют "телеологическими понятиями", то есть им можно дать определение, только показав связь между тремя элементами: целью; тем, кто эту цель имеет; предметом, который считается этим лицом подходящим средством для достижения поставленной цели. При желании можно было бы сказать, что все эти три объекта

определяются не в терминах их "реальных" свойств, а в терминах мнений, которые имеют о них люди. Короче говоря, в общественных науках вещи -- это то, чем считают их люди. Деньги -- это деньги, слово -- это слово, косметическое средство -- это косметическое средство постольку, поскольку кто-то так думает.

Неочевидность этого обусловлена той исторической случайностью, что в мире, где мы живем, знание большинства людей приблизительно совпадает с нашим. Данное обстоятельство проступает с гораздо большей отчетливостью, стоит нам подумать о людях, чье знание отлично от нашего, например о тех, кто верит в магию. Понятно, что дать определение амулету, который, как считается, защищает своего обладателя, или обряду, призванному обеспечить хороший урожай, можно только в терминах человеческих представлений о них. Но логическая природа понятий, которые мы должны использовать при попытках объяснить действия людей, остается той же самой независимо от того, совпадают наши и их представления или нет. Является ли лекарство лекарством -- ответ, если наша задача понять действия какого-то человека, будет зависеть только от того, верит ли в это он, независимо от того, согласны ли с ним мы, наблюдатели. Иногда довольно трудно удерживать в уме это различие. Мы склонны думать, например, о связи между родителями и ребенком как об "объективном" факте. Однако когда мы используем это понятие в исследовании семейной жизни, к делу относится не то, что х биологически является отпрыском у, а то, что один из них или оба в это верят. Точно так же обстоит дело в том случае, когда х и у верят в существование между ними некой духовной связи, в которую не верим мы. Вероятно, соответствующее различие становится особенно ясным из общего и очевидного утверждения, что никакое высшее знание, которым может обладать об объекте наблюдатель, но которым не обладает действующее лицо, не поможет нам понять мотивы действий этого лица.

В таком случае с точки зрения задач общественных наук принадлежность объектов человеческой деятельности к одному и тому же или к разным типам, к одному и тому же или к разным классам определяется не тем, что мы, наблюдатели, знаем об этих объектах, но тем, что, по нашему предположению, знает о них наблюдаемый человек. Мы так или иначе приписываем знание наблюдаемому человеку, и происходит это по причинам, которые я сейчас изложу. Прежде чем я спрошу, на чем основано такое приписывание знаний об объекте действующему лицу, что это значит и каковы последствия того, что мы определяем объекты человеческой деятельности подобным способом, мне следует ненадолго обратиться к элементам второго рода, с которыми нам приходится иметь дело в общественных науках: не к среде, по отношению к которой люди отстраивают свое поведение, а к самим их действиям. Рассматривая классификацию различных видов действий, к которой мы должны прибегать при обсуждении поддающегося осмыслению человеческого поведения, мы сталкиваемся точно с такой же ситуацией, что и при анализе классификации объектов этих действий. Из приведенных выше примеров четыре последних попадают в данную категорию: слова, предложения, средства общения и акты производства суть примеры таких человеческих действий. Так что же делает действиями одного и того же рода два одинаковых слова или два одинаковых производственных акта -- то есть что оказывается для нас значимым при обсуждении поддающегося осмыслению поведения? Безусловно, это не какие-то общие для них физические свойства. И вовсе не потому, что мне точно известно, какими общими физическими свойствами обладает звучание слова "сикомор", произносимого разными людьми в разное время, а потому, что я знаю, что х и у хотят, чтобы все эти разные звуки или знаки обозначали одно и то же слово, или что они понимают их все как одно и то же слово, я воспринимаю их как примеры из одного класса. Я считаю разные способы, с помощью которых в различных обстоятельствах действующий человек может изготовить, скажем, веретено, примером

одного и того же производственного акта не из-за какого-то объективного и физического подобия, а из-за намерений этого человека (вмененных ему мною).

Отметьте, пожалуйста, что ни в отношении объектов человеческой деятельности, ни в отношении различных видов ее самой я вовсе не утверждаю, что их физические свойства не участвуют в процессе классификации. Я доказываю, что никакие физические свойства не могут присутствовать в явном определении какого бы то ни было из этих классов, поскольку элементам таких классов не требуется обладать общими физическими атрибутами, и мы даже не знаем точно и осознанно, каковы эти многообразные физические качества, хотя бы одним из которых должен обладать объект, чтобы принадлежать к некоему классу. Схематично ситуацию можно изобразить, сказав, что мы знаем, что объекты a, b, c..., которые могут полностью отличаться физически и которые нам никогда не удастся перечислить все целиком, являются объектами одного и того же рода, поскольку X относится к ним одинаковым образом. Но то, что отношение X к ним одинаково, опять-таки можно определить, только сказав, что он станет реагировать на них одним из действий a, b, g..., которые могут быть физически несхожи и которые мы снова окажемся неспособны перечислить все целиком, но о которых нам точно известно, что они "означают" одно и то же.

Результат размышлений о том, что же мы фактически делаем, несомненно, как-то обескураживает. И все же невозможно, мне кажется, усомниться не только в том, что мы поступаем именно так и в обыденной жизни и в общественных науках, когда ведем речь о поддающихся осмыслению действиях других людей, но и в том, что это единственный способ, каким вообще можно "понимать", что делают другие люди. Следовательно, мы должны исходить из рассуждений подобного рода всегда, когда обсуждаем то, что всем нам известно как специфически человеческая, или поддающаяся осмыслению, деятельность. Все мы знаем, что имеем в виду, говоря, что видим человека "играющего" или "работающего", человека, делающего то или это "намеренно", или же говоря, что лицо кажется "дружелюбным" или мужчина "напуганным". Однако, хотя мы и могли бы объяснить, как узнаем каждую из этих вещей в том или ином конкретном случае, я уверен, никто из нас не способен перечислить, да и никакая наука не в состоянии назвать -- во всяком случае, пока -- все различные физические признаки, по которым мы узнаем о присутствии таких вещей. Общие атрибуты, которыми обладают элементы любого из этих классов, не есть атрибуты физические, но должны быть чем-то иным.

Очень важные следствия вытекают из того, что всякий раз, когда мы интерпретируем человеческие действия как в той или иной мере осмысленные и целенаправленные, будь то в обыденной жизни или в общественных науках, нам приходится определять и объекты человеческой деятельности, и различные виды самих действий не в физических терминах, а в терминах мнений или намерений действующих лиц; так, именно благодаря этому мы можем из понятий об объектах выводить какие-то аналитические заключения о том, каковы будут действия. Если мы определяем объект в терминах отношения к нему человека, то отсюда, конечно же, следует, что наше определение объекта подразумевает некое утверждение о том, каково отношение этого человека к этой вещи. Когда мы говорим, что у человека есть пища или деньги или что он произносит слово, мы подразумеваем, что он знает, что первую можно есть, второе можно использовать для покупки чего-либо и что третье можно понять -- и, вероятно, еще многое другое. Является ли этот подтекст в каком-либо отношении существенным, то есть добавляет ли выведение его наружу что-либо к нашим знаниям? Ответ, когда, к примеру, мы говорим человеку, что то или это есть пища или деньги, будет зависеть от того, излагаем ли мы просто наблюдаемые факты, из которых извлекаем наше знание, или подразумеваем нечто большее.

Как мы вообще можем знать, что человек имеет определенные представления об окружающей его среде? Что мы имеем в виду, когда говорим, что знаем, что у него есть определенные представления, -- когда говорим, что знаем, что он пользуется этой вещью как инструментом или жестом либо звуком как средством общения? Имеем ли мы в виду только то, что реально наблюдаем в конкретном случае, например, что видим его жующим и глотающим пищу, размахивающим молотком или создающим шум? Или же, когда мы говорим, что "понимаем" действия человека, когда говорим, "почему" он делает то или это, разве мы не приписываем ему всегда что-то сверх того, что наблюдаем, -- по крайней мере, сверх того, что можем видеть в конкретном случае?

Если мы обратимся на минуту к простейшим видам действий, где возникает подобный вопрос, то, конечно же, быстро станет ясно, что, обсуждая то, что мы считаем осознанными действиями других людей, мы неизменно интерпретируем это исходя из аналогии с нашим собственным умом; то есть мы группируем их действия и объекты их действий по классам и категориям, которые известны нам исключительно из знания нашего собственного ума. Мы предполагаем, что имеющиеся у них понятия цели или инструмента, оружия или пищи совпадают с нашими, так же как мы допускаем, что они, как и мы, могут видеть разницу между различными цветами или формами. Таким образом, мы всегда дополняем то, что фактически видим в действиях другого человека, проецируя на него систему классификации объектов, которую знаем не из наблюдений за другими людьми, но потому, что мыслим сами в терминах этих классов. Если, к примеру, мы видим, как человек переходит забитую транспортом площадь, увертываясь от одних машин и пропуская другие, мы знаем (или убеждены, что знаем) гораздо больше, чем действительно воспринимаем глазами. Это равным образом было бы верно и в том случае, если бы мы увидели, как человек ведет себя в физической обстановке, совершенно не похожей на все виденное нами ранее. Если я впервые вижу большой валун или лавину, несущуюся со склона горы на человека, и вижу, как он бежит изо всех сил, я понимаю смысл этого действия, поскольку знаю, что сам мог бы или стал бы делать в подобных обстоятельствах.

Несомненно, все мы постоянно действуем исходя из предпосылки, что можем таким образом интерпретировать действия других людей, опираясь на аналогию с нашим собственным умом, и что в подавляющем большинстве случаев такой подход срабатывает. Беда в том, что мы никогда не можем быть в этом уверены. Посмотрев несколько минут на человека или услышав от него несколько слов, мы решаем, что он в своем уме и не лунатик, и вследствие этого исключаем возможность бесконечного числа "чудных" вариантов его поведения, которые никто из нас не смог бы перечислить и которые просто не вписываются в то, что представляется нам разумным поведением, -- а это означает только то, что подобные действия не могут интерпретироваться исходя из аналогии с нашим собственным умом. Мы не можем ни объяснить точно, как, решая свои практические задачи, узнаем, что человек в своем уме и не лунатик, ни исключить возможность, что в одном случае из тысячи можем оказаться не правы. Подобным же образом я смогу на основе нескольких наблюдений быстро сделать вывод, что человек подает сигналы или охотится, ухаживает за другим или наказывает его, хотя прежде мог никогда не видеть, чтобы это делалось именно так. И несмотря на это, мой вывод будет достаточно верен с любой практической точки зрения.

Возникает важный вопрос, законно ли применять в научном анализе такие понятия, как эти, которые относятся к тому или иному положению дел, известному всем нам "интуитивно", и которыми мы не только без колебаний пользуемся в повседневной жизни, но на которых основано все социальное взаимодействие, все общение между людьми. Или же следует воспрепятствовать нам поступать таким образом, поскольку мы не способны

зафиксировать какие-то физические условия и с полной определенностью решать, действительно ли имеются эти постулируемые условия в том или ином конкретном случае, и поскольку по этой причине мы никогда не можем быть уверены, относится ли тот или иной конкретный пример к рассматриваемому классу, -- хотя мы все согласны, что в большинстве случаев наша оценка будет верной. Колебания, которые мы испытываем сначала по этому поводу, обусловлены, вероятно, тем, что сохранение подобной процедуры в общественных науках входит, кажется, в противоречие с наиболее заметной тенденцией в развитии современной научной мысли. Но существует ли в действительности такое противоречие? Упомянутая мной тенденция была правильно описана как движение к последовательному изгнанию всех "антропоморфных" объяснений из естественных наук. Значит ли это фактически, что мы должны воздерживаться от "антропоморфной" трактовки человека, -- и разве не становится вполне очевидно, как только мы выразим это подобным образом, что такая экстраполяция прошлых тенденций абсурдна?

Я не собираюсь, конечно, поднимать в этом контексте все проблемы, связанные с бихевиористской программой, хотя более систематический обзор моего предмета вряд ли позволил бы этого избежать. Действительно, вопрос, который нас здесь интересует, состоит именно в том, могут ли общественные науки рассматривать занимающие их проблемы в чисто бихевиористских терминах -- и возможен ли вообще последовательный бихевиоризм.

Вероятно, в интерпретации действий другого человека соотношение между строго эмпирическим фактором и той частью, которую мы примысливаем благодаря знанию своего собственного ума, можно описать с помощью (несколько проблематичного) разграничения между денотатом и коннотацией какого-либо понятия. То, что я распознаю при определенных обстоятельствах в качестве "дружелюбного лица", то есть денотат понятия, в значительной мере является делом опыта. Но никакой опыт в обычном смысле не сможет сказать мне, что же я имею в виду, называя это лицо "дружелюбным". То, что я подразумеваю под "дружелюбным лицом", не зависит от физических свойств различных конкретных ситуаций, которые, по-видимому, могут не иметь между собой ничего общего. Тем не менее я умею распознавать их как элементы одного класса -- но то, что делает их элементами одного класса, относится к придаваемому им значению, а не к их физическим свойствам.

Важность этого различия возрастает по мере того, как мы выходим за рамки привычного окружения. Пока я вращаюсь среди себе подобных, то, скорее всего, из физических свойств банкноты или револьвера стану заключать, что это деньги или оружие для тех, кто держит их в руках. Когда я вижу дикаря, держащего раковины каури или длинную тонкую трубку, то физические свойства этих предметов, вероятно, ни о чем мне не скажут. Однако наблюдения, подсказывающие мне, что раковины каури -- это для него деньги, а трубка -- оружие для пускания стрел, прольют на объекты яркий свет -- намного более яркий, чем могли бы мне дать те же наблюдения, не будь я знаком с понятием денег или оружия. Распознавая эти предметы в таком качестве, я начинаю понимать поведение людей. Я могу вписаться в схему действий, которые "имеют смысл", именно потому, что я стал считать это не предметом с определенными физическими свойствами, а предметом того рода, что вписывается в модель моей собственной целенаправленной деятельности.

Если то, что мы делаем, когда говорим о понимании действий человека, состоит во вписывании наших фактических наблюдений в модели, существующие в готовом виде в нашем собственном уме, то из этого следует, конечно, что мы способны понимать все меньше и меньше по мере обращения к существам, все более и более от нас далеким. Но

отсюда также следует, что не только невозможно понять ум, отличающийся от нашего собственного, но бессмысленно даже о нем говорить. Говоря о другом разуме, мы предполагаем, что в состоянии увязать между собой свои наблюдения, поскольку наблюдаемые нами вещи укладываются в образ нашего собственного мышления. Но там, где такая возможность истолкования по аналогии с нашим собственным умом исчезает, где мы не можем больше "понимать", -- там нет смысла вообще говорить о разуме. Тогда есть только физические факты, которые мы можем группировать и классифицировать единственно в соответствии с наблюдаемыми физическими свойствами.

В этой связи интересно, что при переходе от интерпретации действий людей, очень на нас похожих, к людям, живущим в сильно отличающейся обстановке, именно самые конкретные понятия первыми утрачивают свою полезность для осмысления людских поступков, а дольше всего ее сохраняют самые общие и абстрактные понятия. Мое знание об окружающих повседневных вещах, о конкретных способах выражения мыслей и эмоций принесет мне мало пользы при интерпретировании поведения жителей Тьерра-дель-Фуэго. Но мое понимание того, что я имею в виду под средствами достижения цели, под пищей или оружием, словом или знаком, и даже, вероятно, обменом или подарком, все еще будут полезны и даже существенны для моих попыток понять, что они делают.

3

До сих пор наше обсуждение ограничивалось вопросом, как при рассмотрении социальных явлений мы классифицируем индивидуальные действия и их объекты. Теперь я должен обратиться к вопросу о целях использования наших классификаций. И хотя в общественных науках занятие классификацией отнимает массу энергии -- в самом деле так много, что, к примеру, один из известнейших современных критиков экономической теории охарактеризовал ее как чисто "таксономическую" науку, -- не это является нашей конечной целью. Как все классификации, это не более чем удобный способ упорядочения имеющихся у нас фактов для объяснения всего чего бы то ни было. Однако прежде чем я смогу к этому перейти, во-первых, мне надо устранить с нашего пути одно распространенное заблуждение и, во-вторых, пояснить довольно часто встречающееся утверждение в защиту такого процесса классифицирования -- утверждение, которое для любого человека, воспитанного на естественных науках, звучит крайне подозрительно, но которое тем не менее просто вытекает из природы нашего предмета.

Заблуждение состоит в том, что задачей общественных наук является объяснение индивидуального поведения -- и особенно что используемый нами сложный процесс классификации либо является таким объяснением, либо служит ему. Общественные науки фактически не делают ничего подобного. Если сознательное действие может быть "объяснено", то это задача для психологии, но не для экономической теории, лингвистики, юриспруденции или любой другой общественной науки. В действительности мы просто классифицируем типы индивидуального поведения, которое можем понять, разрабатываем их классификацию -- говоря короче, обеспечиваем упорядочение материала, который предстоит использовать в дальнейшей работе. Экономисты обычно несколько стесняются признавать, что эта часть их работы есть "только" своего рода логика (это, вероятно, справедливо и в отношении других общественных наук). Я думаю, было бы мудрее с их стороны откровенно признать этот факт и прямо с ним считаться.

Упомянутое же мной выше утверждение непосредственно вытекает из природы первого этапа нашей работы как ветви прикладной логики. Однако поначалу оно выглядит весьма поражающе. Состоит оно в том, что из знания нами своего собственного ума мы можем вывести "априорным", или "дедуктивным", или "аналитическим", путем (во всяком

случае, в принципе) исчерпывающую классификацию всех возможных форм поддающегося осмыслению поведения. Именно из-за этой претензии, редко высказываемой открыто, но всегда подразумеваемой, летят все насмешки по адресу экономистов, когда нас обвиняют в том, что мы прядем знание из нашего внутреннего сознания -- и тому подобные бранные эпитеты. Стоит, однако, осознать, что, обсуждая поддающееся осмыслению поведение, мы всегда ведем речь о действиях, которые можем интерпретировать в категориях нашего собственного ума, как это утверждение теряет свой поражающий характер и фактически становится не более чем трюизмом. Если мы можем понимать только то, что подобно нашему собственному уму, отсюда неизбежно следует, что у нас должна быть возможность находить все, что мы в состоянии понять, в своем собственном разуме. Конечно, когда я говорю, что мы в принципе можем добиться исчерпывающей классификации всех возможных форм поддающегося осмыслению поведения, это не значит, что не может обнаружиться, что при интерпретации человеческих действий мы пользовались приемами мышления, еще не проанализированными или не эксплицированными. Мы обнаруживаем это постоянно. Я имел в виду, что, рассматривая любой конкретный класс поддающихся осмыслению действий, которые мы определили как действия одного рода -- в том значении, в каком этот термин употреблялся мной выше, -- мы можем в рамках этой сферы дать абсолютно исчерпывающую классификацию относящихся к ней форм деятельности. Если, например, мы определяем все акты выбора, обусловленные недостатком средств для достижения наших целей, как экономические действия, то можем шаг за шагом двигаться вперед, подразделяя возможные ситуации на альтернативы таким образом, чтобы на каждом шаге любая третья возможность исключалась: данные средства могут быть полезными только для одной или для множества целей; данная цель может быть достигнута только одним или несколькими различными средствами; различные средства могут требоваться для достижения данной цели либо поочередно, либо все вместе, и т.д.

Мне, однако, пора оставить то, что я назвал первым этапом нашей работы, и обратиться к вопросу о пользе от всех этих изоциренных классификаций в общественных науках. Краткий ответ состоит в том, что мы используем различные виды индивидуального поведения, классифицируемые подобным образом, как элементы, из которых строим гипотетические модели в попытке воспроизвести структуры (patterns) общественных отношений, существующие, как мы знаем, в окружающем нас мире. Но это все еще оставляет нас перед вопросом, является ли подобный путь правильным при изучении социальных явлений. Не скрыты ли в этих общественных структурах, на самой их глубине, определенные осязаемые социальные факты, которые мы должны изучать и оценивать, как мы изучаем и оцениваем факты физические? Не следует ли нам, по крайней мере, здесь добывать наше знание путем наблюдений и опыта вместо того, чтобы "строить модели" из элементов, отыскиваемых в нашем собственном мышлении?

Убеждение в том, что когда мы от действий индивида обращаемся к наблюдению за социальными коллективными образованиями (collectivities), то переходим из царства смутных и субъективных умозрений в царство объективных фактов, распространено достаточно широко. Этому убеждению придерживаются все, кто думают, что они могут сделать общественные науки более "научными", подражая модели естественных наук. Его интеллектуальная подоснова была наиболее точно выражена родоначальником "социологии" Огюстом Контом, который в одном своем знаменитом заявлении утверждал, что в области социальных феноменов, как и в биологии, "целый объект безусловно лучше известен и более непосредственно доступен", чем составляющие его части[1]. Большая часть науки, которую он взялся создать, до сих пор основывается на этом или подобных представлениях.

Я считаю чистой иллюзией подобную точку зрения, согласно которой такие социальные коллективные образования, как "общество" или "государство", любой социальный институт или явление рассматриваются как безусловно более объективные, нежели поддающиеся осмыслению действия индивидов. Я покажу, что то, что мы называем "социальными фактами", являются фактами в том особом смысле, в каком этот термин используется в естественных науках, не более, чем индивидуальные действия и их объекты; что эти так называемые факты представляют собой скорее все те же мыслительные модели, строящиеся нами из элементов, обнаруживаемых в наших собственных умах, как и модели, создаваемые нами в теоретических общественных науках. И потому то, что мы делаем в этих науках, являет собой в логическом смысле точно то же самое, что мы всегда совершаем, когда ведем разговор о государстве или обществе, языке или рынке, -- с той только разницей, что в науке мы в явной форме выражаем все то, что в обыденной речи присутствует скрыто и расплывчато.

Я не имею возможности пояснить это на примере какой-либо из теоретических социальных дисциплин -- даже на примере единственной из них, экономической теории, где мне хватило бы компетенции. Для этого мне понадобилось бы намного больше времени, чем я располагаю, на технические подробности. Возможно, однако, что гораздо полезнее попытаться сделать это на примере преимущественно описательной и в каком-то смысле преимущественно эмпирической дисциплины из социальной сферы -- а именно истории. Будет особенно уместно рассмотреть природу "исторических фактов", поскольку те, кто хотят сделать общественные науки более "научными", постоянно советуют обществоведам обращаться за своими фактами к истории и пользоваться "историческим методом" в качестве замены экспериментального. Действительно, за пределами самих общественных наук стало, по-видимому (особенно среди логиков[2]), почти общепринятым, что исторический метод -- это законный путь к обобщениям относительно социальных явлений[3].

Что мы имеем в виду под "фактом" истории? Являются ли факты, из которых состоит история человечества, важными для нас как физические факты или в каком-то ином смысле? Что собой представляет битва при Ватерлоо, правление Людовика XIV во Франции или феодальная система? Возможно, мы продвинемся вперед, если вместо того, чтобы братья прямо за этот вопрос, спросим, каким образом мы решаем, составляет ли какая-то отдельная крупница имеющейся у нас информации часть "факта" -- "битва при Ватерлоо"? Был ли человек, пахавший свое поле прямо позади крайнего фланга гвардии Наполеона, частью "битвы при Ватерлоо"? Или кавалер, уронивший табакерку при известии о штурме Бастилии, -- частью "французской Революции"? Погружение в подобного рода вопросы покажет, по меньшей мере, одно: мы не можем определять исторический факт в терминах пространственно-временных координат. Не все, что происходит в одно и то же время в одном и том же месте, является частью одного и того же исторического факта, равно как и все составные части одного и того же исторического факта не обязательно должны относиться к одному и тому же времени и месту.

Классический греческий язык или организация римских легионов, балтийская торговля XVIII века или эволюция общего права, или любое передвижение любой армии -- все это исторические факты, где никакой физический критерий не может подсказать нам, каковы составные части данного факта и как они связаны воедино. Любая попытка определить их должна принимать форму мысленного воссоздания -- модели, элементы которой образуют поддающиеся осмыслению индивидуальные установки. Несомненно, в большинстве случаев модель будет столь простой, что взаимосвязь ее частей будет видна сразу же; соответственно, мало будет оснований для того, чтобы удаивать такую модель имени "теория". Но если нашими историческими фактами являются такие комплексы, как язык

или рынок, общественная система или способ возделывания земли, тогда то, что мы называем фактом, есть либо повторяющийся процесс, либо сложная модель устойчивых взаимосвязей, которая не является "данной" нашему наблюдению, но которую мы можем только шаг за шагом реконструировать -- и которую мы можем реконструировать только потому, что части (отношения, из которых мы выстраиваем структуру) хорошо нам знакомы и понятны. Выражаясь парадоксально, то, что мы называем историческими фактами, в действительности есть теории, которые в методологическом смысле носят точно такой же характер, как и более абстрактные или общие модели, создаваемые теоретическими науками об обществе. Дело обстоит не так, что сначала мы изучаем "данные" исторические факты, а потом получаем возможность делать обобщения относительно них. Мы скорее пользуемся теорией, когда отбираем из знания, которое имеем о каком-либо периоде, определенные части как осмысленно связанные и составляющие звенья одного и того же исторического факта. Мы никогда не наблюдаем государства или правительства, битвы, или коммерческую деятельность, или же народ как целое. Когда мы пользуемся любым из этих понятий, за ним всегда обнаруживается схема, соединяющая индивидуальные действия осмысленными для нас отношениями; другими словами, мы пользуемся теорией, которая говорит нам, что является и что не является частью нашего предмета. Ничего не меняется от того, что теоретические обобщения обычно делают за нас наши информаторы или источники, использующие при сообщении факта такие понятия, как "государство" или "город", которые невозможно определить в физических терминах и которые отсылают нас к некоему комплексу отношений, каковые, будучи выражены в явном виде, и составят "теорию" данного предмета.

В таком случае социальная теория в том смысле, в каком я употребляю это понятие, логически предшествует истории. Она объясняет понятия, которыми должна пользоваться история. Безусловно, это не противоречит тому, что историческое исследование часто вынуждает теоретика пересматривать свои построения или создавать новые, с помощью которых он может упорядочить полученную информацию. Однако пока историк говорит не только об индивидуальных действиях определенных людей, но о том, что мы в каком-то смысле можем назвать социальными феноменами, его факты могут толковаться как факты того или иного рода только в терминах некоей теории, показывающей, как эти элементы связаны воедино. Социальные комплексы, социальные целостности, которые рассматривает историк, никогда не бывают даны в готовом виде в отличие от устойчивых структур органического (животного или растительного) мира. Они создаются актом конструирования или интерпретации самого историка " конструирования, чаще всего осуществляемого бессознательно и без какого-либо разработанного аппарата. Но в некоторых случаях, когда мы, например, имеем дело с языками, экономическими системами или сводами законов, эти структуры оказываются столь сложны, что без помощи хорошо разработанной техники их уже невозможно воспроизвести без угрозы ошибиться или запутаться в противоречиях.

Все это и является целью теоретических построений в общественных науках. Они не заняты социальными целостностями как таковыми; они не претендуют на то, чтобы открывать путем эмпирических наблюдений законы поведения или изменения таких целостностей. Их задача скорее состоит в том, чтобы, если можно так выразиться, составлять (*constitute*) эти целостности -- предлагать схемы структурных отношений, которые историк может использовать, когда пытается соединить обнаруживаемые им в действительности элементы в осмысленное целое. Историк не может избежать постоянного использования социальных теорий в этом качестве. Он может поступать так неосознанно, и в тех сферах, где отношения не слишком сложны, его инстинкт может вести его верным путем. Но когда он обращается к таким более сложным явлениям, как язык, право или экономика, и все же пренебрегает использованием моделей,

разработанных для него теоретиками, он почти наверняка попадет в беду. И эта "беда" многозначительно проявит себя в том, что теоретик покажет ему, что он либо запутался в противоречиях, либо выстроил в своих объяснениях такую причинно-следственную цепь, которая никоим образом не следует из принятых им предпосылок, как он сам будет вынужден признать, стоит только сформулировать их в явном виде.

Из этого следуют два важных вывода, которые здесь можно изложить только кратко. Первый заключается в том, что теории общественных наук не состоят из "законов" в смысле эмпирических правил относительно поведения объектов, определяемых в физических терминах. Теория в общественных науках пытается лишь предоставить технику умозаключений, помогающую нам связывать отдельные факты, но, как логика или математика, не касающуюся самих фактов. Следовательно, и это наш второй вывод, ее никогда нельзя верифицировать или фальсифицировать ссылкой на факты. Все, что мы можем и должны проверять, -- это присутствие наших допущений в данном конкретном случае. Мы уже упоминали возникающие при этом специфические проблемы и трудности. Здесь встает подлинный "вопрос факта" -- хотя и такой, на который часто невозможно будет ответить с той же определенностью, как в случае естественных наук. Однако саму теорию, мыслительную схему для интерпретации, никогда нельзя "верифицировать", но лишь проверить ее на непротиворечивость. Она может не иметь отношения к делу, поскольку упоминаемые в ней условия никогда не встречаются; или она может оказаться неадекватной, поскольку не учитывает достаточно большого количества условий. Но фактами ее можно опровергнуть не более, чем логику или математику.

Остается еще, впрочем, вопрос, является ли такого рода "композитивная" теория, как я предпочитаю ее называть, которая "составляет" социальные "целостности" путем конструирования моделей из доступных осмыслению элементов, единственным видом социальной теории, или нам следовало бы стремиться также к эмпирическим обобщениям относительно поведения этих целостностей как таковых и к установлению законов изменения языков или институтов -- законов того рода, что составляют цель "исторического метода".

Я не буду распространяться здесь по поводу любопытного противоречия, в которое обычно впадают защитники этого метода, когда сначала они подчеркивают, что исторические феномены являются единичными и уникальными, а затем переходят к утверждению, что их исследование может подниматься до обобщений. Положение, которое я хочу доказать, состоит скорее в следующем: если из бесконечного разнообразия феноменов, которые можно найти в любой конкретной ситуации, считаться частью какого-то объекта могут только те, что мы способны соединить посредством наших мыслительных моделей, тогда объект не может обладать никакими атрибутами, помимо тех, что могут быть выведены из принятой нами модели. Безусловно, мы можем продолжать конструирование моделей, которые все ближе и ближе подходят к конкретным ситуациям "концепций государств или языков со все более богатым содержанием. Но как представители какого-то класса, как однородные единицы, относительно которых мы можем делать обобщения, эти модели никогда не будут иметь никаких свойств, которыми мы бы сами их не наделили или которые дедуктивно не выводились бы из предпосылок, на которых мы их строили. Опыт никогда не сможет показать нам, что какая-то структура определенного рода обладает свойствами, не вытекающими из ее дефиниции (или из способа ее конструирования). Причина этого просто в том, что такие целостности или социальные структуры никогда не бывают нам даны как природные единицы, не являются определенными объектами, данными для наблюдения; в том, что мы никогда не имеем дела с реальностью в ее целостности, но всегда лишь с какой-то выборкой из нее, сделанной с помощью наших моделей[4].

Здесь нет места для более полного обсуждения природы "исторических фактов", или объектов истории, но мне хотелось бы кратко упомянуть один вопрос. Хотя он и не относится, строго говоря, к моему предмету, но и не совсем для него безразличен. Это очень модное учение "исторического релятивизма", убеждение в том, что разные поколения или эпохи по необходимости должны иметь разные взгляды на одни и те же исторические факты. Мне это учение кажется порождением все той же иллюзии, что исторические факты даны нам конкретно, а не являются результатом целенаправленного отбора того, что представляется нам связной группой событий, значимой для ответа на тот или иной вопрос, -- иллюзии, обусловленной, как мне кажется, убеждением, что мы можем определить исторический факт в физических терминах, с точки зрения его пространственно-временных координат. Но предмет, определенный как, скажем, "Германия в период 1618--1648 гг.", вовсе не является одним историческим объектом. В рамках пространственно-временного континуума, определенного подобным образом, мы можем найти любое число интересных социальных феноменов, которые для историка представляют собой совершенно различные объекты: история семьи X, развитие живописи, изменение правовых институтов и т.д., -- которые могут быть связаны или нет, но которые составляют части одного социального факта не более, чем любая пара других событий человеческой истории. Этот или любой другой конкретный период как таковой не есть определенный "исторический факт", не есть единичный исторический объект. Исходя из наших интересов, мы можем задать любое число разнообразных вопросов, относящихся к этому периоду, и, соответственно, должны будем дать разные ответы и создать различные модели взаимосвязанных событий. В разные времена историки именно так и поступают, потому что их интересуют разные вопросы. Однако поскольку только задаваемый нами вопрос выделяет из бесконечного разнообразия общественных событий, обнаруживаемых нами в любом данном времени и месте, определенную группу взаимосвязанных событий, которую можно назвать одним историческим фактом, то, как подсказывает опыт, разные ответы людей на разные вопросы не доказывают, что они придерживаются различных взглядов на один и тот же исторический факт. Вместе с тем нет никаких причин, почему историки в разные времена, владея одинаковой информацией, должны были бы отвечать на одни и те же вопросы по-разному. Однако только это оправдало бы тезис о неустранимой относительности исторического знания.

Я упоминаю это потому, что исторический релятивизм -- типичный продукт так называемого "историцизма", который фактически является порождением сциентистского предрассудка, обращенного на исторические явления: убеждения в том, что социальные феномены всегда даны нам так же, как даны нам природные факты. Они доступны нам только потому, что мы способны понимать, что другие люди говорят нам, и можем быть поняты, только интерпретируя намерения и планы других людей. Они являются не физическими фактами: элементами для их воспроизведения всегда выступают знакомые нам категории нашего собственного разума. В том случае, когда мы более не могли бы интерпретировать то, что знаем о других людях, исходя из аналогии с нашим собственным умом, история перестала бы быть человеческой историей. Ей пришлось бы тогда в самом деле оперировать чисто бихевиористскими понятиями, в которых мы могли бы, например, написать историю муравейника или наблюдатель с Марса -- историю человечества.

Если это объяснение того, что в действительности делают общественные науки, покажется вам описанием перевернутого вверх дном мира, в котором все не на своем месте, я попрошу вас вспомнить, что эти дисциплины имеют дело с миром, на который мы с наших позиций неизбежно смотрим иначе, чем на мир природы. Прибегнем к полезной метафоре: если на мир природы мы смотрим извне, то на мир общества изнутри; что касается мира природы, наши понятия относятся к фактам и должны приспособливаться к

фактам, тогда как в мире общества по крайней мере некоторые из наиболее привычных понятий являются тем "веществом", из которого этот мир создан. Так же, как существование общей структуры мышления составляет условие возможности нашего общения друг с другом (условие понимания вами того, что я говорю), оно составляет и основу нашей интерпретации таких сложных социальных структур, как те, что мы находим в экономической жизни, праве, языке или обычаях.

[1] Cours, IV, p. 258.

[2] Ср., например: L.S.Stebbing, A Modern Introduction to Logic (2d ed., 1933), p.383.

[3] Я уверен, что мне не нужно применять особых мер предосторожности против неверного понимания моих последних высказываний о соотношении между историей и теорией как какого-то принижения роли истории. Я хотел бы даже подчеркнуть, что вся цель теории состоит в том, чтобы помочь нашему пониманию исторических явлений, и что самое совершенное знание теории будет на деле почти бесполезным без самых широких познаний исторического характера. Но это совершенно не относится к моей настоящей теме -- природе "исторических фактов" и той сравнительной роли, которую история и теория играют в их объяснении.

[4] Между прочим, я не убежден, что этот последний момент действительно составляет различие между общественными и естественными науками. И если нет, то, как я думаю, ошибаются естествоиспытатели, веря, что они всегда имеют дело с реальностью как целым, а не только с ее избранными "аспектами". Но это еще проблема, можем ли мы вообще воспринимать или говорить об объекте, который указан нам сугубо демонстрационно и который поэтому является "индивидуумом" (в логическом смысле) в отличие от "единичного класса" (и, следовательно, действительно конкретен, а не абстрактен), -- проблема, которая может увести слишком далеко от моей нынешней темы.

ГЛАВА IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Перепечатано из American Economic Review, XXXV, No. 4 (September, 1945), pp. 519-30.

1

Какую проблему нам предстоит решить, когда мы пытаемся создать рациональный экономический порядок? Согласно некоторым хорошо известным предположениям, ответ достаточно прост. Если у нас есть вся релевантная (relevant) информация, если нам дана система предпочтений и если мы располагаем полным знанием об имеющихся средствах, то оставшаяся проблема носит чисто логический характер. Другими словами, ответ на вопрос о том, как лучше всего использовать имеющиеся средства, неявно содержится в наших допущениях. Условия, которым должно удовлетворять решение проблемы нахождения оптимума, были полностью разработаны и могут быть лучше всего представлены в математической форме: в самом сжатом выражении они состоят в том, что предельные нормы замещения между любыми двумя товарами или факторами должны быть одинаковыми при всех различных вариантах их употребления.

Это, однако, никак не экономическая проблема, стоящая перед обществом. И система экономического расчета, которую мы разработали для решения данной логической проблемы, хотя и является важным шагом к решению экономической проблемы общества, все же не дает пока на нее ответа. Причина этого в том, что "данные", от которых отправляется экономический расчет, никогда не бывают, с точки зрения всего общества, "даны" какому-то отдельному уму, способному произвести все нужные вычисления, и никогда не могут быть даны подобным образом.

Специфический характер проблемы рационального экономического порядка обусловлен именно тем, что знание обстоятельств, которым мы должны пользоваться, никогда не существует в концентрированной или интегрированной форме, но только в виде рассеянных частиц неполных и зачастую противоречивых знаний, которыми обладают все отдельные индивиды. Таким образом, экономическая проблема общества -- это не просто проблема размещения "данных" ресурсов, если под "данными" понимается то, что они даны какому-то одному уму, сознательно решающему проблему, поставленную перед ним этими "данными". Это, скорее, проблема, как обеспечить наилучшее использование ресурсов, известных каждому члену общества, для целей, чья относительная важность известна только этим индивидам. Или, короче, это проблема использования знания, которое никому не дано во всей его полноте.

Фундаментальное значение этой проблемы, боюсь, было больше затуманено, нежели прояснено, многими из последних усовершенствований экономической теории, в частности многими случаями применения математики. И хотя проблема, которую я хочу в первую очередь рассмотреть в данной работе, есть проблема рациональной экономической организации, по ходу мне вновь и вновь придется указывать на ее тесную связь с определенными методологическими вопросами. Многие положения, что я намерен высказать, фактически являются выводами, к которым неожиданно сходятся рассуждения, идущие самыми разными путями. Однако в том свете, в каком я вижу сейчас данные проблемы, это не случайность. Мне кажется, что общий источник многих нынешних споров относительно и экономической теории и экономической политики заключен в ложном представлении о природе экономической проблемы общества. Это ложное представление в свою очередь обусловлено ошибочным переносом на общественные явления тех привычных способов мышления, которые мы выработали, имея дело с явлениями природы.

В обыденном языке слово "планирование" употребляется для обозначения комплекса взаимосвязанных решений о размещении имеющихся у нас ресурсов. В этом смысле всякая экономическая деятельность есть планирование. В любом обществе, где сотрудничает множество людей, это планирование, кто бы его ни осуществлял, должно будет в какой-то мере базироваться на знаниях, которые имеются вначале не у самого планирующего, а у кого-то другого и которые нужно будет каким-то образом ему передать. Разнообразные пути передачи знания людям, строящим на его основании свои планы, есть центральная проблема для всякой теории, объясняющей экономический процесс. Вопрос о наилучшем способе использования знания, изначально рассеянного среди всего множества людей, или, что то же самое, о построении эффективной экономической системы, является, по меньшей мере, одним из главных и для экономической политики.

Ответ на него тесно связан с другим возникающим здесь вопросом -- кто должен осуществлять планирование. Именно он находится в центре всех споров об "экономическом планировании". Спор ведется не о том, нужно планирование или нет. Это спор о том, должно ли планирование осуществляться централизованно, единой властью для всего общества в целом, или его надо разделить между многими индивидами. Планирование в том особом смысле, в каком это понятие употребляется в современных дискуссиях, всегда означает централизованное планирование -- управление всей экономической системой согласно одному единому плану. И напротив, конкуренция означает децентрализованное планирование множеством отдельных лиц. Промежуточный путь между двумя вариантами, о котором многие говорят, но лишь немногие одобряют, когда сталкиваются с ним воочию, -- это делегирование планирования отраслевым организациям, или, другими словами, монополиям.

Какая из этих систем обещает быть более эффективной, зависит в основном от ответа на вопрос, от какой из них мы можем ожидать более полного использования существующего знания. Это, в свою очередь, зависит от того, в каком случае у нас больше шансов преуспеть -- при передаче всего знания, которое необходимо использовать, но которое изначально рассредоточено среди множества индивидов, в распоряжение единой центральной власти или при передаче индивидам того дополнительного знания, которое требуется им, чтобы согласовывать свои планы с планами других людей.

Сразу становится очевидно, что позиция здесь будет различной смотря по тому, о каких видах знания идет речь. Поэтому ответ на поставленный вопрос будет в основном зависеть от относительной значимости различных видов знания: того, которое, скорее всего, окажется в распоряжении отдельных индивидов, и того, которое мы с высокой долей вероятности ожидали бы обнаружить в распоряжении властного органа, состоящего из должным образом подобранных экспертов. Если именно сегодня так часто предполагают, что последние будут в лучшем положении, то только потому, что один вид знания, а именно научное знание, занимает сейчас столь видное место в воображении публики, что мы склонны забывать, что это не единственный его нужный для дела вид. Можно согласиться, что в той мере, в какой речь идет о научном знании, орган из хорошо подобранных экспертов способен наилучшим образом распорядиться всеми наилучшими знаниями, -- хотя это, конечно, просто переводит проблему из одной плоскости в другую: как подобрать экспертов. Я хочу подчеркнуть, что это затруднение -- даже если мы

допустим, что оно вполне преодолимо, -- составляет лишь малую часть более общей проблемы.

Сегодня мысль о том, что научное знание не является суммой всех знаний, звучит почти еретически. Однако минутное размышление покажет, что несомненно существует масса весьма важного, но неорганизованного знания, которое невозможно назвать научным (в смысле познания всеобщих законов), -- это знание особых условий времени и места. Именно в этом отношении практически любой индивид обладает определенным преимуществом перед всеми остальными, поскольку владеет уникальной информацией, которую можно выгодно использовать. Однако использовать ее можно, только если зависящие от этой информации решения предоставлены самому индивиду или выработаны при его активном участии. Здесь достаточно вспомнить, сколь многому мы должны научиться в любой профессии после того, как завершена теоретическая подготовка, какую большую часть нашей активной жизни мы тратим на обучение конкретным работам и сколь ценное благо во всех сферах деятельности являет собой знание людей, местных условий и особых обстоятельств. Знать о неполной загруженности станка и использовать его полностью или о том, как лучше употребить чье-то мастерство, или быть осведомленным об избыточном запасе, которым можно воспользоваться при сбое в поставках, -- с точки зрения общества так же полезно, как и знать, какая из имеющихся технологий лучше. Грузоотправитель, зарабатывающий на жизнь, используя рейсы грузовых судов, которые иначе оставались бы пустыми или заполненными наполовину, или агент по продаже недвижимости, чье знание почти исключительно сводится к знанию временных благоприятных возможностей, или arbitrageur <спекулянт (фр.)>, играющий на разнице в местных ценах на товары, " все они выполняют в высшей степени полезные функции, основываясь на особом знании быстротекущих обстоятельств, неизвестных другим людям.

Любопытно, что к этому виду знания сегодня относятся, как правило, с изрядной подозрительностью и считают, что почти позорно поступает всякий человек, получающий за счет такого знания преимущество перед кем-либо, кто лучше оснащен теоретическим или техническим знанием. Извлекать преимущества из лучшего знания средств связи или транспорта временами считается почти нечестным, хотя использовать открывающиеся здесь благоприятные возможности для общества так же важно, как и использовать новейшие научные открытия. Это предубеждение в значительной мере повлияло на общее отношение к коммерции по сравнению с производством. Даже экономисты, считающие себя надежно защищенными от грубых материалистических заблуждений прошлого, постоянно совершают ту же ошибку, когда речь заходит о действиях, направленных на приобретение подобного практического знания, -- очевидно, потому, что в их картине мира все оно считается "данным". Сегодня бытует расхожее представление, что все такое знание, само собой разумеется, должно быть готово к услугам каждого, и упрек в иррациональности, направляемый против существующего экономического порядка, часто основан на том, что оно не так уж доступно. Этот взгляд не учитывает того, что способ сделать такое знание настолько широко доступным каждому, насколько вообще возможно, как раз и составляет проблему, для которой нам надлежит найти решение.

4

Если сегодня стало модно принижать важность знания конкретных обстоятельств времени и места, то это тесно связано с тем, что меньше значения придается теперь изменению как таковому. В самом деле, немного есть вопросов, по которым допущения (обычно только неявные) сторонников планирования и их оппонентов отличаются так сильно, как в отношении значения и частоты изменений, вызывающих необходимость коренного

пересмотра производственных планов. Конечно, если бы можно было заранее составить детальный экономический план на достаточно долгий период и затем точно его придерживаться, так что не потребовалось бы никаких серьезных дополнительных экономических решений, тогда задача составления всеобъемлющего плана, регулирующего всю экономическую деятельность, была бы далеко не такой устрашающей.

Вероятно, стоит подчеркнуть, что экономические проблемы возникают всегда в связи с изменениями и только вследствие них. Пока все идет как прежде или, по крайней мере, как ожидалось, не возникает никаких новых проблем, требующих решения, никакой нужды составлять новый план. Убеждение, что изменения или, по крайней мере, каждодневные приспособления стали в нынешние времена менее важны, равносильно утверждению, что экономические проблемы также стали менее важными. Недаром веры в уменьшающееся значение изменений обычно придерживаются те же люди, которые доказывают, что важность экономических соображений оказалась отодвинута на задний план возросшей ролью технического знания.

Правда ли, что благодаря изощренному техническому аппарату современного производства экономические решения требуются только через длительные интервалы, как, например, когда нужно построить новую фабрику или ввести новый технологический процесс? Верно ли, что раз завод построен, то все остальное решается более или менее механически, определяется характером производства и оставляет мало места для изменений с целью адаптации к вечно меняющимся обстоятельствам текущего момента?

Достаточно широко распространенное убеждение, что ответ может быть только утвердительным, не подтверждается, насколько я могу судить, практическим опытом делового человека. Во всяком случае, в конкурентной отрасли -- а только такая отрасль может служить мерилom -- задача сдерживания роста издержек требует постоянной борьбы, поглощающей большую часть энергии менеджера.

То, с какой легкостью неумелый менеджер сводит на нет превосходство в ведении дел, лежащее в основе получения прибыли, и то, что при одинаковых технических возможностях можно вести производство с самыми разными издержками, -- это все общие места делового опыта, но, которые, похоже, менее привычны для исследований экономиста. Сам напор постоянно исходящих от производителей и инженеров требований дать им возможность действовать, не сковывая их соображениями денежных издержек, служит красноречивым свидетельством, до какой степени эти факторы вмешиваются в их повседневную работу.

Причина все большей склонности экономистов забывать о непрерывных мелких изменениях, из которых и складывается вся экономическая картина, заключается, вероятно, в их поглощенности статистическими агрегатами, отличающимися гораздо большей стабильностью, чем поведение деталей. Сравнительную стабильность агрегатов нельзя тем не менее объяснить -- как иногда, видимо, склонны полагать статистики -- законом "больших чисел" или взаимопогашением случайных колебаний. Число элементов, с которыми нам приходится иметь дело, недостаточно велико для того, чтобы такие случайные силы обеспечивали стабильность. Непрерывный поток товаров и услуг поддерживается постоянными сознательными корректировками, новыми приготовлениями, совершающимися каждый день в свете новых обстоятельств, неизвестных накануне, немедленным включением в дело В, когда А оказывается не в состоянии осуществить поставки. Даже большой высокотехнологизированный завод продолжает работать в значительной степени благодаря окружению, из которого он

черпает все, что неожиданно может потребоваться: кровельные материалы, канцелярские принадлежности и бланки и еще тысячу и одну вещь, в обеспечении которыми он не может быть самодостаточен и наличие которых на рынке требуется планами его работы.

Пожалуй, здесь мне нужно еще раз напомнить, что разновидность знаний, занимающая мое внимание, есть знание особого рода, которое по своей природе не может схватываться статистикой и, соответственно, не может передаваться никакому центральному органу в статистической форме. Статистические данные, которыми довелось бы пользоваться такому центральному органу, должны были бы получаться именно за счет абстрагирования от малозаметных различий между вещами и соединения в общую массу как ресурсов одного вида, предметов, отличающихся по местонахождению, качеству и другим деталям, причем способ, каким бы это осуществлялось, мог бы оказаться далеко не безразличен для принятия конкретных решений. Отсюда следует, что централизованное планирование, основывающееся на статистической информации, по самой своей природе неспособно принимать во внимание все эти обстоятельства времени и места и что центральный планирующий орган вынужден будет найти какой-то способ передоверить "людям на местах" принятие решений, зависящих от таких обстоятельств.

5

Если мы согласимся с тем, что экономическая проблема общества заключается прежде всего в быстрой адаптации к изменениям конкретных обстоятельств времени и места, из этого, по-видимому, будет следовать, что принятие окончательных решений следует оставить людям, знакомым с этими обстоятельствами, которым непосредственно известно о происходящих изменениях и о ресурсах, имеющихся прямо под рукой, чтобы на них реагировать. Мы не вправе ожидать, что проблема будет решена путем предварительного сообщения всей такой информации центральному органу, который, интегрировав ее, отдаст соответствующие приказы. Мы должны решать ее с помощью той или иной формы децентрализации. Но это ответ лишь на часть нашей проблемы. Нам необходима децентрализация, поскольку только так мы можем обеспечить незамедлительное использование знаний о конкретных обстоятельствах времени и места. Однако "люди на местах" не могут принимать решения исключительно на основании ограниченного, пусть и глубокого, знания фактов из своего ближайшего окружения. Остается еще проблема передачи им такой дополнительной информации, в которой они нуждаются для того, чтобы вписать свои решения в общую картину изменений более широкой экономической системы.

Как много знаний требуется "местному человеку" для того, чтобы успешно это осуществить? Какие из событий, происходящих за пределами непосредственно ему известного, значимы для его ближайших решений и о скольких из них ему необходимо знать?

Почти все происходящее где бы то ни было в мире могло бы повлиять на решение, которое ему предстоит принять. Однако ему не требуется знать ни обо всех этих событиях, ни обо всех их последствиях. Для него не важно, почему сейчас спрос на один размер болтов больше, чем на другой, почему бумажные мешки раздобыть легче, чем брезентовые, или почему в данный момент стало труднее найти квалифицированную рабочую силу либо какие-то станки. Ему важно только то, насколько труднее или легче стало их доставать по сравнению с другими вещами, которые ему тоже нужны, или насколько более или менее настоятельной стала потребность в других предметах, которые он производит либо использует. Сравнительная важность отдельных вещей -- вот что его

всегда волнует, и причины, ее меняющие, представляют для него интерес лишь постольку, поскольку они затрагивают конкретные вещи из его собственного окружения.

Именно здесь "экономический расчет", как я назвал его (или Чистая Логика Выбора), помогает нам увидеть, во всяком случае -- по аналогии, как данная проблема может быть решена и фактически решается системой цен. Даже единый контролирующий разум, обладая всеми данными по какой-либо небольшой автономной экономической системе, не стал бы каждый раз, когда надо провести мелкую корректировку в размещении ресурсов, вдаваться в подробности всех отношений между целями и средствами, которые могут быть затронуты. Действительно, огромный вклад Чистой Логике Выбора состоит в том, что она убедительно показала, что даже такой единый разум мог бы решить подобную проблему, только рассчитывая и постоянно используя коэффициенты эквивалентности (или "ценности", или "предельные нормы замещения"), то есть присваивая каждому виду редкого ресурса числовой показатель, который нельзя вывести из какого-либо свойства данного конкретного предмета, но который измеряет или выражает в сжатой форме его значимость с точки зрения всей системы целей и средств. При любом небольшом изменении ему пришлось бы рассматривать только эти количественные показатели (или "ценности"), в которых сосредоточена вся необходимая информация; и, корректируя их величины одну за другой, он смог бы нужным образом перестраивать свои возможности без лишней надобности решать всю эту головоломную задачу *ab initio* <с самого начала (лат.)>, рассматривая ее на каждой стадии целиком во всех ее разветвлениях.

По сути, в системе, где знание значимых фактов расплывлено среди множества людей, цены могут координировать разрозненные действия различных лиц так же, как субъективные ценности помогают индивиду координировать части его плана. Стоит ненадолго задуматься над очень простым и обыденным примером действия системы цен, чтобы увидеть, что именно она делает. Допустим, где-то в мире возникла новая возможность использования какого-то сырья, скажем олова, или один из источников поступления олова исчез. Для нас не имеет значения -- и это важно, что не имеет, -- по какой из названных двух причин олово стало более редким. Все, что нужно знать потребителям олова, -- это то, что какая-то часть олова, которым они привыкли пользоваться, теперь более прибыльно употребляется где-то еще и что вследствие этого им надо его экономить. Огромному большинству из них не нужно даже знать, где возникла более настоятельная потребность в олове или в пользу каких иных потребностей они должны урезать свои запросы. Если только кто-то из них сразу же узнает о новом источнике спроса и переключит ресурсы на него, а люди, осведомленные об образовавшейся в результате этого новой брешы, в свою очередь, восполнят ее из других оставшихся источников, эффект быстро распространится по всей экономической системе и повлияет не только на все виды потребления олова, но и на все виды потребления его заменителей, заменителей заменителей, а также на предложение товаров, изготавливаемых из олова, на предложение их заменителей и т.д. -- и это все при том, что громадное большинство людей, способствующих таким замещениям, вовсе не будет иметь никакого представления о первоначальной причине происходящих изменений. Целое действует как единый рынок не потому, что любой из его членов видит все поле, но потому, что их ограниченные индивидуальные поля зрения в достаточной мере пересекаются друг с другом, так что через многих посредников нужная информация передается всем. Сам факт, что на всякий товар есть одна цена -- или, скорее, что местные цены соотносятся так, как это диктуется транспортными издержками и т.п., -- воплощает в себе то решение, к которому мог бы прийти (что является сугубо теоретической возможностью) один отдельный ум, владеющий всей информацией, которая в действительности рассредоточена среди всех вовлеченных в этот процесс людей.

Мы должны смотреть на систему цен как на механизм передачи информации, если хотим понять ее действительную функцию -- функцию, которую, разумеется, она выполняет тем менее совершенно, чем более жесткими становятся цены. (Но даже когда назначаемые цены становятся достаточно жесткими, силы, призванные действовать через изменения цен, в значительной мере все же продолжают проявлять себя через изменения других условий контрактов.) Наиболее важно в этой системе то, с какой экономией знаний она функционирует, или как мало надо знать отдельным участникам, чтобы иметь возможность предпринять правильные действия. В сжатой, своего рода символической, форме передается только самая существенная информация и только тем, кого это касается. Это более чем метафора -- описывать систему цен как своеобразный механизм по регистрации изменений или как систему телекоммуникаций, позволяющую отдельным производителям следить только за движением нескольких указателей (подобно тому, как инженер мог бы следить за стрелками лишь нескольких датчиков), дабы приспособлять свою деятельность к изменениям, о которых они, возможно, никогда не узнают ничего сверх того, что отражается в движении цен.

Конечно, такие приспособления никогда не бывают "совершенными" в том смысле, в каком экономист представляет их себе в своем равновесном анализе. Я боюсь, однако, что наши теоретические привычки подходить к проблеме, допуская, что почти все обладают более или менее совершенным знанием, сделали нас в известной мере слепыми в отношении истинной функции механизма цен и привели к применению довольно обманчивых критериев при оценке его эффективности. Не чудо ли, что в такой ситуации, как нехватка какого-либо материала, без чьего бы то ни было приказа, когда, вероятно, лишь горстка людей знает ее причину, десятки тысяч людей, чьи личности нельзя было бы установить за месяцы расследований, оказываются принуждены употреблять этот материал или сделанные из него продукты более бережно -- то есть сдвигаться в правильном направлении? Это уже достаточное чудо, даже если в постоянно меняющемся мире не у всех оно будет получаться настолько совершенно, чтобы их нормы прибыли поддерживались всегда на одном и том же равном, или "нормальном", уровне.

Я намеренно употребил слово "чудо", дабы выбить читателя из того состояния довольства, с каким мы часто воспринимаем работу этого механизма, будто так тому и положено быть. Я убежден, что, если бы он был создан по сознательно выработанному человеком проекту и если бы люди, ведомые изменениями цен, поняли, что значение их решений выходит далеко за пределы их непосредственных целей, такой механизм был бы провозглашен одним из величайших триумфов человеческого разума. Ему не повезло дважды: в том, что он не есть продукт человеческого замысла, и в том, что люди, направляемые им, обычно не знают, что их заставляет делать то, что они делают. Однако те, кто громогласно требуют "сознательного управления" и не могут поверить, что нечто, развившееся без чьего бы то ни было замысла (даже без нашего понимания этого), могло бы решать проблемы, которые бы мы были неспособны решать сознательно, -- должны помнить: проблема именно в том, как сделать сферу нашего пользования ресурсами шире сферы, подконтрольной чьему бы то ни было разуму; и, следовательно, как обойтись без необходимости сознательного контроля и обеспечить стимулы, которые заставят индивидов осуществлять желаемое без чьих-либо указаний, что же им надлежит делать.

Проблема, с которой мы здесь сталкиваемся, никоим образом не принадлежит только экономической теории, но возникает в связи почти со всеми подлинно общественными явлениями -- с языком и с большей частью нашего культурного наследия, реально

составляя главную теоретическую проблему всех наук об обществе. Как сказал по другому поводу Альфред Уайтхед: "Это глубоко ошибочный трюизм, повторяемый во всех прописях и всеми выдающимися людьми, когда они выступают с речами, будто мы должны развивать в себе привычку думать, что делаем. Все совершенно наоборот. Цивилизация движется вперед, увеличивая число важных действий, которые мы в состоянии выполнять, не думая о них". Это имеет особое значение в социальной сфере. Мы постоянно используем формулы, символы и правила, смысла которых не понимаем и через употребление которых пользуемся помощью знания, которым сами не владеем. Мы развили эти практики и институты, опираясь на привычки и установления, успешно испытанные в их собственной сфере и ставшие затем основанием созданной нами цивилизации.

Система цен -- как раз одно из таких образований, которые человек научился использовать (хотя он все еще очень далек от того, чтобы научиться использовать ее наилучшим образом) после того, как он натолкнулся на нее, не имея о ней ни малейшего понятия. С ее помощью стало возможным не только разделение труда, но и скоординированное употребление ресурсов, основанное на равномерно разделенном знании. Люди, любящие высмеивать всякий намек, что так может быть, обычно искажают это соображение, внушая, будто в нем утверждается, что каким-то чудом стихийно возник именно тот тип системы, который более всего удовлетворяет требованиям современной цивилизации. Все ровно наоборот: человек смог развить то разделение труда, на котором основана наша цивилизация, потому что ему довелось натолкнуться на способ, сделавший ее возможной. Не случись этого, он мог бы все-таки развить какой-то иной, совершенно отличный, тип цивилизации, что-то вроде "государства" муравьев или нечто совершенно невообразимое. Мы можем только сказать, что никто еще не преуспел в построении альтернативной системы, где можно было бы сохранить определенные черты системы существующей, дорогие даже для тех, кто яростнее всех на нее нападают, -- и, в частности, ту степень свободы, с которой индивид может избирать себе занятие и, соответственно, использовать свои собственные знания и мастерство.

7

Во многих отношениях удачно, что споры о необходимости системы цен для всякого рационального расчета в сложном современном обществе ведутся уже не только между лагерями, придерживающимися разных политических убеждений. Тезис, что без системы цен мы не могли бы сохранить общество, основанное на таком широком разделении труда, как наше, был встречен градом насмешек, когда фон Мизес выдвинул его впервые двадцать пять лет назад. Сегодня то, что кое-кому все еще трудно его принять, уже не объясняется чисто политическими причинами, и в итоге атмосфера становится гораздо более благоприятной для разумного обсуждения. Когда Лев Троцкий доказывает, что "экономический расчет немыслим без рыночных отношений"; когда профессор Оскар Ланге обещает профессору фон Мизесу статую в мраморном зале будущего Центрального Планового Управления; когда профессор Абба Л. Лернер заново открывает Адама Смита и подчеркивает, что основное достоинство системы цен состоит в стимулировании индивида к тому, чтобы, преследуя собственный интерес, он делал то, что отвечает интересу общему, расхождения действительно нельзя более списывать на политические предубеждения. Остающиеся разногласия явно обусловлены чисто интеллектуальными и, более конкретно, методологическими расхождениями.

Недавние заявления Йозефа Шумпетера в его книге "Капитализм, социализм и демократия" прекрасно иллюстрируют одно из методологических расхождений, которые я имею в виду. Ему принадлежит выдающееся место среди экономистов, рассматривающих

экономические явления с позиций одного из направлений позитивизма. Соответственно, эти явления представляются ему объективно данными количествами товаров, прямо сталкивающихся друг с другом, почти без всякого вмешательства, надо полагать, человеческих умов. Только подобной предпосылкой я могу объяснить следующее (поражающее меня) заявление. Профессор Шумпетер доказывает, что для теоретика возможность рационального расчета при отсутствии рынков факторов производства вытекает "из элементарного допущения: потребители, оценивая потребительские товары ("запрашивая"), ipso facto <в силу самого факта (лат.)> оценивают и средства производства, участвующие в создании этих товаров" [Capitalism, Socialism and Democracy (New York: Harper & Bros., 1942), p. 175. (Рус. пер.: Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., "Экономика", 1995, с. 237.) Я считаю также профессора Шумпетера подлинным автором мифа о том, что Парето и Бароне "решили" проблему экономического расчета при социализме. Что они и многие другие действительно сделали, так это просто сформулировали условия, которым должно удовлетворять рациональное распределение ресурсов, и указали, что эти условия, по существу, совпадают с условиями равновесия на конкурентном рынке. Это нечто совершенно иное, нежели объяснение, как добиться на практике распределения ресурсов, удовлетворяющего этим условиям. Сам Парето (у которого Бароне взял фактически все, что имел сказать), далекий от претензий на то, что он решил эту практическую проблему, в действительности недвусмысленно отрицает возможность ее решения без помощи рынка. См. его: Manuel d'economie pure (2d ed., 1927), pp. 233--34. Соответствующий отрывок цитируется в английском переводе в начале моей статьи: "Socialist Calculation: The Competitive "Solution"", *Economica*, VIII, No. 26 (new ser., 1940), p. 125, которая перепечатывается ниже как глава VIII.]

Взятое буквально, такое заявление попросту неверно. Потребители не делают ничего подобного. По-видимому, под "ipso facto" профессор Шумпетер имеет в виду, что оценка факторов производства подразумевается оценками потребительских товаров или неизбежно вытекает из них. Но это тоже неверно.

Подразумеваемое здесь логическое отношение может иметь смысл только при условии одновременного присутствия всех выносимых оценок в одной и той же голове. Очевидно, однако, что ценность производственных факторов зависит не только от оценок потребительских товаров, но и от условий предложения различных факторов производства. Только для разума, которому одновременно были бы известны все эти факты, решение однозначно следовало бы из того, что ему дано. Однако практическая проблема возникает именно потому, что эти факты никогда не бывают даны подобным образом какому-то одному уму, и потому, соответственно, необходимо, чтобы при ее решении использовалось знание, распыленное среди множества людей.

Проблема, таким образом, нисколько не решается тем, что мы способны показать, что вся совокупность фактов, если бы они были известны какому-то одному уму (как мы гипотетически допускаем, что они даны наблюдателю-экономисту), предопределяла бы единственность решения. Вместо этого мы должны показать, как решение достигается путем взаимодействия людей, каждый из которых владеет лишь частичным знанием. Допускать, что все знание дано какому-то одному уму, точно так же, как, согласно нашим допущениям, оно дано нам как объясняющим экономистам, значит отбросить саму проблему и пренебречь всем, что есть важного и значительного в реальном мире.

То, что экономист ранга профессора Шумпетера попал таким образом в ловушку, расставляемую для опрометчивых людей двусмысленностью термина "данное", вряд ли можно объяснить как простую ошибку. Это предполагает скорее нечто глубоко неверное в подходе, привычно пренебрегающем важнейшей частью явлений, с которыми нам

приходится иметь дело: неустранимым несовершенством человеческого знания и вытекающей отсюда потребностью в непрерывном процессе передачи и приобретения знаний. Любой подход, который начинает на деле с предположения, что знание людей соответствует объективным фактам ситуации, как это и происходит во многих разделах математической экономики с ее системами уравнений, последовательно отбрасывает то, объяснение чего и составляет нашу главную задачу. Я далек от того, чтобы отрицать, что в нашей системе равновесный анализ выполняет полезную функцию.

Но когда он начинает приводить наших ведущих мыслителей к ложному представлению, что описываемая им ситуация имеет прямое отношение к решению практических проблем, самое время вспомнить, что он вообще не имеет дела с социальным процессом и что он -- не более чем полезное вступление к изучению этой главной проблемы.

ГЛАВА V. СМЫСЛ КОНКУРЕНЦИИ

Настоящая работа воспроизводит основное содержание лекции, прочитанной в Принстонском университете 20 мая 1946 г.

1

Появились признаки растущего осознания экономистами того, что предмет их споров последних лет по имени "конкуренция" -- это не то же самое, что называется так в обыденном языке. Однако, хотя предпринимались некоторые смелые попытки вернуть обсуждение обратно на землю и направить внимание на проблемы реальной жизни, особенно Дж.М.Кларком и Ф.Махлупом [J.M.Clark, "Toward a Concept of Workable Competition", *American Economic Review*, Vol. XXX (June, 1940); F.Machlup, "Competition, Pliopoly and Profit", *Economica*, Vol. IX (new ser.; February и May, 1942).], похоже все-таки, что понятие конкуренции, используемое сегодня экономистами, считается всеми важным, а представление о ней делового человека рассматривается как заблуждение. По-видимому, широко распространено мнение, что так называемая теория "совершенной конкуренции" дает подходящую модель для оценки эффективности конкуренции в реальной жизни и что в той мере, в какой реальная конкуренция отклоняется от этой модели, она является нежелательной и даже вредной.

Мне подобная установка представляется мало оправданной. Я попытаюсь показать, что то, о чем идет речь в теории совершенной конкуренции, вообще имеет мало прав называться "конкуренцией" и что выводы из этой теории не могут принести почти никакой пользы в качестве руководства для политики. Причина, как мне кажется, кроется в том, что эта теория везде предполагает уже существующим то положение вещей, на создание которого (или приближение к нему), согласно давнему, но более верному подходу, устремлен процесс конкуренции. И если бы допускаемое теорией совершенной конкуренции положение вещей существовало всегда, оно не только не оставило бы места всем видам деятельности, описываемым глаголом "конкурировать", но и сделало бы их, в сущности, невозможными.

Если бы дело касалось только употребления слова "конкуренция", это не имело бы серьезного значения. Но все выглядит так, как будто почти все экономисты из-за подобного специфического словоупотребления внушили самим себе и другим ложное представление, будто, рассматривая "конкуренцию", они что-то говорят о природе и значении процесса, с помощью которого возникает положение вещей, существование которого ими просто предполагается. Фактически же эта движущая сила экономической жизни почти не обсуждается.

Я не хочу сколько-нибудь подробно рассматривать здесь те причины, которые завели теорию конкуренции в столь курьезное положение. Как я говорил в других главах [см. вторую и четвертую главы], тавтологический метод, подходящий и незаменимый для анализа индивидуальных действий, в данном случае был, по-видимому, незаконно распространен на проблемы, где нам приходится иметь дело с некоторым социальным процессом, когда решения множества индивидов влияют друг на друга и неизбежно следуют друг за другом во времени. Экономический расчет (Чистая Логика Выбора), имеющий дело с проблемами первого рода, состоит из аппарата по классификации возможных человеческих установок (*attitudes*) и дает нам технику описания взаимосвязей различных частей одного плана. Его выводы подразумеваются его допущениями: желания и знание фактов, одновременное присутствие которых предполагается в каком-то одном

уме, предопределяют единственность решения. Отношения, рассматриваемые в анализе такого типа, есть логические отношения, касающиеся только выводов, которые для разума планирующего индивида вытекают из заданных предпосылок.

Однако, сталкиваясь с ситуацией, когда множество лиц пытаются разрабатывать свои разрозненные планы, мы не можем более предполагать, что данные одинаковы для всех этих планирующих умов. Проблема начинает касаться того, как "данные" различных индивидов, на основе которых они строят свои планы, приспособляются к объективным фактам из их окружения (включающего и действия других людей). И хотя при решении проблем этого типа мы все еще должны применять выработанную нами технику для быстрого выведения следствий из заданного набора данных, нам предстоит теперь иметь дело не просто с несколькими отдельными наборами данных различных лиц, но также -- а это куда важнее -- с процессом, обязательно включающим непрерывные изменения в данных у разных индивидов. Как я уже говорил ранее, причинный фактор входит сюда только тогда, когда речь заходит об обретении нового знания различными индивидами и об изменениях в имеющихся у них данных вследствие контактов между ними.

Связь всего этого с интересующей меня здесь проблемой станет очевидна, если вспомнить, что современная теория конкуренции имеет дело почти исключительно с состоянием, именуемым "конкурентным равновесием", когда предполагается, что данные разных индивидов полностью взаимосогласованы друг с другом, тогда как проблема, требующая объяснения, касается природы процесса, порождающего такое взаимосогласование данных. Иными словами, модель конкурентного равновесия даже не пытается говорить, что если мы обнаруживаем такие-то и такие-то условия, то из них будут вытекать такие-то и такие-то следствия, но ограничивается определением условий, в которых ее выводы уже неявно содержатся и которые предположительно могут существовать, но о которых она ничего не сообщает, как они вообще могли бы возникнуть. Или, предвосхищая в одной фразе наш главный вывод, конкуренция по своей природе есть динамический процесс, неотъемлемые особенности которого отбрасываются допущениями, лежащими в основании статического анализа.

2

То, что современная теория конкурентного равновесия допускает существование такого состояния, тогда как действительное объяснение должно показывать, как оно возникает в результате процесса конкуренции, лучше всего видно из знакомого списка условий, приводимого в любом современном учебнике. Большая часть этих условий, между прочим, не только лежит в основании анализа "совершенной" конкуренции, но и равно допускается при обсуждении разнообразных "несовершенных" или "монополистических" рынков, где на всем протяжении анализа предполагаются определенные нереалистические "совершенства" [в особенности предположения, что единая цена всегда должна быть правилом на всем рынке данного товара и что продавцам известна форма кривой спроса]. Однако для нашей непосредственной задачи теория совершенной конкуренции будет представлять наиболее поучительный случай.

Хотя разные авторы могут по-разному формулировать список важнейших условий совершенной конкуренции, приводимый мною перечень, вероятно, более чем достаточен для нашей задачи, поскольку, как мы убедимся, эти условия в действительности не существуют независимо друг от друга. Согласно общепринятой точке зрения, совершенная конкуренция предполагает:

1. Однородность товаров, которые предлагаются и на которые предъявляется спрос большим числом достаточно мелких продавцов и покупателей, однако никто из них не рассчитывает оказать своими действиями заметного влияния на цену.
2. Свободное вступление на рынок и отсутствие других ограничений на движение цен и ресурсов.

Полное знание значимых (relevant) факторов всеми участниками рынка.

На данной стадии мы не будем спрашивать, для чего именно требуются эти условия или что подразумевается, когда они принимаются как данные. Однако нам надо еще поинтересоваться их значением, обратившись для этого к третьему условию, являющемуся критическим и в то же время туманным. Обладание совершенным знанием обо всем, что влияет на рынок, всеми его участниками явно не может быть нормой. Я не буду вдаваться здесь в известный парадокс о парализующем воздействии, которое оказало бы на всю деятельность вообще совершенное знание и предвидение [см.: O.Morgenstern, "Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht", Zeitschrift f r National konomie, Vol. VI (1935)]. Очевидно, что ничего не решается, когда мы допускаем, что все знают всё, и что реальная проблема состоит в том, как можно достичь состояния, при котором будет использоваться максимально возможный объем имеющихся данных. Вопрос, встающий перед конкурентным обществом, заключается не в том, как мы можем "найти" людей, которые все знают лучше всех, но скорее в том, какое институциональное устройство необходимо для того, чтобы неизвестные лица, обладающие более всего подходящим для той или иной задачи знанием, с наибольшей вероятностью привлекались для ее решения. Нам, однако, надо еще спросить, какого рода знание, как предполагается, находится в распоряжении участников рынка.

Если мы рассмотрим рынок каких-то готовых потребительских товаров и начнем с положения их производителей, или продавцов, то обнаружим прежде всего, что производителям, как предполагается, известны самые низкие издержки, с которыми можно выпускать такой товар. Однако такое знание, предположительно являющееся данным, и составляет один из главных пунктов, где факты будут открываться только через процесс конкуренции. Мне представляется это одним из важнейших случаев, когда теория конкурентного равновесия уже в своей отправной точке отбрасывает главную задачу, решить которую способен только процесс конкуренции. Достаточно схожую позицию она занимает и по второму пункту, предполагая, что производители полностью информированы о стремлениях и желаниях потребителей, включая информацию о том, на какие виды товаров и услуг они предъявляют спрос, а также о ценах, какие они готовы уплачивать. Все это, строго говоря, нельзя считать данными фактами, а следует рассматривать как проблемы, подлежащие решению с помощью процесса конкуренции.

Аналогичная ситуация и с потребителями, или покупателями. Опять-таки неправомерно допускать, что знание, которым они предположительно должны обладать при конкурентном равновесии, находится в их распоряжении еще до начала процесса конкуренции. Их знание об имеющихся альтернативах есть результат того, что происходит на рынке, таких видов деятельности, как реклама и т.д. Вся организация рынка служит прежде всего потребности в распространении информации, на основании которой должен действовать покупатель.

Своеобразие допущений, с которых начинается теория конкурентного равновесия, проступит особенно отчетливо, если спросить, какие виды деятельности, к которым обычно прилагается глагол "конкурировать", окажутся еще возможны, если все эти условия будут удовлетворены. Стоит, вероятно, вспомнить, что, по д-ру Джонсону, конкуренция есть "старание получить то, что кто-то другой старается получить в это же

самое время". Так сколько же средств, служащих этим целям в повседневной жизни, еще останется продавцу на рынке, где господствует так называемая "совершенная конкуренция"? Я убежден, что ответ -- ровно ни одного. Реклама, сбивание цен и улучшение ("дифференциация") производимых товаров и услуг " все это исключено по определению; "совершенная" конкуренция и в самом деле означает отсутствие всякой конкурентной деятельности.

Особенно примечательно здесь явное и полное исключение из теории совершенной конкуренции всех личных отношений, существующих между участниками [ср. G.J.Stigler, *The Theory of Price* (1946), p. 24: "Экономические отношения никогда не бывают вполне конкурентными, если они включают какие-либо личные отношения между экономическими агентами" (см. также *ibid.*, p. 226)]. В реальной жизни наше неполное знание об имеющихся в наличии товарах и услугах компенсируется опытом общения с лицами или фирмами, поставляющими их, -- такая конкуренция во многом есть конкуренция ради поддержания репутации или демонстрации доброй воли, -- и это является одним из важнейших факторов, позволяющих нам решать свои повседневные проблемы. Функция конкуренции в этом случае состоит именно в том, чтобы показать нам, кто нас хорошо обслуживает: от какого бакалейщика или туристического агентства, какого универмага или отеля, какого врача или адвоката мы могли бы ждать наиболее удовлетворительного решения любой конкретной проблемы, с которой можем столкнуться. Очевидно, что во всех этих областях конкуренция может быть очень напряженной именно потому, что услуги различных фирм или лиц никогда не будут абсолютно одинаковыми. Благодаря именно такой конкуренции уровень нашего обслуживания может быть высок настолько, насколько это встречается в реальной жизни. Причины, по которым конкуренция в этой области считается несовершенной, не имеют в действительности никакого отношения к конкурентному характеру деятельности этих людей; они кроются в природе самих этих товаров или услуг. Если никакие два врача не являются абсолютно одинаковыми, это означает не то, что конкуренция между ними носит менее напряженный характер, но просто что никакая степень конкуренции между ними не даст точно таких же результатов, как это было бы в случае полного подобия их услуг. И дело тут не просто в словах. За разговорами о недостатках конкуренции, тогда как на самом деле речь должна идти о неизбежных различиях между товарами и услугами, кроется весьма серьезное смешение понятий, ведущее подчас к абсурдным выводам.

Хотя на первый взгляд предположение о совершенном знании, имеющемся в распоряжении участников, может показаться наиболее поразительным и искусственным из всех допущений, лежащих в основании теории совершенной конкуренции, на деле оно может быть не более чем следствием, частично даже оправданным, другой предпосылки, из которой она исходит. Если только мы начнем с допущения, что множество людей производят одинаковый товар и имеют в своем распоряжении одинаковые объективные средства и возможности для этого, тогда действительно может оказаться вероятным (хотя, насколько мне известно, попыток установить это никогда не предпринималось), что со временем они все придут к овладению большинством фактов, релевантных для вынесения оценок на рынке данного товара. Всякий производитель не только познает из опыта те же самые факты, что и любой другой, но также поймет, что известно его собратьям, а следовательно, узнает эластичность спроса на свой продукт. Ситуация, когда разные производители выпускают идентичный продукт в идентичных условиях, является действительно наиболее благоприятной для приведения их знаний в состояние, потребное для совершенной конкуренции. Для этого, по-видимому, достаточно, чтобы товары могли быть идентичными только в смысле, единственно значимом для понимания человеческой деятельности, то есть чтобы люди одинаково их воспринимали и, кроме того, чтобы возможно было обеспечить некий набор физических условий, благоприятствующих всем

тем, кто, будучи вовлечены в круг тесно взаимосвязанных видов деятельности, заняты выяснением фактов, релевантных для их решений.

Как бы то ни было, ясно, что обстоятельства не всегда будут настолько благоприятны для получения результата, достижимого в том случае, когда множество людей по крайней мере потенциально способны производить одинаковый товар. В общем-то представление об экономической системе, разделенной на различные рынки отдельных товаров, во многом есть плод воображения экономистов, и это, безусловно, не является правилом в обрабатывающей промышленности и сфере личных услуг, на которые так часто ссылались в спорах о конкуренции. В самом деле, вряд ли надо упоминать, что никакие изделия двух производителей никогда не бывают в точности одинаковыми -- хотя бы только потому, что, покинув завод, они должны оказаться в разных местах. Эти различия составляют часть фактов, создающих нашу экономическую проблему, и допущение, что они отсутствуют, не слишком помогает ее решению.

Убежденность в преимуществах совершенной конкуренции часто заставляет ее энтузиастов даже доказывать, что можно добиться лучшего использования ресурсов, если сузить существующее разнообразие продуктов путем обязательной стандартизации. Так вот, несомненно, во многих сферах есть что сказать в защиту вспомогательной стандартизации на основе согласованных рекомендаций или стандартов, которые должны применяться, если только контракты в явной форме не предусматривают иных условий. Однако это совершенно отличается от требований тех, кто считают, что надо пренебречь разнообразием людских вкусов и пресечь непрекращающееся экспериментирование с усовершенствованиями, дабы обрести преимущества совершенной конкуренции. Очевидно, что не произошло бы никакого улучшения, если бы все дома стали строить в точности одинаковыми, чтобы создать совершенный рынок жилья; то же верно и в отношении большинства других сфер, где различия между отдельными продуктами не дают конкуренции возможности вообще когда-либо стать совершенной.

3

Вероятно, мы больше узнаем о природе и смысле конкурентного процесса, если забудем на время об искусственных допущениях, лежащих в основе теории совершенной конкуренции, и спросим, будет ли конкуренция менее важна, если бы, например, никакие два товара никогда не были полностью одинаковыми. Если бы не сложности анализа подобной ситуации, стоило бы подробно рассмотреть случай, когда разные товары нельзя было бы легко расклассифицировать по отдельным группам и мы должны были бы иметь дело с непрерывным рядом близких заменителей, где каждая единица несколько отличалась бы от другой, но без каких-либо заметных разрывов в этом ряду. Результаты анализа конкуренции в такой ситуации имели бы во многих смыслах больше отношения к условиям реальной жизни, нежели конкуренции в какой-то одной отрасли, производящей однородный товар, резко отличный от всех прочих товаров. Или же, если случай, где никакие два товара не являются одинаковыми, представляется слишком крайним, мы могли бы обратиться хотя бы к ситуации, где никакие два производителя не выпускают в точности одинаковых товаров, что является правилом не только для всех личных услуг, но и для рынков многих товаров обрабатывающей промышленности, например рынков книг или музыкальных инструментов.

Для нашей нынешней задачи мне нет нужды предпринимать сколько-нибудь полный анализ рынков такого типа, но следует просто спросить, какой была бы на них роль конкуренции. Хотя результат был бы, конечно, неопределенным в весьма широких пределах, рынок все-таки породил бы набор цен, по которым каждый товар продавался

бы достаточно дешево, чтобы вытеснить близкие потенциальные заменители, -- и само по себе это вовсе не мелочь, если мы примем во внимание непреодолимые сложности создания хотя бы такой системы цен любым другим методом, помимо проб и ошибок на рынке, когда индивидуальные участники постепенно познают релевантные для них факты. Конечно, верно, что на таком рынке соответствия между ценами и предельными издержками следует ждать только в той мере, в какой эластичность спроса на отдельные товары приближается к условиям, предполагаемым теорией совершенной конкуренции, или в какой эластичность замещения между различными товарами приближается к бесконечности. Но все дело в том, что в данном случае абсолютно нелепо считать такой эталон совершенства желательным или ставить целью его достижение. Основой для сравнения при вынесении суждений о достижениях конкуренции не может служить ситуация, которая не согласуется с объективными фактами и которую нельзя создать никакими известными средствами. Это должна быть ситуация, которая сложилась бы, если бы конкуренции помешали действовать. Критерием должно быть не приближение к недостижимому и бессмысленному идеалу, а усовершенствование условий, которые существовали бы без конкуренции.

Как отличались бы условия в ситуации "свободной" в традиционном смысле конкуренции от условий, которые существовали бы, например, если бы только людям с лицензией от властей было разрешено производить определенные товары, или если бы цены устанавливались властями, или и то и другое вместе? Ясно, что не только не было бы никаких шансов на то, чтобы различные товары стали производить те, кто лучше всех знает, как это делать, и потому могут производить их с наименьшими издержками. Не было бы шансов и на то, чтобы все те вещи, которые понравились бы покупателям больше всего при наличии выбора, вообще стали производиться. Была бы очень слабая связь между наблюдаемыми ценами и наименьшим уровнем издержек, при котором кто-то мог бы производить эти товары. Действительно, альтернативы, между которыми могли бы выбирать как производители, так и потребители, то есть имеющиеся у них "данные", полностью отличались бы от тех, что они имели бы при конкуренции.

Реальная проблема состоит здесь не в том, получим ли мы данные товары и услуги при данных предельных издержках, но прежде всего в том, посредством каких товаров и услуг потребности людей могут быть удовлетворены с наименьшими затратами. Решение экономической проблемы общества в этом смысле есть всегда разведка, путешествие в неведомое, попытка открыть новые способы делать вещи лучше, чем их делали прежде. И так должно оставаться всегда, пока вообще есть какие-либо нерешенные экономические проблемы, поскольку все экономические проблемы порождаются непредвиденными изменениями, вызывающими необходимость адаптации. Новых решений требует только то, что мы не предвидели и к чему не подготовились. Если бы не нужны были никакие адаптации, если бы в какой-то момент мы поняли, что всякое изменение прекратилось и всё будет всегда идти точно так, как теперь, не осталось бы больше никаких требующих решения вопросов об использовании ресурсов.

Человек, который владеет исключительным знанием или мастерством, позволяющим ему снизить издержки производства товара на 50%, уже оказывает громадную услугу обществу, если приступает к его производству и снизит цену лишь на 25%, -- не только этим снижением цены, но и дополнительной экономией затрат. Но только благодаря конкуренции мы можем предполагать, что такая возможная экономия затрат будет достигаться. Даже если бы в каждом случае цены были достаточно низки для удержания в стороне производителей, не обладающих теми или иными сопоставимыми преимуществами, так что каждый товар производился бы настолько дешево, насколько это возможно, хотя при этом многие из них продавались бы по ценам значительно выше

издержек, даже такого результата, вероятно, нельзя было бы достичь никаким другим способом, кроме как разрешив действовать конкуренции.

4

То, что в реальных условиях едва ли когда-либо отыщется хотя бы пара производителей, находящихся в одинаковом положении, объясняется фактами, которые теория совершенной конкуренции отбрасывает, сосредоточиваясь на долгосрочном равновесии, которого никогда нельзя достичь в вечно меняющемся мире. В любой данный момент характер оборудования какой-либо конкретной фирмы всегда в значительной мере предопределен исторической случайностью, и проблема в том, как добиться наилучшего использования фирмой данного оборудования (а также приобретенных навыков ее работников), а не в том, как ей следовало бы поступать, если бы ей предоставили неограниченное время на приспособление к постоянным условиям. К проблеме наилучшего использования долговечных, но истощаемых ресурсов долгосрочная цена равновесия, которой призвана заниматься теория "совершенной" конкуренции, не имеет никакого отношения. Поглощенность этой моделью ведет к политическим выводам, которые в высшей степени ошибочны и даже опасны. Идея, что при "совершенной" конкуренции цены должны быть равны долговременным издержкам, часто приводит к одобрению таких антисоциальных поспешных требований, как требование "упорядоченной конкуренции", обеспечивающей справедливую прибыль на капитал, и уничтожения избыточных производственных мощностей. Энтузиазм по поводу совершенной конкуренции в теории на удивление часто совмещается с поддержкой монополии на практике.

Это, однако, лишь один из многих вопросов, где пренебрежение фактором времени бесконечно отдаляет теоретическую картину совершенной конкуренции от всего, что важно для понимания процесса конкуренции. Если мы представляем его себе, как и подобает, в виде последовательности событий, то становится еще более очевидно, что в реальной жизни в любой момент времени будет, как правило, только один производитель, изготавливающий определенное изделие с самыми низкими издержками и фактически продающий его по цене ниже издержек своего ближайшего конкурента, но которого при попытке увеличить свою долю рынка зачастую догонит кто-нибудь еще, кому в свою очередь помешает захватить весь рынок кто-то другой, и так далее. Ясно, что такой рынок никогда не будет в состоянии совершенной конкуренции, хотя конкуренция на нем может быть не только предельно интенсивной, но и служить важнейшим условием, благодаря которому изделие во всякое время будет поставляться потребителю настолько дешево, насколько этого можно достичь каким бы то ни было из известных нам методов.

Когда мы сравниваем "несовершенный" рынок, как этот, с относительно "совершенным" рынком, как, скажем, рынок зерна, нам легче выявить разграничение, лежащее в основе всех наших рассуждений, -- разграничение между основополагающими объективными фактами ситуации, которую нельзя изменить с помощью человеческой деятельности, и характером конкурентной деятельности, посредством которой люди приспособляются к ситуации. Там, где, как во втором случае, мы имеем высокоорганизованный рынок выпускаемого многими производителями полностью стандартизованного товара, есть мало нужды или простора для конкурентной деятельности, поскольку положение таково, что условия, порождаемые такой деятельностью, наличествуют уже с самого начала. Лучшие способы изготовления товара, его особенности и способы его употребления большую часть времени известны почти в равной степени всем участникам такого рынка. Информация о каком-либо серьезном изменении распространяется так быстро и приспособление к нему осуществляется так скоро, что мы обычно просто не обращаем

внимания на то, что происходит в этот короткий переходный период, и ограничиваемся сопоставлением двух положений почти-равновесия, существующих до и после него. Однако именно во время этих коротких и игнорируемых интервалов действуют и становятся видимыми силы конкуренции, и нам надо изучать события именно в этом промежутке, если мы хотим "объяснить" следующее за ним равновесие.

Только на рынке, где адаптация происходит медленно по сравнению со скоростью изменений, процесс конкуренции идет непрерывно. И хотя причина медленной адаптации может заключаться в слабости конкуренции, то есть в том, что существуют специфические препятствия к вступлению на рынок или другие факторы типа естественных монополий, медленная адаптация никоим образом не подразумевает непременно слабой конкуренции. Когда разнообразие близких заменителей велико и быстро меняется, так что требуется много времени на выяснение относительных достоинств имеющихся вариантов, или когда потребность в целом классе товаров или услуг возникает лишь с перерывами, через нерегулярные промежутки времени, адаптация должна быть медленной, даже если конкуренция сильна и активна.

Путаница между объективными условиями ситуации и характером человеческой реакции на нее, похоже, скрывает от нас то существенное обстоятельство, что конкуренция тем важнее, чем сложнее или "несовершеннее" объективные условия, в которых ей приходится действовать. Действительно, отнюдь не считая конкуренцию полезной только тогда, когда она "совершенна", я склонен утверждать, что она нигде так не необходима, как в тех сферах, где характер товаров или услуг в принципе не дает возможности создать совершенный рынок в теоретическом смысле. Неизбежные реальные несовершенства конкуренции являются аргументом против конкуренции не более, чем сложности в достижении идеального решения любой другой задачи -- аргументом против попыток вообще ее решать или плохое здоровье -- аргументом против здоровья.

В ситуации, при которой никогда нельзя иметь множество людей, предлагающих тот же самый однородный товар или услугу из-за вечно меняющегося характера наших потребностей и наших знаний или из-за бесконечного разнообразия человеческих навыков и способностей, условием идеального состояния не может считаться идентичность больших масс таких товаров и услуг. Экономическая проблема -- это проблема наилучшего использования имеющихся у нас ресурсов, а не проблема того, как нам следовало бы поступать, если бы ситуация отличалась от той, что есть на самом деле. Нет смысла говорить об использовании ресурсов, "как будто" совершенный рынок существует -- если это означает, что ресурсы должны были бы быть иными, чем они есть, -- или обсуждать, что сделал бы кто-нибудь, обладай он совершенным знанием, если наша задача -- обеспечить наилучшее использование знаний, которыми обладают реально существующие люди.

5

Аргумент в пользу конкуренции не опирается на условия, которые существовали бы, будь она совершенной. Хотя там, где объективные обстоятельства позволили бы конкуренции достичь совершенства, это тоже обеспечило бы наиболее эффективное использование ресурсов и хотя, следовательно, есть все основания для устранения созданных человеком препятствий на пути конкуренции, это не означает, что она не приводит к столь же эффективному использованию ресурсов, которого можно достичь любым из известных нам способов, и там, где в силу характера самой ситуации она вынуждена оставаться несовершенной. Даже там, где свободное вступление на рынок обеспечит лишь то, что в каждый момент времени все товары и услуги, на которые, имеясь они в наличии, будет

существовать эффективный спрос, станут реально производиться при наименьших из всех возможных в данной исторической ситуации текущих затратах ресурсов ["текущие" издержки в данном случае не включают в себя фактические затраты, совершенные в прошлом, но, разумеется, к ним относятся "издержки пользователя"], пусть даже цена, которую потребитель будет вынужден платить за них, окажется значительно выше издержек, лишь чуть-чуть уступая стоимости следующего наилучшего варианта удовлетворения его потребности, то и это, настаиваю я, намного больше, чем мы можем ждать от любой другой известной нам системы. Решающий момент опять-таки элементарен: почти невероятно, чтобы при отсутствии искусственных препятствий, которые создаются деятельностью государства и им же могут устраняться, какой-либо товар или услуга были доступны все время только по цене, при которой аутсайдеры, проникни они в эту сферу, могли бы рассчитывать на более чем нормальную прибыль.

Практический урок из всего этого, я думаю, состоит в том, что нам надо гораздо меньше беспокоиться, является ли конкуренция в том или ином случае совершенной, и гораздо больше -- есть ли там конкуренция вообще. Наши теоретические модели отдельных отраслей скрывают, что на практике гораздо более глубокая пропасть отделяет конкуренцию от ее отсутствия, чем совершенную конкуренцию от несовершенной. Однако общая тенденция в нынешних дискуссиях состоит в том, чтобы нетерпимо относиться к несовершенствам конкуренции и обходить молчанием ее недопущение. Мы можем, вероятно, еще больше узнать о действительном смысле конкуренции, изучая результаты, регулярно появляющиеся там, где конкуренция намеренно подавляется, чем сосредоточенно сравнивая недостатки реальной конкуренции с идеалом, не имеющим отношения к существующим обстоятельствам. Я специально говорю, "где конкуренция намеренно подавляется", а не просто "где она отсутствует", поскольку ее главные результаты обычно сказываются, пусть и медленнее, до тех пор, пока она полностью не подавлена с помощью или при попустительстве государства. Бедствия, являющиеся, как показывает опыт, регулярным следствием подавления конкуренции, находятся в иной плоскости, нежели те, что могут быть вызваны ее несовершенствами. То, что цены могут не соответствовать предельным издержкам, куда менее важно, чем то, что при утвердившейся монополии издержки, вероятно, будут намного выше, чем необходимо. С другой стороны, монополия, основанная на превосходстве в эффективности, приносит сравнительно небольшой вред, пока есть уверенность, что она исчезнет, как только кто-то еще достигнет более высокой эффективности в удовлетворении нужд потребителей.

В заключение я хочу вернуться на минуту к тому моменту, с которого начал, и вновь сформулировать главный вывод в более общем виде. По существу, конкуренция есть процесс формирования мнения: путем распространения информации она создает единство и согласованность экономической системы, что мы и подразумеваем, когда представляем ее себе как единый рынок. Она формирует мнения людей о том, что есть самое лучшее и самое дешевое, и все, что люди реально знают о шансах и благоприятных возможностях, им известно благодаря ей. Таким образом, это процесс, который включает непрерывное изменение данных и смысл которого, следовательно, должен оставаться полностью недоступным для теорий, принимающих эти данные как неизменные.

ГЛАВА VI. «СВОБОДНОЕ» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КОНКУРЕНТНЫЙ ПОРЯДОК

Изложение доклада, которым открылась дискуссия по обозначенной в его заголовке теме на конференции в Мон-Пелерин, Швейцария, в апреле 1947 г.

1

Если в последние несколько лет, то есть в течение периода, который только и интересует практических политиков, в подавляющей части мира почти наверняка продолжится движение к большему государственному контролю, то более, чем чем-либо иным, это объясняется отсутствием реальной программы или, я бы даже сказал, последовательной философии у противостоящих этому групп. Дело обстоит даже хуже, чем могло бы подразумевать просто отсутствие программы; это факт, что почти повсюду группы, претендующие на оппозицию социализму, поддерживают в то же время такие варианты политики, которые, если обобщить их основополагающие принципы, в не меньшей степени ведут к социализму, чем откровенно социалистические меры. Во всяком случае, достаточно оправданна насмешка, что многие из тех, кто претендует быть защитниками "свободного предпринимательства", на самом деле являются скорее защитниками привилегий и сторонниками государственных мер в их пользу, чем противниками любых привилегий. Отраслевой протекционизм, поддерживаемые государством картели и аграрная политика -- все то, за что выступают консервативные группы, не отличается принципиально от предложений по усилению государственного управления экономической жизнью, выдвигаемых социалистами. Убеждение консервативно настроенных интервенционистов в том, что они смогут удержать государственный контроль в одобряемых ими формах, является иллюзией. По крайней мере, в демократическом обществе, где действует принцип, согласно которому государство берет на себя ответственность за статус и положение конкретных групп, этот контроль неизбежно будет расширен для удовлетворения ожиданий и предрассудков широких масс. Надежды на возврат к более свободной системе нет, пока лидеры движения против государственного контроля не будут готовы сначала сами подчиниться той дисциплине конкурентного рынка, усвоить которую они призывают массы. На самом деле безнадежность перспектив на ближайшее будущее объясняется в основном тем, что нигде нет ни одной организованной политической группы, выступающей в поддержку подлинно свободной системы.

Более чем вероятно, что со своей точки зрения практические политики правы и что при нынешнем состоянии общественного мнения все иное было бы неосуществимо. Но то, что для политиков есть жесткие границы практической осуществимости, навязываемые общественным мнением, не должно становиться такими же границами для нас. Общественное мнение по этим вопросам -- это результат работы людей вроде нас, экономистов и политических мыслителей нескольких последних поколений, создавших политический климат, в котором должны действовать политики нашего времени. Я не часто соглашаюсь с покойным лордом Кейнсом, но он был глубочайшим образцом прав, так высказавшись о предмете, о котором его собственный опыт позволял ему судить с исключительной компетенцией: "...идеи экономистов и политических мыслителей -- и когда они правы и когда они ошибаются -- имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писателя, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей. Правда, это происходит не сразу, а по истечении некоторого

периода времени. В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию идей, после того как они достигли 25- или 30-летнего возраста, и поэтому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра и для зла" [J.M.Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (London, 1936), pp.383-84. (Рус. пер.: Кейнс Дж. М. Избранные произведения. М., "Экономика", 1993, с. 518.)].

Именно с этой долговременной точки зрения мы обязаны смотреть на стоящие перед нами задачи. Мы должны думать о мнениях, которые следует распространять, чтобы сохранить или восстановить свободное общество, а не о том, что практически осуществимо в данный момент. Мы должны освободиться от порабощения ходячими предрассудками, в котором пребывают политики, но в то же время здраво оценивать, чего можно надеяться достичь убеждением и просвещением. Хотя мы можем надеяться, что в отношении средств, которые нужно применять, и методов, которые нужно освоить, общественность до известной степени может быть восприимчивой к рациональным аргументам, нам, вероятно, следует признать, что многие из ее базовых ценностей и этических стандартов утвердились, по меньшей мере, на достаточно длительную перспективу, а в чем-то она вообще глуха к голосу разума. Отчасти наша задача может состоять и в том, чтобы даже здесь показывать, что цели, поставленные перед собой нашим поколением, несовместимы и противоречивы и что погоня за ними подвергнет опасности куда более важные ценности. Но мы, скорее всего, обнаружим также, что в некоторых случаях за последние сто лет определенные нравственные цели прочно укоренились и что для их удовлетворения в свободном обществе могут отыскаться подходящие приемы. Даже если нам и не следует полностью соглашаться с тем, какое значение получают сегодня некоторые из этих более новых ценностей, мы правильно сделаем, если предположим, что в будущем они еще долгое время будут направлять деятельность людей, и внимательнее присмотримся, какое место можно найти им в свободном обществе. Конечно, прежде всего я имею здесь в виду требования большей защищенности (*security*) и большего равенства. Я считаю, что в обоих случаях следует провести четкое разграничение, в каком смысле "защищенность" и "равенство" могут быть обеспечены в свободном обществе, а в каком -- нет.

И еще по одной причине, я думаю, нам надо обратить особое внимание на моральный настрой современного человека, если мы хотим суметь отвлечь его энергию от пагубных политических устремлений, которым он сейчас предан, и направить ее на новые усилия в поддержку индивидуальной свободы. Пока мы не сможем поставить определенной задачи для реформаторского рвения людей, пока мы не сможем указать -- в рамках программы ради свободы -- реформ, за которые смогут бороться люди бескорыстные, их моральный пыл наверняка будет использован против свободы. Вероятно, самая фатальная тактическая ошибка многих либералов XIX века заключалась в создании впечатления, что отказ от всякой вредной и ненужной деятельности государства есть вершина всей политической премудрости и что вопрос, как государство должно использовать те полномочия, в которых ему никто не отказывал, не выдвигает никаких серьезных и важных проблем, по которым могли бы поспорить разумные люди.

Конечно, это касается не всех либералов XIX века. Около ста лет назад Джон Стюарт Милль, тогда еще истинный либерал, совершенно безошибочно сформулировал одну из главных сегодняшних проблем. Он писал в первом издании своих "Основ политической экономии": "Принцип частной собственности еще никогда не был подвергнут справедливому испытанию ни в одной стране... Законы собственности все еще не

приведены в соответствие с теми принципами, на которых зиждется оправдание частной собственности. Законы эти обратили в собственность вещи, которые никак не следовало делать собственностью, и установили безусловную собственность на такие вещи, на которые должны существовать лишь ограниченные права собственности... если бы законодательство стремилось благоприятствовать диффузии, а не концентрации богатства -- стимулировать разделение больших масс богатства, а не стремиться предотвратить это дробление, -- тогда бы обнаружилось, что принцип частной собственности не имеет необходимой связи с теми материальными и социальными бедствиями, которые заставили столько умов с нетерпением хвататься за любую надежду облегчения, какой бы безрассудной она ни была" [Principles of Political Economy (1st ed.), Book II, chap. 1, " 5 (Vol. 1, p. 253). (Рус. пер.: Милль Дж. С. Основы политической экономии. М., "Прогресс", 1980, Т.1, сс. 349, 350 <с добавлениями>)]. Однако реально мало что было сделано, дабы правила частной собственности полнее соответствовали принципам, на которых зиждется ее оправдание, и сам Милль, как и многие другие, вскоре обратил свое внимание на схемы, предполагающие ее ограничение или упразднение, а не более эффективное ее использование.

Пусть и с некоторым преувеличением, но вместе с тем и не без основания можно было бы сказать, что трактовка фундаментального принципа либерализма как отсутствия деятельности государства, а не политики, сознательно выбирающей в качестве упорядочивающего начала конкуренцию, рынок и цены и использующей правовую рамку, поддерживаемую силой государства, для того, чтобы делать конкуренцию настолько эффективной и благотворной, насколько возможно, и чтобы дополнять ее там -- и только там! -- где сделать ее эффективной не удастся, в той же мере несет ответственность за упадок конкуренции, в какой и активная поддержка, которую правительства прямо и косвенно оказывали росту монополии. Первый общий тезис, который нам предстоит рассмотреть, в том и состоит, что с помощью определенных видов правительственной деятельности конкуренцию можно сделать более эффективной и благотворной по сравнению с тем, какой она была бы без них. Никто никогда и не отрицал этого в отношении некоторых направлений деятельности правительства, хотя кое-кто иногда начинает говорить так, как будто об этом забыл. Всегда считалось само собой разумеющимся, что функционирование рынка предполагает не только предотвращение насилия и мошенничества, но также защиту определенных прав, например прав собственности, и обеспечение выполнения договоров. Традиционные рассуждения становятся совершенно неудовлетворительными именно тогда, когда полагают, что с признанием принципов частной собственности и свободы контрактов, которые действительно каждый либерал должен признавать, все проблемы сняты, как будто имущественное право и договорное право даны раз и навсегда в своей окончательной и наиболее совершенной форме, то есть в такой форме, которая заставит рыночную экономику работать наилучшим образом. На деле же только после того, как мы достигли согласия по этим принципам, и начинаются настоящие проблемы.

Именно этот факт я и хотел подчеркнуть, назвав тему нашего обсуждения ""Свободное" предпринимательство и конкурентный порядок". Два этих понятия не обязательно обозначают одну и ту же систему, и мы выступаем за систему, обозначаемую вторым из них. Пожалуй, мне следует сразу добавить, что то, что я имею в виду под "конкурентным порядком", почти полностью противоположно тому, что часто именуют "упорядоченной конкуренцией". Цель конкурентного порядка -- заставить конкуренцию работать; цель так называемой "упорядоченной конкуренции" -- практически всегда ограничить действенность конкуренции. С этими пояснениями обозначение темы нашего обсуждения сразу же в равной мере отделяет наш подход как от подхода консервативных сторонников планирования, так и от подхода социалистов.

В этом предварительном обзоре я вынужден ограничиться перечислением главных проблем, которые нам предстоит обсудить, и оставить их более подробное рассмотрение тем, кто будет выступать позже. Возможно, мне следует начать с того, чтобы еще сильнее, чем раньше, подчеркнуть, что, хотя нашей главной заботой должно быть заставить рынок работать везде, где он может работать, нам не следует, конечно, забывать о следующем: в современном обществе есть значительное число необходимых служб, как, например, в санитарии и здравоохранении, деятельность которых, вероятно, не мог бы обеспечить рынок по той очевидной причине, что никакой цены с получателей их услуг взимать невозможно или, точнее, невозможно ограничить получение их услуг только теми, кто готов или может за это платить. Есть несколько очевидных примеров вроде только что упомянутых мной, но при более близком рассмотрении мы обнаружим, что в известной мере аналогичное положение постепенно и незаметно складывается и в тех сферах, где весь спектр оказываемых услуг может продаваться любому желающему их купить. Рано или поздно нам, конечно, придется выяснить, предоставления какого рода услуг вне рынка нам нужно всегда ожидать от правительств и насколько тот факт, что они призваны делать это, будет влиять на условия развития рыночной экономики.

2

Есть еще два ряда проблем, которые я должен упомянуть, больше касающиеся предварительных условий конкурентного порядка, чем того, что может быть названо собственно рыночной политикой. Во-первых, это вопрос о том, какая денежная и финансовая политика требуется для обеспечения надлежащей экономической стабильности. Мы все, вероятно, согласны с тем, что любое смягчение циклической безработицы зависит, по крайней мере частично, от денежной политики. Когда мы обратимся к этим проблемам, одной из наших главных забот должно будет стать то, насколько возможно, связав управление денежной сферой твердыми правилами, вновь сделать его автоматическим или по меньшей мере предсказуемым. Вторая крупная проблема, по которой нам придется дать какой-то ясный ответ, не вдаваясь пока в детали, состоит в следующем: в современном обществе мы должны считать само собой разумеющейся определенную поддержку безработных и не способных найти работу бедняков. Интерес здесь представляет не вопрос, желательна ли такая поддержка или нет, но лишь то, в какой форме она будет меньше всего мешать функционированию рынка.

Я упомянул эти вопросы главным образом для того, чтобы четко обозначить границы своей основной темы. Прежде чем перейти к беглому их обзору, которым мне и придется ограничиться, добавлю лишь, что мне представляется в высшей степени желательным, чтобы либералы сильно расходились во мнениях по этим предметам, и чем больше, тем лучше. Более, чем что-либо другое, нужно, чтобы эти вопросы политики для конкурентного порядка вновь стали актуальными и обсуждаемыми публично, и мы внесем важный вклад, если сумеем пробудить к ним интерес.

3

Если я не ошибаюсь, основные рубрики, под которыми целесообразно рассматривать меры, требуемые для обеспечения эффективного конкурентного порядка, таковы: законы о собственности и контрактах; о корпорациях и ассоциациях (включая, в частности, профессиональные союзы); политика по отношению к монополиям и квазимонополиям, которые оставались бы даже в рамках системы, устроенной в других отношениях разумным образом; проблемы налогообложения и проблемы международной торговли, в особенности -- в наше время -- отношений между свободными и плановыми экономиками.

Что касается огромного поля законов о собственности и контрактах, то, как я уже подчеркивал, прежде всего нам надо остерегаться той ошибки, что формулы "частная собственность" и "свобода договоров" решают все проблемы. Они не дают адекватных ответов, поскольку их смысл неоднозначен. Наши проблемы начинаются, когда мы спрашиваем, что должно быть содержанием прав собственности, какие договоры должны быть обеспечены правовой санкцией, как следует толковать контракты или, скорее, какие стандартные формы контракта должны "вчитываться" в неформальные соглашения при повседневных транзакциях.

Там, где затрагивается право собственности, нетрудно увидеть, что простые правила, подходящие для обычных движимых "вещей", или "движимости", не годятся для распространения на все что угодно. Стоит только обратиться к проблемам, возникающим по поводу земли, особенно же -- земельных участков в современных крупных городах, чтобы осознать, как рассыпается понятие собственности, основанное на предположении, что пользование определенным объектом собственности затрагивает только интересы его владельца. Не может быть сомнений в том, что по крайней мере многие из проблем, встающих при планировании современного городского хозяйства, -- это подлинные проблемы, которыми обязаны заниматься правительства и местные власти. Пока мы не сможем обеспечить в подобных областях определенных ориентиров относительно того, какие действия правительства являются легитимными или необходимыми и каковы их границы, мы не вправе сетовать, что наши взгляды не принимают всерьез, когда мы выступаем против других видов менее оправданного "планирования".

Проблема предотвращения монополизации и сохранения конкуренции стоит намного более остро в некоторых других областях, на которые понятие собственности было распространено лишь недавно. Я имею здесь в виду распространение понятия собственности на такие права и привилегии, как патенты на изобретения, авторское и издательское право, товарные знаки и тому подобное. Мне кажется несомненным, что в этих областях рабское применение понятия собственности, как оно было разработано для материальных вещей, во многом поощрило рост монополий и что здесь могут понадобиться коренные реформы, чтобы заставить конкуренцию работать. В сфере промышленных патентов, в частности, нам надо серьезно исследовать, является ли выдача монопольной привилегии действительно наиболее подходящей и эффективной формой вознаграждения за несение особого рода риска, связанного с инвестициями в научные исследования.

Пожалуй, патенты представляют для нас особый интерес, потому что дают предельно ясный пример, насколько необходимо во всех подобных случаях не применять готовых формул, а возвращаться к рациональному обоснованию (*rationale*) рыночной системы как таковой и по каждому классу ситуаций решать, каковы должны быть точные права, которые правительству надлежит защищать. Это задача по меньшей мере как для экономистов, так и для юристов. Надеюсь, я не потрачу ваше время зря, если поясню, что имею в виду, процитировав одно довольно известное дело, по которому рассматривавший его американский судья дал следующее разъяснение: "на обвинение, что конкурентам было отказано в пользовании патентом, мы отвечаем, что такой отказ составляет, можно сказать, самую суть права, которое дается обладанием патентом", добавив: "поскольку использовать или не использовать собственность есть привилегия всякого собственника безотносительно к его мотивам" [*Continental Bag Co.v. Eastern Bag Co.*, 210 U.S.405 (1909)]. Мне представляется, что именно это последнее заявление является знаменательным для того пути, по которому шло механическое распространение юристами понятия собственности, сделавшее столь много для создания нежелательной и вредной привилегии.

Другая область, где механическое распространение упрощенного понятия частной собственности дало нежелательные результаты, это товарные знаки и фирменные наименования. Сам я не сомневаюсь в том, что перед законодательством стоят важные задачи в этой области и что обеспечение адекватной и правдивой информацией, касающейся происхождения любого продукта, всего лишь один из аспектов данного вопроса. Однако исключительный упор на указании имени производителя и пренебрежение аналогичными требованиями в отношении характера и качества товара в известной мере способствовали созданию монополистических условий, поскольку товарные знаки стали использоваться как обозначения целых категорий товаров, которые, получается, имеют право производить только владельцы соответствующих товарных знаков ("Кодак", "Кока-Кола"). Эту сложность можно было бы разрешить, если бы, например, защищались только товарные знаки, представляющие собой описательные наименования, воспользоваться которыми каждый мог бы бесплатно.

Весьма сходно положение и в области контрактов. Мы не можем считать принцип "свободы контрактов" действительным ответом на наши проблемы, если знаем, что не все договоры должны быть обеспечены правовой санкцией, и фактически вынуждены доказывать, что договоры, предусматривающие "ограничения конкуренции", не должны подлежать исполнению в принудительном порядке (not to be enforced). Как только мы распространяем право заключения договоров с физических лиц на корпорации и т.п., уже не договор, а закон должен решать, кто несет ответственность и как должна определяться и охраняться собственность при ограниченной ответственности корпорации.

"Свобода контрактов" на самом деле не является решением, поскольку в сложном обществе, как наше, никакой договор не может в явной форме предусмотреть все меры против любых непредвиденных обстоятельств, и потому суды и законодатели вырабатывают стандартные типы многоцелевых контрактов, которые, похоже, не только оказываются исключительно практичными и доступными для понимания, но и предопределяют интерпретацию любых возможных договоров и применяются для заполнения остающихся в них лакун. Никогда не существовало и, вероятно, не может существовать правовой системы, которая полностью предоставляла бы определение договорных обязательств того рода, на которых зиждется порядок общества, вечно новым решениям договаривающихся сторон. Здесь, как и в случае с собственностью, точное содержание стабильной правовой рамки, норм гражданского права, чрезвычайно важно для того, каким образом станет действовать конкурентный рынок. Степень развития гражданского права, равно как и дополненного законодательством прецедентного права (там, где оно есть), может предопределить развитие в сторону конкурентной системы или от нее. Насколько эволюция гражданского права определяется господствующими идеями относительно желательного общественного порядка, прекрасно иллюстрируется развитием в течение последних пятидесяти лет законодательства и судебных решений о картелях, монополии и ограничении конкуренции в целом. Мне кажется, невозможно усомниться в том, что это развитие даже там, где оно полностью сохраняло принцип "свободы контрактов", а частично именно поэтому, сильнее всего способствовало упадку конкуренции. Однако мало интеллектуальных усилий направлялось на решение вопроса, каким образом следует модифицировать эту правовую рамку, чтобы сделать конкуренцию более эффективной.

Корпоративное право, особенно в части, касающейся ограниченной ответственности, конечно, является основной сферой, где возникают такие проблемы, и его развитие наиболее показательное для этой тенденции. Я не думаю, что есть серьезные сомнения, что

утвердившаяся здесь форма законодательства во многом способствовала росту монополий или что только благодаря предоставлению специальными законами особых прав -- не столько самим корпорациям, сколько тем, кто имеет с ними дело -- размеры предприятия превратились в преимущество, выходящее за пределы технологически оправданного. Мне кажется, что, в общем, никоим образом не следует доводить дело до предоставления всех индивидуальных свобод организованным группам индивидов и что иногда даже долг государства в том и состоит, чтобы защищать индивида от организованных групп. Дело обстоит так, как если бы в сфере корпоративного права мы уже раньше получили ситуацию, во многом аналогичную сложившейся в области имущественного права, о которой я говорил выше. В имущественном праве нормы, разработанные для обычного движимого имущества, были слепы и без необходимых модификаций распространены на все виды новых прав; точно так же в итоге признания корпораций фиктивными, или юридическими, лицами на них автоматически были распространены все права лиц физических. Могут быть веские аргументы в пользу такого построения корпоративного права, которое сдерживало бы неограниченный рост отдельных корпораций. И пути решения этой задачи без установления каких-либо жестких границ и без нежелательного предоставления государству полномочий на прямое вмешательство " это одна из наиболее интересных проблем, которую нам стоило бы обсудить.

5

До сих пор я намеренно говорил только о том, что требуется для повышения эффективности конкуренции среди предпринимателей не потому, что придаю этому столь исключительную важность, но потому, что я убежден: пока сами предприниматели не продемонстрируют веру в конкуренцию и готовность привести свой дом в порядок, политически нет шансов сделать что-либо с ее участниками на другой стороне. Однако мы не должны обманываться в том, что во многом наиболее критическая, наиболее трудная и наиболее деликатная часть нашей работы состоит в формулировании надлежащей программы трудовой, или профсоюзной, политики. Я считаю, что ни в каком другом отношении развитие либеральных взглядов не было столь непоследовательным и столь неудачным, столь неопределенным и туманным даже среди нынешних истинных либералов. Исторически либерализм слишком долго исходил сперва из неоправданной установки на противодействие профсоюзам как таковым с тем только, чтобы в начале века потерпеть в этом полный крах, предоставив профсоюзам привилегии, во многом выводящие их из-под действия обычного права, и даже легализовав фактически насилие, принуждение и запугивание. Если мы надеемся на возврат к свободному обществу, вопрос о том, как можно надлежащим образом определить границы власти профсоюзов как законодательно, так и на практике, должен быть для нас важнейшим. В ходе своего выступления я уже не раз испытывал искушение напомнить вам о работах покойного Генри Саймонса, однако сейчас я хочу специально привлечь ваше внимание к его "Размышлениям о синдикализме", где он ставит эту проблему с редкой ясностью и прямоотой [Henry C. Simons, "Some Reflections on Syndicalism", *Journal of Political Economy*, LII (March, 1944), 1--25; перепечатано в его *Economic Policy for a Free Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1948), pp. 121--58].

В последнее время она стала, конечно, еще острее благодаря тому, что многие правительства приняли на себя ответственность за так называемую "полную занятость", со всеми вытекающими отсюда последствиями. Теперь я не вижу, как мы можем, дойдя до этих проблем, отделять их далее от более общих вопросов денежной политики, которые я, пока это было возможно, предлагал рассматривать самостоятельно. Так же обстоит дело с еще одним кругом важных проблем, которые я могу сейчас лишь кратко упомянуть, -- международной торговли, тарифов, валютного контроля и т.п. Хотя наша долговременная

позиция во всех этих вопросах не должна вызывать сомнений, но в ближайшей перспективе здесь, безусловно, возникают реальные трудности. Однако нам, вероятно, лучше оставить их в стороне, как относящиеся к сфере скорее текущей политики, нежели долговременных принципов. Так же, боюсь, придется поступить с еще одной упоминавшейся мною проблемой -- об отношениях между свободными и плановыми экономиками.

6

Если я хочу ограничиться перечислением основных проблем, мне следует поторопиться с заключением и лишь мельком коснуться еще одной широкой области -- налогообложения. Конечно, сама по себе она необъятна. Я хочу выделить здесь только два пункта. Первый -- это действие прогрессивного налогообложения на том его уровне, которого оно сейчас достигло и который служит чисто эгалитаристским целям. Два последствия этого представляются мне чрезвычайно серьезными: с одной стороны, такая система налогообложения способствует социальной неподвижности, делая практически невозможным для преуспевающего человека подняться вверх, накопив богатство, а с другой, она почти уничтожила наиболее важный элемент всякого свободного общества -- независимого человека с собственными средствами, фигуру, чью незаменимую роль в поддержании свободного мнения и общей атмосферы независимости от государственного контроля мы начинаем осознавать, только когда он исчезает со сцены. Аналогичные критические замечания можно высказать и по второму пункту -- о современной системе налогообложения наследства и, в частности, налогах при наследовании недвижимости в том их виде, в каком они действуют в Великобритании. Однако, упоминая об этом, я сразу должен добавить, что налоги на наследство можно было бы, конечно, сделать инструментом достижения большей социальной мобильности и более широкого рассредоточения собственности, что, соответственно, можно было бы считать важными орудиями истинно либеральной политики, которую не следует осуждать за возникшие здесь злоупотребления.

Есть множество других важных проблем, которые я даже не упомянул. Но я надеюсь, что сказанного мною достаточно для обозначения той области, которую я имел в виду, предлагая на обсуждение настоящую тему. Эта область слишком широка, чтобы охватить ее полностью и во всех деталях, даже если бы в нашем распоряжении было намного больше времени. Но, как я уже говорил, надеюсь, что наша дискуссия будет только началом и что не имеет большого значения, с чего именно мы начнем.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ (I): ХАРАКТЕР И ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ

Перепечатано из *Collectivist Economic Planning*, ed. F.A.Hayek (London: George Routledge & Sons, Ltd., 1935).

1

Есть все основания полагать, что мы наконец входим в эру аргументированного обсуждения того, что долгое время некритически считалось реорганизацией общества на рациональной основе. Более полувека шло непрерывное распространение веры в сознательное регулирование всех общественных дел, которое непременно окажется более успешным, чем кажущееся случайным взаимодействие независимых индивидов. В итоге сегодня вряд ли где-либо в мире есть политическая группа, не выступающая, в стремлении к той или иной цели, за централизованное руководство большинством видов человеческой деятельности. Казалось, что так легко улучшить институты свободного общества, которые все больше и больше начинали считать результатом простой случайности, продуктом своеобразного исторического развития, которое вполне могло бы принять иное направление. Внести порядок в этот хаос, приложить разум к организации общества и сформировать его сознательно, во всех деталях, в соответствии с человеческими желаниями и общими идеями справедливости -- это представлялось единственной линией действий, достойной разумного существа.

Однако в наши дни уже ясно " и это, по-видимому, признали бы все стороны, -- что в течение основного периода, когда шло нарастание этой веры, некоторые из наиболее серьезных проблем предполагавшейся реорганизации не были даже осознаны, не говоря уже об успешном их разрешении. Многие годы обсуждение социализма -- а на протяжении большей их части движение в пользу сознательного руководства обществом выросло исключительно из социализма в собственном смысле слова -- было почти полностью сосредоточено на этических и психологических аспектах. С одной стороны, существовал общий вопрос, требуют ли соображения справедливости реорганизации общества по социалистическим схемам и какие принципы распределения дохода следует рассматривать как справедливые. С другой стороны, оставался вопрос, можно ли быть уверенными, что люди вообще обладают теми моральными и психологическими качествами, которые смутно представлялись необходимыми для работы социалистической системы. Однако, хотя этот последний вопрос вызывает некоторые реальные трудности, он фактически не затрагивает самой сути проблемы. Если о чем и спрашивали, то только о том, будут ли власти нового государства в состоянии заставить людей должным образом осуществлять их планы. Под сомнение ставилась лишь практическая вероятность выполнения планов, но не сама возможность достижения планированием желательных целей даже в том идеальном случае, когда такого рода трудности отсутствовали бы. Представлялось, таким образом, что проблема касается только психологии или обучения, где "только" означает, что после начальных трудностей эти препятствия, конечно же, будут преодолены.

Если бы все обстояло так, тогда экономистам нечего было бы сказать об осуществимости подобных предложений, да и в самом деле трудно себе представить какую бы то ни было научную дискуссию об их достоинствах. Это было бы проблемой этики или скорее индивидуальных ценностных суждений, где разные люди могли бы спорить или соглашаться, но где невозможно было бы применять рациональные аргументы. Некоторые вопросы оставались бы для решения психологу, если у него действительно есть какой-то способ сказать, что будут представлять собой люди в абсолютно других обстоятельствах.

Кроме этого ни один ученый, тем паче экономист, не мог бы что-либо сказать о проблемах социализма. Многие люди, веря в то, что знание экономиста применимо только к проблемам капиталистического общества (то есть к проблемам, вырастающим из своеобразных человеческих институтов, которые отсутствовали бы в мире, организованном на иных принципах), до сих пор считают, что это именно так.

2

Не всегда очевидно, основано ли столь широко распространенное мнение на твердом убеждении, что в социалистическом мире не было бы никаких экономических проблем, или же оно просто показывает, что придерживающиеся его люди не знают, что такое экономические проблемы. Вероятно, чаще всего справедливо последнее. И это вовсе не удивительно. Крупные экономические проблемы, которые видит экономист и которые, утверждает он, придется решать и в коллективистском обществе, это не те проблемы, какие в настоящее время сознательно решаются каждым, то есть не экономические проблемы домашнего хозяйства. В чисто конкурентном обществе каждого волнуют только его собственные экономические проблемы. Вследствие этого нет причин, почему экономические проблемы в понимании экономиста должны быть известны другим. Однако общество точно так же, как и индивид, должно распределять имеющиеся ресурсы между различными вариантами их употребления, что и составляет экономическую проблему; и хотя ответ на нее никем сознательно не дается, конкурентный механизм обеспечивает все же какой-то способ ее решения.

Несомненно, если выразить это в столь общем виде, то все с готовностью согласились бы, что такая проблема существует. Но лишь немногие осознают, что она коренным образом отличается не только по трудности, но и по характеру от проблем инженерного типа. Растущая озабоченность современного мира техническими проблемами не позволяет увидеть абсолютно иной характер экономической проблемы и, вероятно, является основной причиной того, что ее природа понимается все меньше. В то же время обыденное словоупотребление, используемое при обсуждении проблем как одного, так и другого типа чрезвычайно усилило путаницу. Знакомая всем фраза о "стремлении достигать наилучших результатов при данных средствах" приложима к обеим проблемам. Металлург, ищущий метод получения максимального выхода металла из данного количества руды; военный инженер, пытающийся в кратчайший срок возвести мост с данным количеством людей; оптик, дерзающий создать телескоп, который позволит астрономам добраться до еще более отдаленных звезд, " все они заняты исключительно техническими проблемами. Общий характер этих проблем предопределен тем, что в каждом случае имеется единственная задача, абсолютная заданность целей, на которые должны быть употреблены доступные средства. Если такие средства представляют собой фиксированное количество денег, которые должны быть истрачены на производственные факторы при данных ценах, это также не меняет фундаментального характера проблемы. С этой точки зрения заводского инженера, выбирающего лучший способ производства данного товара на основе данных цен, интересуют только технические проблемы, хотя он может сказать, что старается найти самый экономичный способ. Однако единственный элемент, который делает его решение экономическим по последствиям, это не какая-то часть его расчетов, а тот факт, что он использует как основу для своих расчетов цены, как они устанавливаются рынком.

Проблемы, с которыми пришлось бы столкнуться руководителю всей экономической деятельности общества, только в том случае были бы похожи на те, что решает инженер, если бы иерархия различных потребностей общества по их важности была установлена таким однозначным и абсолютным образом, что всегда обеспечивала бы средства для

самой первой из них, невзирая на затраты. Если бы он мог решить сначала, как лучше всего удовлетворить наиболее важную потребность -- скажем, произвести необходимое количество продовольствия, -- как если бы эта потребность была единственной, и думать о снабжении одеждой только в том случае, если и когда для этого оставались бы средства после полного удовлетворения нужд в продовольствии, тогда никакой экономической проблемы не возникало бы: ведь в этом случае осталось бы только то, что не могло использоваться для первой цели -- то ли потому, что это нельзя было превратить в продовольствие, то ли потому, что оно было уже больше не нужно. Критерий был бы прост: произведено ли максимально возможное количество продовольствия и не могло ли применение иных методов дать его больше. Однако задача потеряет свой чисто технический характер и станет по природе совершенно иной, если условием будет поставлено, чтобы по возможности больше ресурсов было оставлено для других целей. Тогда возникает вопрос, что это такое -- большее количество ресурсов. Если один инженер предлагает метод, оставляющий для иных целей много земли, но совсем мало рабочей силы, тогда как другой инженер " метод, оставляющий много рабочей силы и мало земли, то как можно решить при отсутствии какого-либо эталона для оценки, что считать большим количеством? При наличии только одного фактора производства это можно было бы однозначно определить чисто технически, потому что тогда главная проблема по всем направлениям производства вновь свелась бы к получению максимального объема продукции от данного количества одинаковых ресурсов. Оставшаяся экономическая проблема -- сколько производить по каждому направлению -- была бы в этом случае крайне простой и малозначащей. Такая возможность, однако, исчезает, как только появляются два или более факторов.

Экономическая проблема, следовательно, возникает, как только различные цели начинают конкурировать за имеющиеся ресурсы. Признаком ее присутствия является то, что издержки приходится принимать в расчет. Издержки в данном случае, как и всегда, означают просто выгоды, которые были бы извлечены при использовании данных ресурсов в иных целях. Не имеет большого значения, будет ли это просто использование части рабочего дня для восстановления сил или использование материальных ресурсов для производства какой-то другой продукции. Ясно, что такие решения должны будут приниматься в экономической системе любого мыслимого рода, где бы ни приходилось человеку выбирать между альтернативными употреблением ресурсов. Однако выбор между возможными альтернативами их использования нельзя осуществлять таким безусловным образом, как в приведенном выше примере. Даже если руководитель экономической системы был бы совершенно уверен, что пища для одного человека всегда важнее, чем одежда для другого, это никоим образом не означает, что оно также более важно, чем одежда для двух или десяти других людей. Если мы посмотрим на менее элементарные нужды, становится ясно, насколько этот вопрос является критическим. Вполне может быть, что, хотя потребность в лишнем враче сильнее потребности в лишнем учителе, все же при условиях, когда подготовить лишнего врача стоит в три раза дороже, чем лишнего учителя, может оказаться, что три учителя предпочтительнее одного врача. Как уже говорилось, то, что при нынешнем порядке вещей такие экономические проблемы не решаются с помощью чьей-либо сознательной воли, приводит к тому, что большинство людей не осознает их существования. Решения о том, когда и сколько производить, " это экономические решения в строгом смысле. Однако принятие такого решения (decision) отдельным индивидом есть только часть решения (solution) экономической проблемы. Принимающий такое решение человек принимает его на основе данных цен. Тот факт, что своим решением он в определенной, возможно, очень малой степени влияет на эти цены, не окажет воздействия на его выбор. Другая часть проблемы решается функционированием системы цен. Но она решается способом, выявляемым лишь при систематическом изучении работы такой системы. Уже высказывалась мысль,

что для работы этой системы совершенно необязательно, чтобы кто-либо ее понимал. Но люди вряд ли дадут ей работать, если не будут ее понимать.

Реальное положение дел здесь хорошо отражено в расхожих оценках сравнительных достоинств экономиста и инженера. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что для большинства людей инженер -- это человек, который действительно делает дело, а экономист -- это гнусный субъект, который, сидя в своем кресле, разглагольствует, почему усилия инженера, предпринимаемые из самых лучших побуждений, идут прахом. И в известном смысле это не так уж далеко от правды. Но абсурдно думать, что силы, которые экономист изучает и которым инженер, скорее всего, не придает значения, действительно не важны и на них не надо обращать внимания. Требуется специальная подготовка экономиста для того, чтобы увидеть, как спонтанные силы, ограничивающие амбиции инженера, сами обеспечивают способ решения проблемы, которую иначе пришлось бы решать сознательно.

3

Помимо заметно возросшей сложности современной техники производства есть, однако, другие причины нашего сегодняшнего неумения замечать существование экономических проблем. Так было не всегда. В течение сравнительно короткого периода в середине прошлого века широкая публика видела и понимала экономические проблемы, несомненно, намного лучше, чем теперь. Но классическая система политической экономии, чье необычайное влияние способствовало такому пониманию, опиралась на ненадежные и частично на явно ложные основания; она достигла своей популярности ценой свехупрощения в некоторых вопросах, оказавшегося губительным. И лишь много позднее, после того, как ее учение утратило свое влияние, постепенная перестройка экономической теории показала, что недостатки основных понятий классической политической экономии обесценили ее объяснение функционирования экономической системы в гораздо меньшей степени, чем это казалось вначале. Но в этот промежуточный период был нанесен непоправимый ущерб. Падение классической системы привело к дискредитации самой идеи теоретического анализа и была предпринята попытка заменить простым описанием экономических явлений понимание их причин. Вследствие этого было утрачено достижение целых поколений ученых -- понимание природы экономической проблемы. Интересовавшиеся еще общим анализом экономисты были слишком озабочены восстановлением чисто абстрактных основ экономической науки, чтобы оказывать заметное влияние на мнения относительно политики.

В основном из-за этого временного затмения аналитической экономической теории реальные проблемы, связанные с проектами плановой экономики, на удивление мало исследовались. Однако это затмение никоим образом не было обусловлено только врожденной слабостью старой экономической науки и проистекавшей отсюда потребностью в перестройке общей теории. Оно и не имело бы такого эффекта, если бы не совпало с подъемом другого движения, определенно враждебного рациональным методам в экономической науке. Была общая причина, одновременно подрывавшая позиции экономической теории и усиливавшая рост школы социализма; она определенно отбивала охоту к любым размышлениям о реальном функционировании общества будущего. Этой причиной стал подъем так называемой исторической школы в экономической науке [некоторые моменты, которых я могу здесь лишь коснуться, я развил более полно в своем обращении "Направление развития экономической мысли" (Economica, May, 1933)], суть ее точки зрения состояла именно в том, что установить экономические законы можно только путем применения к историческому материалу методов естественных наук. Но природа этого материала такова, что любая попытка подобного рода обречена

вырождаться в голый протокол, описательство и полный скептицизм относительно существования каких-либо законов вообще.

Нетрудно понять, почему так должно было случиться. Во всех науках, кроме имеющих дело с общественными явлениями, опыт показывает нам только результат процессов, которые мы не можем непосредственно наблюдать и в реконструировании которых состоит наша задача. Все наши заключения относительно природы этих процессов по необходимости гипотетичны, и единственная проверка справедливости таких гипотез сводится к тому, что они оказываются равно применимы к объяснению других явлений. Что позволяет нам прийти таким индуктивным путем к формулированию общих законов или гипотез, касающихся причинной обусловленности, так это то, что возможность экспериментирования, наблюдения за повторением одних и тех же явлений при идентичных условиях, выявляет существование определенных регулярностей в отслеживаемых явлениях.

Однако в общественных науках положение прямо противоположно. С одной стороны, эксперимент невозможен и, следовательно, мы не располагаем сведениями о четких регулярностях в сложных явлениях, как в естественных науках. Но, с другой стороны, положение человека посередине между естественными и социальными явлениями -- по отношению к первым он есть следствие, а по отношению ко вторым -- причина -- приводит к тому, что важнейшие опорные факты, нужные нам для объяснения социальных явлений, частью принадлежат к общему опыту, а частью к "материи" нашего мышления. В общественных науках именно элементы сложных явлений известны абсолютно бесспорно. В естественных науках о них в лучшем случае можно только высказывать догадки. Существование таких элементов настолько достовернее, чем любые регулярности в порождаемых ими сложных явлениях, что именно они и составляют подлинно эмпирический фактор в общественных науках. Вряд ли можно сомневаться, что серьезная путаница, касающаяся логической природы двух групп дисциплин, связана именно с тем, что в их доказательствах эмпирический элемент занимает разное место. Бесспорно, что и общественные и естественные науки должны пользоваться дедуктивными умозаключениями.

Существенное различие между ними состоит в том, что в естественных науках процесс дедукции должен начинаться с какой-то гипотезы, являющейся результатом индуктивных обобщений, тогда как в общественных науках он начинается прямо с известных эмпирических элементов и использует их для отыскания в сложных явлениях регулярностей, которые непосредственными наблюдениями установить невозможно. Они представляют собой, так сказать, эмпирико-дедуктивные науки, продвигающиеся от известных элементов к закономерностям в сложных явлениях, которые не могут быть прямо установлены. Однако здесь не место для обсуждения вопросов методологии ради них самих. Нам требуется только показать, как получилось, что в эпоху великих триумфов эмпиризма в естественных науках была сделана попытка навязать те же эмпирические методы общественным наукам, которая неминуемо должна была привести к катастрофе. Начинать в этой области не с того конца, искать регулярности в таких сложных явлениях, которые никогда нельзя встретить дважды в одинаковых условиях, не могло привести ни к чему иному, кроме как к выводу, что нет никаких общих законов, никаких внутренних необходимых связей, обусловленных неизменным характером составных элементов, и что единственной задачей -- в особенности экономической науки -- является описание исторических изменений. Только из-за этого отказа от подходящих методов анализа, вполне устоявшихся в классический период, стало считаться, что в общественной жизни нет других законов, кроме сотворенных человеком, и что все наблюдаемые явления представляют собой просто продукт социальных или правовых институтов, всего лишь

"исторические категории", и никоим образом не проистекают из основополагающих экономических проблем, с которыми приходится сталкиваться человечеству.

4

В сущности, наиболее мощная школа социализма из всех, что до сих пор видел мир, во многих отношениях является детищем подобного рода историцизма. Хотя Карл Маркс в чем-то усвоил инструментарий экономистов-классиков, он почти не использовал их главное достижение на все времена -- анализ конкуренции. Зато он всей душой принял центральное положение исторической школы о том, что большинство феноменов экономической жизни являются не результатом постоянно действующих причин, но всего лишь продуктом специфического исторического развития. Не случайно, что Германия, где историческая школа пользовалась широчайшей популярностью, была также и страной, где с наибольшей готовностью приняли марксизм.

Тот факт, что наиболее влиятельная школа социализма была так тесно связана с общими антитеоретическими тенденциями в общественных науках, со временем оказал глубочайшее воздействие на все дальнейшее обсуждение реальных проблем социализма. Весь этот подход не только породил характерную неспособность увидеть хоть какую-то из постоянно существующих экономических проблем вне конкретных исторических рамок, но Маркс и марксизм вполне последовательно продолжали всячески отбивать охоту к исследованию реальной организации и функционирования социалистического общества будущего. Если изменение должно быть вызвано неумолимой логикой истории, если оно является неизбежным результатом эволюции, тогда мало нужды в подробном знании о том, каким именно будет новое общество. Если почти все факторы, определяющие экономическую активность в нынешнем обществе, будут отсутствовать, если в новом обществе не будет никаких проблем, кроме обусловленных новыми институтами, созданными в процессе исторических преобразований, тогда действительно вряд ли возможно решить какую-либо из проблем социалистического общества заранее. Сам Маркс встречал только презрением и насмешкой любую попытку сознательно построить рабочий план такой утопии. Только иногда, и то в негативной форме, мы встречаем в его работах заявления о том, на что не будет похоже это новое общество. Тщетно искать в его писаниях какую-либо определенную формулировку общих принципов, которыми будет направляться экономическая деятельность в социалистическом сообществе. [Полезное собрание разрозненных замечаний по этой проблеме из работ Маркса, особенно из "Критики Готской программы", можно найти в книге: K.Tisch: *Wirtschaftsrechnung und Verteilung im zentralistisch organisierten sozialistischen Gemeinwesen* (1932), pp. 110--115.].

Позиция Маркса по этому вопросу долго воздействовала на социалистов его школы. Строить предположения о реальной организации социалистического общества значило для незадачливого автора немедленно заработать клеймо "ненаучности", самого страшного обвинения, которому мог подвергнуться член "научной" школы социализма. Но даже за пределами лагеря марксистов общее происхождение всех современных разновидностей социализма от некоего, по сути исторического, или "институционального", взгляда на экономические явления привело к успешному удушению всех попыток рассмотреть проблемы, которые пришлось бы решать социалистической политике. Как мы увидим, только в ответ на критику извне была в конце концов предпринята такая работа.

Мы достигли теперь момента, когда становится необходимо четко разделить несколько различных аспектов программы, которую мы до сих пор всю целиком определяли как социалистическую. Что касается начальной части того периода, когда росла вера в централизованное планирование, исторически оправданно будет поставить без особых оговорок знак равенства между идеей социализма и идеей планирования. В той мере, в какой затрагиваются основные экономические проблемы, это справедливо и по сей день. Необходимо все же признать, что во многих других отношениях социалисты и прочие современные сторонники планирования имеют полное право заявлять, что не несут никакой ответственности за программы друг друга. Здесь нам следует разграничить цели и средства, предлагавшиеся либо фактически необходимые для достижения поставленных целей. Существующая по поводу этого двусмысленность возникает потому, что необходимые для достижения целей социализма в более узком смысле средства могут использоваться и для других целей и что интересующие нас проблемы возникают из-за средств, а не из-за целей.

Общая цель всего социализма в более узком смысле -- "пролетарского" социализма -- есть улучшение положения неимущих классов общества путем перераспределения дохода, получаемого от собственности. Это подразумевает коллективную собственность на материальные средства производства, а также коллективистское управление и контроль за их использованием. Те же коллективистские методы можно, однако, поставить на службу совершенно другим целям. Аристократическая диктатура, например, может использовать те же методы для обеспечения интересов какой-либо расовой или иной элиты, а также для достижения какой-то отличной, откровенно антиэгалитарной цели. Дело усложняется еще и тем, что коллективистская форма собственности и контроля, составляющая суть любой из этих попыток отделить распределение дохода от частной собственности на средства производства, допускает разные степени ее применения. Пока будет удобнее употреблять термин "социализм" для обозначения традиционных социалистических целей, а термин "планирование" -- для обозначения метода их достижения, хотя позднее мы будем пользоваться понятием "социализм" в более широком смысле. Если же понимать его более узко, то тогда позволительно сказать, что можно иметь много планирования и мало социализма или мало планирования и много социализма. Как бы то ни было, метод планирования несомненно можно использовать и в целях, не имеющих ничего общего с нравственными целями социализма. Вопрос о том, действительно ли можно полностью отделить социализм от планирования -- а критика этого метода уже привела к такого рода попыткам, -- мы должны будем рассмотреть несколько позже.

С точки зрения задач научной дискуссии весьма удачно, что можно не только в теории, но и на практике отделить метод от цели. По поводу обоснованности высших целей науке сказать нечего. Их можно принимать или отвергать, но их нельзя доказать или опровергнуть. Все, о чем мы можем рационально спорить, так это могут ли -- и в какой степени -- данные меры привести к желаемым результатам. Однако если бы метод, о котором идет речь, был предложен только как средство для одной конкретной цели, на практике могло бы оказаться трудно отделить обсуждение технического вопроса от ценностных суждений. Однако поскольку одна и та же проблема средств встает в связи с совершенно несхожими нравственными идеалами, можно надеяться, что удастся полностью вывести ценностные суждения за рамки дискуссии.

Общее условие, необходимое для достижения распределения доходов, не зависящего от индивидуальной собственности на ресурсы -- ближайшей общей цели социализма и других антикапиталистических движений, состоит в том, что власти, определяющие

принципы такого распределения, должны осуществлять также контроль за ресурсами. Так, каким бы ни было содержание данных принципов распределения, идей справедливого или, по-другому, желательного распределения доходов, они должны быть сходны в одном, чисто формальном, но крайне важном отношении. Они должны быть выражены в виде шкалы важности определенного числа конкурирующих индивидуальных целей. Именно этот формальный аспект, тот факт, что единая центральная власть должна решать экономическую проблему распределения ограниченного количества ресурсов между практически бесконечным числом конкурирующих целей, и составляет проблему социализма как метода. Фундаментальный вопрос заключается в том, способна ли такая центральная власть в сложных условиях большого современного общества перенести в жизнь содержание любой подобной шкалы ценностей с достаточной степенью точности, обеспечив при этом уровень благосостояния, равный или близкий к результатам конкурентного капитализма, а не в том, превосходит ли в том или ином отношении одна такая система ценностей другую. Нас здесь интересуют методы, общие для социализма в узком смысле и для всех других выступающих за плановое общество современных движений, а не конкретные цели социализма.

6

Поскольку дальше нас будут интересовать только методы, которые должны применяться, а не поставленные цели, с этого момента удобнее использовать термин "социализм" в более широком смысле. В этом смысле он охватывает, следовательно, все случаи коллективистского контроля над производственными ресурсами независимо от того, в чьих интересах этот контроль осуществляется. Однако, хотя мы и не нуждаемся ни в каком дополнительном определении конкретных преследуемых целей, зато есть потребность в более точном определении методов, которые мы собираемся рассмотреть. Есть, конечно, много разновидностей социализма, но их традиционные названия вроде "коммунизма", "синдикализма", "гильдейского социализма" никогда не давали нам исчерпывающей классификации методов. Большинство этих названий в последнее время стали так тесно связаны с политическими партиями, а не с определенными программами, что они вряд ли могут быть полезны для нашей задачи. Для нас, в сущности, имеет значение лишь то, в какой мере каждая из этих разновидностей содержит требование централизованного контроля и управления ресурсами. Для того чтобы увидеть, насколько велики возможные расхождения по этому вопросу, вероятно, лучше всего начать с самой известной версии социализма и затем исследовать, в какой степени пропагандируемые им меры поддаются изменениям в том или ином направлении.

Программа, которая одновременно наиболее широко отстаивается и *prima facie* <на первый взгляд (лат.)> наиболее правдоподобна, предусматривает не только коллективную собственность, но и объединенное центральное руководство использованием всех материальных ресурсов производства. В то же время она допускает сохранение свободы выбора в потреблении и сохранение свободы выбора рода занятий. По крайней мере, именно так в основном интерпретировали марксизм социал-демократические партии на континенте и именно в этой форме представляет себе социализм огромное большинство людей. И в этой же форме социализм обсуждался наиболее широко; большая часть недавней критики сфокусирована на ней. В самом деле, она столь единодушно считалась единственно важной социалистической программой, что участники большинства дискуссий об экономических проблемах социализма не заботились о том, чтобы указывать, какую разновидность социализма они имеют в виду. Это имело достаточно неблагоприятные последствия, поскольку так никогда и не стало вполне ясно, относились ли определенные возражения или критические замечания только к данной конкретной форме или ко всем формам социализма.

По этой причине необходимо с самого начала учитывать имеющиеся альтернативные варианты и на каждой стадии обсуждения внимательно следить, проистекает ли какая-либо конкретная проблема из предпосылок, лежащих в основе всякой социалистической программы, или они обусловлены допущениями лишь какой-то из отдельных ее версий. Свобода выбора потребителя или свобода выбора занятий, например, никоим образом не являются необходимыми атрибутами всякой социалистической программы. Хотя прежние социалисты, как правило, отвергали мысль, что социализм отменит эти свободы, в более позднее время на критику социалистической позиции стали отвечать, что предполагаемые сложности возникнут только в том случае, если их сохранить, и что, если их отмена окажется необходимой, это никоим образом не будет слишком высокой ценой за другие преимущества социализма. Таким образом, нам необходимо учитывать подобную крайнюю форму социализма наравне с другими. Во многих отношениях она соответствует тому, что в прошлом обычно именовали "коммунизмом", то есть системе, где коллективная собственность распространялась бы не только на средства производства, но и на все блага и где к тому же центральная власть была бы в состоянии приказывать любому человеку выполнять любую работу.

Общество такого типа, где все управляется централизованно, можно считать крайним случаем в длинном ряду систем с меньшей степенью централизации. Уже обсуждавшаяся более известная разновидность социализма идет несколько дальше в направлении децентрализации. Но она все же предусматривает планирование в широчайшем масштабе -- детальное руководство единой центральной властью практически всей производственной деятельностью. Здесь нас не интересуют ранние системы более децентрализованного социализма вроде гильдейского социализма или синдикализма, поскольку сейчас, видимо, стало уже общепризнанным, что они не предлагали вообще никакого механизма рационального управления экономической деятельностью. Однако уже ближе к сегодняшним дням, опять-таки главным образом в ответ на критику, среди мыслителей-социалистов возникла тенденция вновь вводить в свои схемы некоторую степень конкуренции с тем, чтобы преодолеть сложность, которая, по их признанию, возникла бы в случае полностью централизованного планирования. На данной стадии нам не надо подробно рассматривать возможные формы соединения конкуренции между отдельными производителями с социализмом. Это будет сделано позднее [см. главу IX настоящего издания]. Однако знать о них надо с самого начала -- по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы в течение всего дальнейшего обсуждения помнить, что в известных пределах возможны отступления от полностью централизованного руководства всей экономической деятельностью, которое обычно считается типичным для всякого социализма. Во-вторых, что еще более важно, для того, чтобы можно было ясно видеть, в какой степени должен сохраняться централизованный контроль, дабы у нас оставалось право говорить о социализме, или какой минимум предположений позволит нам считать, что система попадает в рассматриваемую нами категорию. Даже если бы обнаружилось, что коллективная собственность на производственные ресурсы совместима с определением посредством конкуренции целей и способов употребления отдельных их единиц, мы все-таки должны предположить, что именно единая центральная власть будет решать вопросы типа "Кто должен распоряжаться данным количеством ресурсов в интересах общества?" или "Каким количеством ресурсов следует наделить различных "предпринимателей?". По-видимому, таково минимальное допущение, совместимое с идеей коллективной собственности, -- наименьшая степень централизованного контроля, которая все же позволила бы сохранить за обществом право распоряжаться доходом, извлекаемым из материальных средств производства.

В отсутствие такого централизованного контроля над средствами производства планирование в том смысле, в каком употребляем этот термин мы, перестает быть проблемой. С этим, вероятно, согласилось бы большинство экономистов всех лагерей, хотя многие другие люди, верящие в планирование, еще думают о нем как о чем-то рационально осуществимом в рамках общества, основанного на частной собственности. На самом деле, однако, если под "планированием" понимать фактическое руководство производственной деятельностью путем директивных указаний о том, сколько производить, какие производственные методы применять или какие цены устанавливать, то легко можно показать не то, что это невозможно, но что любая подобная изолированная мера вызовет реакции, перечеркивающие ее смысл, и что любая попытка действовать последовательно неизбежно повлечет за собой дальнейшее наращивание мер контроля, пока вся экономическая деятельность не окажется под властью единого центра.

В рамках данного обсуждения социализма невозможно далее вникать в эту вполне самостоятельную проблему -- о государственном вмешательстве в капиталистическом обществе. Она упомянута здесь только для того, чтобы ясно сказать, что мы исключаем ее из своих рассуждений. С нашей точки зрения, общепринятый анализ показывает, что такое вмешательство не дает альтернативы, в пользу которой мог бы склониться рациональный выбор или от которой можно было бы ожидать стабильного и удовлетворительного решения какой-либо из проблем, из-за которых это вмешательство и предпринимается [ср.: L. von Mises, *Interventionismus* (Jena, 1929)].

Здесь снова, однако, нужно предостеречь от неверного толкования. Сказать, что упомянутое нами частичное планирование иррационально, все же не равнозначно утверждению, что единственная форма капитализма, допускающая рациональную защиту, есть полное *laissez-faire* в традиционном понимании. Нет никаких оснований предполагать, что исторически данные правовые институты непременно являются наиболее "естественными" в каком бы то ни было смысле. Признание принципа частной собственности никоим образом не подразумевает, что конкретное определение границ содержания этого права в том виде, как это установлено существующими законами, является единственно правильным. Вопрос, какова самая подходящая стабильная правовая рамка, способная обеспечить наиболее ровное и наиболее эффективное действие конкуренции, чрезвычайно важен. Надо признать, к сожалению, что экономисты им пренебрегали.

Но с другой стороны, признать возможность изменений в правовой рамке -- не значит допустить возможность иного типа планирования в том смысле, в каком мы до сих пор употребляли это слово. Здесь есть существенное различие, и его нельзя упускать из виду. Это различие между стабильной правовой рамкой, обеспечивающей все необходимые побудительные мотивы для адаптации частной инициативы к любым изменениям, и системой, где подобная адаптация осуществлялась бы центральным руководством. Именно это представляет реальную проблему, а не выбор: поддержание существующего порядка либо введение новых институтов. В каком-то смысле обе системы можно изобразить как продукт рационального планирования. Но в одном случае это планирование касается только стабильной институциональной рамки и без него можно обойтись, если есть готовность принять институты, сформировавшиеся в ходе медленного исторического процесса. В другом же случае ему придется иметь дело со всевозможными каждодневными изменениями.

Не может быть сомнений, что планирование последнего рода связано с переменами такого свойства и размаха, которые до сих пор не встречались в истории человечества. Иногда высказывается мнение, что происходящие сейчас изменения -- это всего лишь возврат к социальным формам доиндустриальной эпохи. Но такое представление ошибочно. Даже во времена расцвета средневековой цеховой системы, когда существовали самые широкие ограничения коммерции, они не применялись как средство фактического управления индивидуальной деятельностью. Они, конечно же, создавали далеко не самую рациональную стабильную рамку для индивидуальной деятельности, какую можно было бы придумать. Но по сути они были такой стабильной рамкой -- и только; внутри же нее текущая деятельность по индивидуальной инициативе имела полный простор. В своих попытках использовать старинный аппарат рестрикций в качестве орудия для практически каждодневных приспособлений к происходящим изменениям мы уже зашли намного дальше по пути к централизованному планированию текущей деятельности, чем когда бы то ни было раньше. Если мы последуем по пути, на который встали, если мы попытаемся действовать последовательно и бороться с саморазрушительными тенденциями, заключенными в любом изолированном акте планирования, мы точно пустимся в эксперимент, не имевший по сию пору исторических параллелей. Но даже на нынешней стадии мы уже зашли слишком далеко. Чтобы правильно оценить перспективы, необходимо осознать, что наша нынешняя система, загроможденная попытками частичного планирования и рестрициями, почти настолько же далека от любой системы капитализма, которую можно было бы рационально защищать, как и от любой последовательной плановой системы. При любом исследовании возможностей планирования важно осознать, что считать альтернативой этому капитализм в его сегодняшнем виде -- заблуждение. Мы, безусловно, настолько же далеки от капитализма в его чистой форме, насколько и от любой системы централизованного планирования. Мир сегодня -- это просто интервенционистский хаос.

8

Классическая политическая экономия потерпела крах главным образом потому, что не смогла положить в основу своих объяснений фундаментального феномена ценности тот же анализ побудительных причин экономической деятельности, который она столь успешно применила к более сложным явлениям конкуренции. Трудовая теория ценности была скорее результатом поиска некоей иллюзорной субстанции ценности, нежели анализом поведения экономического субъекта. Решающий шаг в развитии экономической теории был сделан, когда экономисты задались вопросом, каковы в точности условия, заставляющие индивидов вести себя по отношению к благам определенным образом. Постановка вопроса в такой форме сразу же привела к признанию, что придание определенного значения, или ценности, единицам различных благ есть необходимый шаг в решении общей проблемы, возникающей везде, где множество целей конкурирует за ограниченное количество средств.

Вездесущность проблемы ценности, где бы ни протекала рациональная деятельность, была основным фактом, от которого могло отправляться систематическое изучение тех форм, в каких подобная деятельность могла проявляться при различных вариантах организации экономической жизни. В определенном отношении проблемы централизованно управляемой экономики с самого начала заняли видное место в изложениях современной экономической теории. Было, очевидно, настолько проще рассматривать фундаментальные проблемы, предполагая существование только одной последовательно применяемой шкалы ценностей, чем предполагая множественность индивидов со своими собственными шкалами, что в ранних разработках новых теоретических систем допущение коммунистического государства употреблялось часто --

и с немалой пользой -- как упрощающий прием[ср., в частности: F. von Wieser, *Natural Value* (London, 1893), *passim*]. Однако оно использовалось для того лишь, чтобы продемонстрировать, что любое решение с необходимостью породило бы в таком государстве, по сути, те же ценностные феномены -- ренту, заработную плату, прибыль и т.д., которые мы реально наблюдаем в конкурентном обществе. И тогда авторы обычно переходили к показу, как взаимодействие между самостоятельно осуществляющими деятельность индивидами спонтанно порождает эти феномены, не пытаясь выяснить, могут ли они порождаться в сложном современном обществе как-либо иначе. Простое отсутствие общей согласованной шкалы ценностей видимым образом лишало эту проблему всякой практической значимости. Это правда, что некоторые из ранних авторов новой школы не только думали, что они фактически решили проблему социализма, но и верили, что их исчисление полезностей дало средства, позволяющие вписать индивидуальную шкалу полезности в шкалу целей, объективно действующую для общества в целом. Однако теперь широко признано, что это последнее убеждение было просто иллюзией и что нет научных критериев, позволяющих нам сравнивать или оценивать относительную важность потребностей разных людей, хотя выводы, подразумевающие подобные незаконные межличностные сравнения полезностей, все еще можно встретить при обсуждении специальных проблем.

Тем не менее очевидно, что по мере того, как с успехами в изучении конкурентной системы выявлялась сложность спонтанно решаемых ею проблем, экономисты начинали все более и более скептически относиться к возможности решения тех же проблем сознательным путем. Пожалуй, стоит отметить, что еще в 1854 году наиболее известный из предшественников современной школы "предельной полезности", немец Герман Г. Госсен пришел к выводу, что замышляемая коммунистами центральная экономическая власть вскоре обнаружила бы, что поставила перед собой задачу, совершенно непосильную для отдельных людей.[H.H.Gossen, *Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln* (Braunschweig, 1854), p. 231: "Кроме того, из установленных выше положений относительно потребления, предполагающих повышение ценности любого предмета при уменьшении его массы и разнообразия и снижение его ценности в обратном случае, следует, что только благодаря утверждению частной собственности отыскивается мера для определения того, какое количество каждого товара целесообразнее всего производить при данных условиях. Поэтому проектируемый коммунистами центральный орган по распределению всевозможных работ очень скоро убедился бы на опыте, что взялся за задачу, разрешение которой далеко превосходит возможности отдельных людей" (курсив оригинала -- Прим. ред.).] Позднее экономисты современной школы часто указывали на тот пункт, который Госсен положил в основу своего возражения, -- трудность рационального расчета при отсутствии частной собственности. Особенно четко это выразил профессор Кэннан, подчеркнув, что цели социалистов и коммунистов могут быть достигнуты только путем "отмены как института частной собственности, так и практики обмена, без которых ценность, в любом разумном смысле слова, не может существовать". [E.Cannan, *A History of the Theories of Production and Distribution* (1893); 3d ed., 1917, p. 395. Позже профессор Кэннан внес также важный вклад в анализ проблемы международных отношений социалистических государств. См. его очерк: "Incompatibility of Socialism and Nationalism", in *The Economic Outlook* (London, 1912).] Однако, помимо общих формулировок подобного рода, критическое изучение возможностей социалистической экономической политики не слишком преуспело по той простой причине, что по поводу путей преодоления этих проблем не существовало никаких конкретных социалистических предложений, которые можно было бы исследовать. [Совершенно ускользнувшая от внимания попытка решить проблему с социалистической стороны, где сквозит некоторое

понимание реальных трудностей, была сделана Г.Шульзером (G. Sulzer): Die Zukunft des Sozialismus (Dresden, 1899).]

Только в начале нынешнего века сделанное видным голландским экономистом Т.Г.Пирсоном общее утверждение, аналогичное только что рассмотренному, о невозможности практического осуществления социализма, вынудило наконец ведущего тогда теоретика марксистского социализма К.Каутского прервать традиционное молчание по поводу реального функционирования будущего социалистического государства. К.Каутский прочел лекцию, где не слишком охотно и со многими оправданиями дал описание того, что произойдет на следующий день после Революции. [Английский перевод этой лекции, первоначально прочитанной в Дельфте 24 апреля 1902 г. и вскоре опубликованной на немецком языке вместе с другой лекцией, прочитанной там же двумя днями ранее, был опубликован под заголовком "Социальная революция и назавтра после социальной революции" (London, 1907).] Но Каутский только показал, что реально даже не представляет себе той проблемы, которую видели экономисты. Таким образом, он дал Пирсону возможность подробно продемонстрировать в статье, первоначально появившейся в голландском журнале "Economist", что у социалистического государства будут свои проблемы с ценностью, как и у любой другой экономической системы, и что задача, которую надо решить социалистам, состоит в том, чтобы показать, как при отсутствии системы ценообразования должна определяться ценность различных благ. Эта статья стала первым важным вкладом в дискуссию об экономических аспектах социализма. Несмотря на то, что она осталась практически неизвестной за пределами Голландии и стала доступной только в немецком варианте после того, как дискуссия была начата независимо от нее другими авторами, статья эта до сих пор представляет особый интерес как единственный серьезный анализ данных проблем, опубликованный перед Первой мировой войной. Она особенно ценна анализом проблем, возникающих в сфере международного обмена между несколькими социалистическими государствами. [Английский перевод статьи Пирсона есть в сборнике: *Collectivist Economic Planning*, к которой настоящая работа послужила введением.]

Все последующие обсуждения экономических проблем социализма перед Первой мировой войной более или менее ограничивались доказательством того, что по меньшей мере такие основные ценовые категории как заработная плата, рента и процент должны будут фигурировать в расчетах планирующей власти в той же форме, в какой они присутствуют сегодня, и будут определяться, по сути, теми же факторами. Современное развитие теории процента сыграло особо важную роль в этой связи и после Бём-Баверка [в дополнение к его общей работе о проценте следует упомянуть очерк "Macht und ökonomisches Gesetz" (*Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung* [1914]), поскольку во многом он должен считаться прямым предварением более поздней критической работы] профессор Кассель был тем, кто убедительно показал, что процент должен будет составлять важный элемент для рационального расчета экономической деятельности. Однако никто из этих авторов даже не пытался показать, как прийти к этим важнейшим величинам на практике. Единственным, кто по меньшей мере приблизился к проблеме, стал итальянский экономист Энрике Бароне, развивший в статье "Министерство производства в коллективистском государстве" (1908) некоторые мысли Парето [V. Pareto, *Cours d'economie politique*, II (Lausanne, 1897), 364 ff.]. Эта статья представляет значительный интерес как пример размышлений о том, каким образом инструменты математического анализа экономических проблем можно было бы использовать для решения задач центральной власти, осуществляющей планирование. [Английский перевод работы Бароне опубликован как приложение к книге *Collectivist Economic Planning*.]

Когда с окончанием войны 1914--1918 гг. социалистические партии пришли к власти в большинстве государств Центральной и Восточной Европы, обсуждение всех этих проблем с необходимостью вошло в новую и решающую фазу. Победившим социалистическим партиям теперь надо было думать об определенной программе действий, и социалистическая литература следующих сразу за Первой мировой войной лет вначале была большей частью занята практическими вопросами организации производства на социалистических принципах. Эти дискуссии находились под большим влиянием опыта военных лет, когда государства создали управления по обеспечению продовольствием и сырьем, чтобы справиться с серьезной нехваткой большинства основных предметов потребления. Было общепризнано, что это доказало не только осуществимость централизованного управления экономической деятельностью и даже ее превосходство над системой конкуренции, но и то, что специальная техника планирования, разработанная для решения этих проблем, может с равным успехом применяться для постоянного регулирования социалистической экономики.

Кроме России, где скорость перемен в первые послереволюционные годы почти не оставила времени для спокойных размышлений, в основном в Германии и еще больше в Австрии эти вопросы дебатировались наиболее серьезно. Особенно в Австрии, социалисты которой долго играли ведущую роль в теоретической разработке социализма и в которой сильная и сохранившая единство социалистическая партия оказывала, вероятно, больше влияния на экономическую политику, чем в любой другой стране помимо России, проблемы социализма приобрели огромное практическое значение. Следует, пожалуй, упомянуть (это довольно любопытно), как мало серьезных исследований было посвящено экономическому опыту этой страны в первое десятилетие после Первой мировой войны, хотя он, наверное, имеет куда большее отношение к проблемам социалистической политики в Западном мире, чем все происшедшее в России. Однако что бы ни думать о значимости проведенных в Австрии реальных экспериментов, несомненно, что внесенный там теоретический вклад в понимание этих проблем останется значительной вехой в интеллектуальной истории нашего времени.

Среди всех этих ранних разработок социалистических авторов наиболее интересной во многих отношениях и, в любом случае, наиболее характерной для все еще очень ограниченного осознания затрагиваемых здесь экономических проблем является книга Отто Нейрата, которая появилась в 1919 г. В ней автор попытался показать, что опыт военных лет выявил возможность обходиться без всякого учета ценности при регулировании предложения предметов потребления и что все расчеты центральных планирующих органов должны и могут проводиться *in natura*, то есть что эти расчеты не должны вестись на основе какого-либо общепринятого мерила ценности, а можно производить их в натуральном выражении [Otto Neurath, *Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft* (Munche, 1919)]. Нейрат совершенно не заметил непреодолимых трудностей, которые отсутствие стоимостных расчетов создаст на пути любого рационального экономического использования ресурсов, и даже, видимо, считал это преимуществом. Столь же суровая критика применима и к работам, опубликованным в то же время одним из ведущих мыслителей австрийской социал-демократической партии Бауэром [15]. Здесь нет возможности входить в подробности аргументации этих и ряда других родственных публикаций того времени. Тем не менее их следует упомянуть, поскольку они важны в качестве наглядных образцов социалистической мысли непосредственно перед столкновением с новой волной критики и поскольку большая часть этой критики была направлена против этих работ или неявно их затрагивала.

В Германии в центре дискуссии оказались предложения "комиссии по социализации", созданной для обсуждения возможностей перехода от частной промышленности к государственной собственности и контролю. Именно в связи с деятельностью этой комиссии или ее замыслами такие авторы как Э.Ледерер, Э.Хайманн и злополучный В.Ратенау разработали планы социализации, ставшие главной темой обсуждения среди экономистов. Для нас, однако, эти предложения менее интересны, чем их австрийские аналоги, поскольку они не предусматривали полностью социализированной системы, но в основном касались проблем организации отдельных социализированных отраслей при системе, остававшейся в остальном конкурентной. В силу этого их авторам не приходилось сталкиваться с главными проблемами подлинно социалистической системы. Тем не менее они важны как симптомы состояния общественного мнения того времени и в той стране, где началось более научное изучение данных проблем. Один из проектов того периода заслуживает, возможно, особого упоминания не только потому, что его авторы изобрели модный ныне термин "плановая экономика", но и потому, что он очень напоминает предложения по планированию, столь распространенные сейчас [1935] в Великобритании. Это план, разработанный в 1919 г. рейхс-министром экономики Р.Висселем и его заместителем В. фон Моллендорфом [16. Их предложения об организации отдельных отраслей интересны и сами по себе, перекликаясь со многими проблемами, обсуждаемыми сейчас в Англии, и той дискуссией, которую они вызвали. Однако они не могут считаться социалистическими в узком смысле, но занимают ту среднюю позицию между капитализмом и социализмом, которая сознательно не рассматривается в нашем очерке по упомянутым выше соображениям.

10

Австрийский экономист Людвиг фон Мизес первым сформулировал главную проблему социалистической экономики в такой форме, чтобы она никогда больше не исчезала из дискуссий. В этом его немалая заслуга. В статье "Экономический расчет в социалистическом обществе", появившейся весной 1920 г., он показал, что возможность рационального расчета в нашей нынешней экономической системе основана на том, что цены в денежном выражении обеспечивают необходимое условие, позволяющее такой расчет осуществлять. ["Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen", Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, Vol. XLVII, No. 1 (April, 1920), перепечатано в английском переводе в *Collectivist Economic Planning*. Большая часть статьи была включена в более подробный анализ экономических проблем социалистического общества во второй части работы профессора Мизеса *Gemeinwirtschaft* (Jena, 1922; 2d ed., 1932); английский перевод Дж.Кахане под названием *Socialism* (London, 1936). (Рус. пер.: Мизес Л. Социализм. М., "Catallaxy", 1994.)] Важнейшим моментом, в котором профессор Мизес пошел значительно дальше своих предшественников, было подробное доказательство того, что экономичное использование имеющихся ресурсов возможно, только если цены устанавливаются не на одни лишь конечные продукты, но и на все промежуточные продукты и факторы производства, и что немислим никакой другой процесс, который таким же образом учтет все соответствующие факты, как это делает процесс ценообразования на конкурентном рынке. Вместе с более крупной работой, в которую позднее была включена эта статья, исследование профессора Мизеса представляет отправной пункт, от которого непременно должны отталкиваться все обсуждения экономических проблем социализма, конструктивные или критические, чтобы их воспринимали всерьез.

Хотя работы профессора Мизеса несомненно содержат наиболее полное и успешное изложение того, что с тех пор стало главной проблемой, и хотя вплоть до настоящего времени они оказали самое сильное влияние на все последующие дискуссии, интересным

совпадением является то, что примерно в то же время два других выдающихся автора независимо пришли к очень схожим выводам. Первым был великий немецкий социолог Макс Вебер. В своем великолепном сочинении "Wirtschaft und Gesellschaft" ("Хозяйство и общество"), изданном посмертно в 1921 г., Вебер специально рассматривал условия, позволяющие принимать рациональные решения в сложной экономической системе. Как и Мизес (чья статья, по его признанию, стала ему известна, только когда его собственный труд был уже подготовлен к печати), Вебер настаивает, что расчеты *in natura*, предлагавшиеся ведущими защитниками плановой экономики, не смогут обеспечить рационального урегулирования проблем, которые придется решать властям в подобной системе. Он особо подчеркивал, что рациональное использование и поддержание капитала можно обеспечить только в системе, основанной на обмене и использовании денег, и что потери, обусловленные невозможностью рационального расчета в полностью социализированной системе, могут быть настолько велики, что не позволят сохранить нынешнее число жителей густонаселенных стран.

"Здесь не помогает предположение, что со временем какая-либо система расчета будет найдена или изобретена, стоит только попытаться и взяться за проблему безденежной экономики всерьез: это фундаментальная проблема любой полной социализации, и, безусловно, невозможно говорить о рационально "планируемой экономике", коль скоро никакие средства построения "плана" неизвестны, а это и есть вопрос, от решения которого зависит всё" [M.Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft* ("Grundriss der Sozialökonomik", Vol. III (Tubingen, 1921), pp. 55--56)].

Практически одновременно эти же идеи развивались в России. Здесь летом 1920 г. в течение короткого периода после первых военных успехов новой системы, когда в виде исключения стала возможной публичная критика, Борис Бруцкус, видный экономист, известный в основном своими работами по аграрным проблемам России, в серии лекций подверг подробной критике доктрины, определявшие действия коммунистических правителей. Главные выводы этих лекций, опубликованных в русском журнале под заголовком "Проблемы народного хозяйства при социализме" и ставших доступными для широкой публики лишь много лет спустя в немецком переводе [первоначальный заголовок, под которым появились эти лекции зимой 1921--1922 гг. в русском журнале "Экономист", был: "Проблемы народного хозяйства при социализме"; позднее они были перепечатаны по-русски в виде брошюры в Берлине в 1923 г., а затем опубликованы в немецком переводе под заголовком: "Die Lehren des Marxismus im Lichte der russischen Revolution" в Берлине в 1928 г; этот очерк вместе с изложением истории развития экономического планирования в России появился в английском переводе в работе Б.Бруцкуса *Economic Planning in Soviet Russia* (London, 1935)], поразительно напоминали идеи Мизеса и Макса Вебера. И это несмотря на то, что они были сделаны на основе изучения конкретных проблем, с которыми в то время сталкивалась Россия, и несмотря на то, что они были написаны тогда, когда их автор, оторванный от всех связей с внешним миром, не мог узнать о подобных же усилиях австрийских и немецких ученых. Как и у профессора Мизеса и Макса Вебера, его критика сосредоточена на невозможности рационального расчета в централизованно управляемой экономике, где цены неизбежно отсутствуют.

11

В известной мере надо отдать должное и Максиму Веберу, и профессору Бруцкусу за то, что они независимо друг от друга выделили центральную проблему экономики социализма. Однако более полное и систематическое изложение принадлежит профессору Мизесу, особенно в его большой работе "Die Gemeinwirtschaft" (в английском переводе --

"Социализм". -- Прим. науч. ред.), -- именно оно оказало определяющее влияние на общее направление дальнейшей дискуссии на континенте. В годы непосредственно после публикации статьи Мизеса было предпринято несколько попыток прямо ответить на его вызов и показать, что его основной тезис ошибочен и что даже в строго централизованно управляемой экономической системе ценности могли бы точно определяться без каких-либо серьезных затруднений. Однако, хотя дискуссия по этому вопросу тянулась несколько лет, в ходе которых Мизес дважды отвечал своим критикам [L.v.Mises, "Neue Beitrage zum Problem der sozialistischen Wirtschaftsrechnung", Archiv fur Sozialwissenschaften, Vol. LI (1924), и "Neue Schriften zum Problem der sozialistischen Wirtschaftsrechnung", Archiv fur Sozialwissenschaften, Vol. LX (1928)], становилось все более ясно, что его главный тезис нельзя опровергнуть, коль скоро речь идет о строго централизованно управляемой и планируемой экономике того типа, что изначально предлагало большинство социалистов. Основная часть высказанных поначалу возражений фактически представляла собой мелочные придирки к словам из-за того, что Мизес иногда пользовался не совсем удачным выражением, что социализм "невозможен", тогда как имел-то он в виду, что социализм сделал невозможным рациональный расчет. Конечно, любой предложенный курс действий, если предложение вообще имеет смысл, возможен в строгом смысле слова, то есть его можно испытать. Вопрос может состоять только в том, приведет ли оно к ожидаемым результатам, то есть согласуется ли намеченный курс действий с целями, для которых он предназначен. Коль скоро надежда была именно на то, чтобы средствами централизованного управления всей экономической деятельностью достичь в одно и то же время и распределения дохода, не зависящего от частной собственности на средства производства, и объема производства, который хотя бы приближался или даже превосходил его величину при свободной конкуренции, все шире стало признаваться, что данный путь не обеспечивает достижения этих целей на практике.

Однако это не означало, естественно, отречения от поиска пути реализации социалистических идеалов даже в том случае, если согласиться с главным тезисом профессора Мизеса. Его основной целью было перенести внимание с того, что до тех пор общепризнанно считалось наиболее осуществимой формой социалистической организации, на исследование альтернативных программ. Можно выделить два основных вида реакции среди тех, кто соглашался с его центральным тезисом. Во-первых, были люди, думавшие, что потери в эффективности, сокращение общего богатства, которые произойдут при отсутствии средств рационального расчета, будут не слишком высокой ценой за осуществление более справедливого распределения этого богатства. Конечно, если такая позиция основана на ясном понимании того, что подразумевает данный выбор, по этому поводу больше нечего сказать, кроме того, что представляется сомнительным, чтобы ее сторонники нашли много согласных со своей идеей. Действительная трудность состоит здесь, конечно, в том, что решение большинства людей по этому вопросу будет зависеть от того, насколько из-за невозможности рационального расчета объем производства в централизованно управляемой экономике сократится по сравнению с конкурентной системой. Хотя, по моему мнению, скрупулезное исследование едва ли оставит какие-либо сомнения в гигантской величине такого разрыва, надо признать, что далеко не просто показать, насколько он оказался бы велик. Ответ здесь нельзя извлечь из общих соображений. Он должен быть основан на тщательном сравнительном анализе функционирования двух альтернативных систем. Потребуется также глубокое проникновение в существо затрагиваемых проблем, которого нельзя достичь иначе, кроме как с помощью систематического применения экономической теории. [Вероятно, в связи с этим необходимо прямо заявить, что было бы совершенно неправомерно проводить такое сравнение между капитализмом в его существующем (или предположительно существующем) виде и социализмом, каким он мог бы быть в идеале, -- или между

капитализмом в его идеальной форме и социализмом в форме несовершенной. Для того чтобы сравнение имело какую-то ценность с принципиальной точки зрения, оно должно основываться на предположении, что каждая система осуществлена в форме наиболее рациональной при данном состоянии человеческой природы и при внешних условиях, принимаемых такими, какие они есть.]

Реакция второго рода на критику профессора Мизеса состояла в том, чтобы считать ее обоснованной только в отношении определенной формы социализма, против которой она и была в основном направлена, и постараться создать другие схемы, неуязвимые для такой критики. Очень большая и, вероятно, наиболее интересная часть более поздних дискуссий на континенте шла именно в этом направлении. Наметились две основные тенденции в такого рода поисках. С одной стороны, были предприняты попытки преодолеть возникающие здесь трудности посредством еще большего усиления элемента планирования, чем предусматривалось раньше, полностью устранив свободный выбор потребителя и свободный выбор рода занятий. С другой стороны, стали пытаться вводить те или иные элементы конкуренции. В различных разделах "Коллективистского экономического планирования" рассматривается, насколько эти предложения действительно преодолевают все имеющиеся трудности и насколько они практичны.

ГЛАВА VIII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ (II): СОСТОЯНИЕ ДИСКУССИИ

Перепечатано из *Collectivist Economic Planning*, ed. F.A.Hayek (London: George Routledge & Sons, Ltd., 1935).

1

Несмотря на естественную склонность социалистов преуменьшать значение критики социализма, ясно, что она уже оказала очень глубокое воздействие на развитие социалистической мысли. Эта критика, конечно, не подействовала на подавляющее большинство "плановиков"; основная масса приверженцев любого популярного движения всегда остается в неведении относительно интеллектуальных течений, вызывающих изменение направления.[К сожалению, это относится также к большинству организованных коллективных усилий, предпринимавшихся специально для научного изучения проблем планирования. Всякий, кто штудировал такие публикации как *Annales de l'economie collective* или материалы, представленные на Всемирный социально-экономический конгресс в Амстердаме в 1931 г. и опубликованные Институтом международных отношений под названием "World Social Economic Planning" (2 vols., The Hague, 1931--32), тщетно будет искать какой-либо признак, что главные проблемы были хотя бы осознаны.] Более того, существование в России системы, претендующей на имя плановой, привела многих ничего не знающих о ее развитии к мысли, что главные проблемы решены. На самом деле, как мы увидим, опыт России предоставляет достаточно подтверждений уже оформившихся сомнений. Однако среди лидеров социалистической мысли все больше осознается не только природа главной проблемы, но и растет признание силы возражений, выдвинутых против считавшейся в прошлом наиболее осуществимой разновидности социализма. Теперь редко отрицают, что в обществе, намеревающемся сохранить свободу выбора потребителя и свободу выбора занятий, централизованное руководство всей экономической деятельностью представляет задачу, которую нельзя рационально решить при сложных условиях современной жизни. Правда, как мы убедимся, даже среди понимающих проблему исходная позиция отринута еще не полностью, однако ее защита носит характер более или менее арьергардных боев, когда все сводится к попыткам доказать то, что "в принципе" решение можно себе представить. Уже почти не встречается утверждений, что такое решение осуществимо практически. У нас будет позднее возможность обсудить некоторые из этих попыток. Однако подавляющее большинство новых схем пытаются обойти трудности путем построения альтернативных социалистических систем, более или менее основательно отличающихся от традиционных версий, подвергшихся критике в первую очередь, и, как предполагается, неуязвимых для возражений, направлявшихся против их предшественниц.

В настоящем очерке будет рассмотрена современная английская литература по данному предмету, а также будет сделана попытка оценить новые предложения, выдвинутые для преодоления осознанных теперь трудностей. Однако прежде, чем мы к этому приступим, может быть полезно высказать несколько замечаний о значимости для обсуждаемых проблем российского эксперимента.

2

Конечно, невозможно и нежелательно на данном этапе начинать разбор конкретных результатов российского эксперимента. Здесь достаточно сослаться на подробные специальные исследования, особенно принадлежащие профессору Бруцкусу [B.Brutzkus, *Economic Planning in Russia* (London: George Routledge & Sons, Ltd., 1935)]. Сейчас нас

интересует только более общий вопрос: насколько факты, установленные при таком изучении конкретного опыта, согласуются с аргументацией более теоретического характера и насколько эмпирические свидетельства подтверждают или опровергают выводы, полученные путем априорных рассуждений.

Вероятно, здесь нелишне напомнить читателю, что, исходя из общих соображений, под вопрос ставилась не возможность планирования как таковая, а возможность успешного планирования, достижения целей, во имя которых оно предпринимается. Поэтому у нас с самого начала должна быть ясность относительно критериев суждения об успехе или о формах, в которых, как мы полагаем, мог бы выразиться провал. Нет никаких оснований ожидать, что остановится производство, или что власти столкнутся с теми или иными трудностями в использовании всех имеющихся ресурсов, или даже что объем производства будет устойчиво ниже, чем был до введения планирования. Ожидать нам следовало бы того, что объем производства в случае, когда использование доступных ресурсов определяется некоей центральной властью, будет ниже, чем если бы ценовой механизм рынка свободно действовал -- при равных в остальном условиях. Обусловлено это было бы чрезмерным развитием одних отраслей производства за счет других и использованием методов, непригодных при существующих обстоятельствах. Нам следовало бы ожидать чрезмерного развития каких-то отраслей при издержках, которые не оправдываются возросшими объемами их продукции, и безудержного стремления инженеров к внедрению появившихся где-то последних достижений, техники, невзирая на то, приемлемы ли они в данной ситуации экономически. Во многих случаях употребление новейших производственных методов, которые было бы возможно применить при отсутствии централизованного планирования, выступало бы тогда скорее симптомом злоупотребления ресурсами, нежели доказательством успеха.

Отсюда, таким образом, вытекает, что высокое качество -- с технической точки зрения -- некоторой части российского промышленного оборудования, нередко поражающее случайного наблюдателя и обычно считающееся свидетельством успеха, малозначимо с точки зрения ответа на главный вопрос. Окажется ли новый завод полезным звеном в структуре промышленности, помогающим увеличить объемы производства, зависит не только от технических соображений, но даже больше от общей экономической ситуации. Лучший тракторный завод не может быть активом, а вложенный в него капитал есть чистый убыток, если замененная трактором рабочая сила дешевле, чем затраты материалов и труда, пошедших на создание трактора, плюс прибыль.

Но стоит нам освободиться от слепого восхищения перед существованием колоссальных орудий производства, которое вполне может захватить не критичного наблюдателя, как остаются только два законных критерия успеха: блага, реально доставляемые системой потребителю, и рациональность или нерациональность решений центральной власти. Исходя из первого критерия, результат, несомненно, был бы признан отрицательным, во всяком случае -- пока и имея в виду все население, а не небольшую привилегированную группу. Почти все наблюдатели согласны, кажется, с тем, что даже по сравнению с довоенной Россией положение широких масс ухудшилось. Однако такое сравнение все же выставляет результаты в излишне благоприятном свете. Признано, что условия царской России далеко не благоприятствовали капиталистической промышленности и что при более современном режиме капитализм добился бы там быстрого прогресса. Надо принять также во внимание, что страдания за прошедшие пятнадцать лет, эта "жизнь впроголодь во имя величия", которые мыслились как служащие последующему прогрессу, должны были бы принести к настоящему времени какие-то плоды. Мы получим более подходящую основу для сравнения, представив, что было бы в случае, когда те же самые ограничения потребления, которые имели место фактически, были бы вызваны высокими

налогами, а поступления от них предоставлялись бы в виде кредита конкурентной промышленности на инвестиционные цели. Вряд ли можно усомниться, что это вызвало бы скорый и громадный рост общего уровня жизни выше всего того, что сегодня представляется лишь отдаленно возможным.

Тогда остается последняя задача -- рассмотреть принципы, на основании которых реально действовали плановые органы. Здесь невозможно даже кратко проследить извилистый курс российского эксперимента. Однако все, что мы о нем знаем, особенно из упоминавшегося выше исследования профессора Бруцкуса, дает нам полное право сказать, что ожидания, вытекавшие из соображений общего порядка, полностью подтвердились. Крах "военного коммунизма" произошел именно по той причине, по какой его предвидели профессор Мизес и Бруцкус, -- из-за невозможности рационального расчета в безденежной экономике. С тех пор развитие с его частыми политическими зигзагами показало только, что правители России познали на опыте все препятствия, выявленные систематическим анализом проблемы. Но оно не поставило никаких новых важных проблем и тем более не предложило каких-либо решений. Официально вина почти за все трудности все еще взваливается на несчастных индивидов, подвергающихся преследованиям за то, что они противодействуют плану, не подчиняясь распоряжениям центральной власти или слишком буквально их выполняя. Однако, хотя это означает, что власти признают очевидную трудность только в том, как заставить людей послушно следовать плану, не может быть сомнений, что более серьезные неприятности обусловлены в действительности врожденными проблемами всякого централизованного планирования. Фактически из таких обзоров, какой сделал профессор Бруцкус, мы заключаем, что нынешняя тенденция, отнюдь не продвигая нас к более рациональным методам планирования, сводится к тому, чтобы разрубить гордиев узел, отказавшись от использовавшихся в прошлом сравнительно научных методов. Вместо этого они заменяются все более и более произвольными и несогласованными решениями конкретных проблем, как диктует злоба дня. Российский опыт может быть очень поучителен в отношении политических или психологических проблем. Но для того, кто изучает экономические проблемы социализма, он всего лишь дает иллюстрации к вполне устоявшимся выводам. Он не помогает нам ответить на интеллектуальную проблему, поставленную стремлением к рациональному переустройству общества. Для ответа на нее нам придется возобновить наш систематический обзор различных мыслимых систем, хотя и существующих пока только в виде теоретических набросков, но не становящихся от этого менее важными.

3

Как указывалось выше, в главе VII, рассмотрение этих вопросов в английской литературе началось относительно недавно и на достаточно высоком уровне. Однако вряд ли можно сказать, что первые попытки реально отвечали на какой-либо из главных вопросов. Два американца, Ф.М.Тэйлор и У.К.Роупер, были первыми в этой области. Их работы и в какой-то степени анализ англичанина Г. Д.Диккинсона были направлены на доказательство того, что, исходя из предположения о полном знании всех соответствующих данных, ценность и количество различных товаров, которые надо произвести, могли бы определяться путем применения аппарата, с помощью которого теоретическая экономика объясняет формирование цен и управление производством в конкурентной системе [F.M.Taylor, "The Guidance of Production in a Socialist State", *American Economic Review*, Vol. XIX (1929); W.C.Roper, *The Problem of Pricing in a Socialist State* (Cambridge, Mass., 1929); H.D.Dickinson, "Price Formation in a Socialist Community", *Economic Journal*, June, 1933]. В общем, следует признать, что это не невозможно -- в смысле отсутствия логического противоречия. Однако полагать, что раз

определение цен таким способом логически представимо, то этим полностью опровергается утверждение, что оно реально невозможно, значит, просто расписаться в непонимании подлинной сути проблемы. Необходимо лишь попытаться отчетливо представить себе, что подразумевает применение такого метода на практике, чтобы отклонить его как неосуществимое и невозможное для человеческих сил. Ясно, что любое такое решение должно было бы основываться на решении некоей системы уравнений наподобие разработанной в статье Бароне ["Ministry of Production in the Collectivist State", in *Collectivist Economic Planning* (London: George Routledge & Sons, Ltd., 1935), Appendix]. Но что здесь практически значимо, так это не формальная структура подобной системы, а характер и объем конкретной информации, которая потребуется при попытке числового решения, и масштаб задач, предполагаемых таким числовым решением для любого современного общества. Проблема здесь, конечно, состоит не в том, насколько подробной должна быть такая информация и насколько точным расчет, чтобы сделать абсолютно точным само решение. Она заключается в том, как далеко следовало бы пройти по этому пути для получения результата, хотя бы сопоставимого с тем, что обеспечивает конкурентная система. Разберемся в этом немного подробнее.

Во-первых, ясно, что если централизованное управление действительно должно заменить инициативу руководителя частного предприятия и при этом не быть всего лишь нерациональным ограничением свободы его действий в том или ином отношении, то будет недостаточно, чтобы оно выступало просто в форме общего руководства. Ему придется входить в мельчайшие подробности и нести за них непосредственную ответственность. Невозможно решить рационально, сколько материала или нового оборудования следует передать какому-либо предприятию и по какой цене разумно будет это сделать (в бухгалтерском смысле), не решая при этом одновременно, следует ли и каким образом и дальше использовать уже работающие станки и инструменты или от них пора избавляться. Именно вопросы такого рода, нюансы технологии, экономия одного материала, а не другого или какая-то другая мелкая экономия -- вот что совокупно определяет успех или провал фирмы, и любой централизованный план, чтобы не быть безнадежно расточительным, все это должен учитывать. Чтобы быть в состоянии это сделать, необходимо относиться к каждому станку, инструменту или зданию не как к единице из класса физически одинаковых объектов, но как к индивидуальному экземпляру, чья полезность определяется конкретной степенью изношенности, расположением и т.д. То же самое относится и к любой партии товаров, находящейся в ином месте или отличающейся чем-либо еще от остальных партий. Это означает, что для достижения в данном отношении той степени экономии, которую обеспечивает конкурентная система, расчеты планирующей центральной власти должны трактовать имеющуюся совокупность инструментальных благ, как если бы она состояла почти из стольких же различных типов таких благ, сколько есть отдельных единиц. Пока это касается обычных благ, то есть незавершенной или готовой продукции кратковременного пользования, ясно, что различных их видов будет во много раз больше, чем мы могли бы представить, если бы классифицировали их только по техническим характеристикам. Два технически одинаковых блага в разных местах, в разной упаковке или разной даты изготовления нельзя считать равными с точки зрения их полезности для основной массы целей, если требуется обеспечить хоть какой-то минимум их эффективного использования.

Поскольку в централизованно управляемой экономике исполнитель конкретного плана был бы лишен права по собственному усмотрению заменять одно благо на другое, вся эта огромная масса разнородных единиц обязательно должна была бы включаться в классификацию планирующих органов отдельно друг от друга. Очевидно, что чисто статистическая задача их перечисления превосходит что бы то ни было в подобном роде,

предпринимавшееся до сих пор. Но и это еще не всё. Информация, которая понадобилась бы центральным планирующим органам, должна была бы включать полное описание всех имеющих значение технических характеристик каждого из благ, в том числе стоимость транспортировки в любое другое место, где оно могло бы использоваться с большей выгодой, стоимость его возможного ремонта или усовершенствования, и т.д.

Но все это ведет к другой, еще более важной проблеме. Обычные теоретические абстракции, используемые для объяснения равновесия в конкурентной системе, включают предположение, что определенный набор технических знаний является "данным". Конечно, это не означает, что все лучшее техническое знание сконцентрировано где-то в одной голове, но что в наличии будут люди со всеми разновидностями знаний и что из конкурентов в каком-то конкретном деле, вообще говоря, преуспеет тот, кто даст своим техническим знаниям наиболее подходящее употребление. В централизованно планируемой экономике отбор из известных технических методов наиболее подходящих будет возможен, только если все такое знание можно будет использовать в расчетах центральной власти. На практике это означает, что такое знание должно быть сконцентрировано в голове одного человека или в лучшем случае в головах узкой группы людей, которые действительно сформулируют уравнения, подлежащие решению. Вряд ли надо оговаривать, что эта идея абсурдна даже для случая, когда речь идет о знании, про которое можно буквально сказать, что оно "существует" в любой момент времени. Но большая часть реально используемого знания никоим образом не "существует" в такой готовой форме. В основном оно воплощается в приемах мышления, позволяющих отдельному инженеру быстро отыскивать новые решения, как только он сталкивается с новым стечением обстоятельств. Чтобы допустить практическую осуществимость таких математических решений, нам придется предположить, что концентрация знаний у центральной власти включает также способность к изысканию всех мелких усовершенствований подобного рода.

Есть третья категория данных, которые следовало бы иметь в наличии прежде чем предпринимать реальные действия по определению подходящих методов производства и требуемых объемов выпуска, -- данных относительно важности различных видов и объемов потребительских благ. В обществе, где потребитель был бы волен тратить свой доход, как ему заблагорассудится, такие данные должны были бы принимать форму исчерпывающих перечней разных количеств различных товаров, покупаемых при любой возможной комбинации цен на все те товары, что могут быть произведены. Полученные цифры неизбежно носили бы характер оценок на будущий период, основанных на прошлом опыте. Однако прошлый опыт не в состоянии покрыть всю область необходимых знаний и по мере изменения вкусов во времени эти перечни подлежали бы непрерывному пересмотру.

Очевидно, что только сбор таких данных представляет непосильную для человека задачу. Однако если централизованно управляемое общество должно функционировать так же эффективно, как конкурентное, где выполнение задачи по их сбору децентрализовано, эти данные должны иметься в наличии. Давайте, однако, допустим на минуту, что эта трудность -- "всего лишь трудность статистической техники", как презрительно именуют ее большинство сторонников планирования, -- действительно преодолена. Это стало бы лишь первым шагом к решению главной задачи. Когда материал собран, еще необходимо выработать конкретные решения, которые им подразумеваются. Ну а масштаб этой главной математической операции будет зависеть от числа подлежащих определению неизвестных величин. Число неизвестных будет равно числу товаров, которые предстоит произвести. Как мы уже видели, нам придется рассматривать в качестве различных благ все конечные продукты, изготовление которых должно начаться или уже идет в данный

момент, если заканчиваться оно будет в разное время. Сегодня мы вряд ли способны сказать, каково их число. Однако едва ли будет преувеличением предположить, что в достаточно развитом обществе его порядок составит по крайней мере сотни тысяч. Это означает, что в каждый последующий момент каждое решение должно будет основываться на одновременном решении такого же числа дифференциальных уравнений. Подобная задача не может быть выполнена известными в настоящее время (1935) способами за целую жизнь. К тому же эти решения должны были бы не только приниматься непрерывно, но также и срочно доводиться до тех, кто обязан их выполнять.

Возможно, скажут, что такая степень точности не так уж необходима, поскольку функционирование существующей экономической системы также к ней не приближается. Однако это не вполне так. Ясно, что мы никогда не приблизимся к состоянию равновесия, описываемому подобной системой уравнений. Но дело не в этом. Нам не следует ожидать равновесия, пока не прекратятся все внешние изменения. Самое важное в нынешней экономической системе, что она в той или иной мере реагирует на все мелкие изменения и различия, которые пришлось бы сознательно игнорировать в рассматриваемой нами системе, чтобы ее обсчет оказался нам под силу. В этом отношении рациональное решение было бы невозможно по любым вопросам, связанным с деталями, определяющими в совокупности успех производственных усилий.

Невероятно, чтобы кто-либо, осознав масштаб подобной задачи, всерьез предложил систему планирования на основе всеобъемлющей системы уравнений. Из чего действительно исходили те, кто разрабатывали такого рода анализ, так это из убеждения, что, начиная с состояния, унаследованного от существовавшего до того капиталистического общества, адаптация к повседневно происходящим мельчайшим изменениям может быть достигнута постепенно, методом проб и ошибок. Однако такое предположение страдает двумя фундаментальными пороками. Прежде всего, как уже неоднократно указывалось, недопустимо предполагать, что связанные с переходом от капитализма к социализму изменения в относительных ценностях, будут незначительными, позволяя таким образом использовать цены существовавшей прежде капиталистической системы как точку отсчета и избежать полной перестройки всей системы цен. Но даже если мы пренебрежем этим очень серьезным возражением, нет ни малейшего основания полагать, что таким путем задача была бы решена. Нам достаточно вспомнить о трудностях, возникающих при установлении цен даже тогда, когда речь идет только о нескольких товарах, и принять затем во внимание, что установление цен в подобной системе относилось бы не к нескольким, а ко всем продуктам, готовым и незавершенным, и что нужно было бы производить такие же частые и разнообразные изменения цен, какие ежедневно и ежечасно происходят в капиталистическом обществе, чтобы убедиться, что таким путем невозможно даже приблизительно достичь решения, обеспечиваемого конкуренцией. Почти каждое изменение любой отдельной цены делало бы необходимым изменение сотен других цен, и большинство таких изменений никоим образом не были бы пропорциональны, но зависели бы от разной степени эластичности спроса, от возможностей замещения и иных изменений в методе производства. Безусловно, абсурдно думать, что все такие приспособления удавалось бы осуществлять с помощью последовательной серии приказов центральной власти, когда в том замечалась бы необходимость, и что тогда бы каждая цена назначалась, корректировалась, вновь менялась и так до тех пор, пока не достигалась бы какая-то степень равновесия. Что цены могут устанавливаться на основе полного вѣдения ситуации, по крайней мере мыслимо, хотя и совершенно неосуществимо практически. Но основывать правильное назначение цен на изучении крохотной части экономической системы -- это задача, которую нельзя выполнить рационально ни при каких условиях. Попытки в этом направлении должны

либо делаться на путях математического решения, рассмотренных выше, либо их следует вообще оставить.

4

Ввиду этих трудностей неудивительно, что практически все, кто действительно пытались продумать проблему централизованного планирования, отчаялись в возможности решить ее в мире, где любой преходящий каприз потребителя вполне способен начисто расстроить тщательно разработанные планы. Сейчас уже более или менее установлено, что свободный выбор потребителя (а также, надо полагать, свободный выбор рода занятий) и планирование из центра -- цели несовместимые. Но отсюда возникло впечатление, что непредсказуемый характер потребительских вкусов является единственным или основным препятствием на пути успешного планирования. Морис Добб недавно довел этот взгляд до логического завершения, заявив, что стоило бы отказаться от свободы потребителя, если такая жертва позволит сделать возможным социализм [см. его статью "Economic Theory and the Problem of a Socialist Economy", *Economic Journal*, December, 1933. Несколько позже (в работе *Political Economy of Capitalism* [London, 1937], p. 310) д-р Добб выразил протест против такой интерпретации его прежнего заявления, но, перечитав его, я все же нахожу трудным интерпретировать его иначе.]. Несомненно, это очень мужественный шаг. В прошлом социалисты всегда протестовали против любого намека, что жизнь при социализме будет подлежать мелочной регламентации, как жизнь в бараках. Д-р Добб считает такие взгляды устарелыми. Нас здесь не интересует вопрос, нашел ли бы он много сторонников, обратись он со своими идеями к социалистическим массам. Вопрос в том, приведет ли это к решению нашей проблемы.

Д-р Добб открыто признает, что он отказался от взгляда, которого сейчас придерживаются Г.Д.Диккинсон и ряд других авторов, что проблема могла или должна бы решаться с помощью особой системы, при которой бы цены конечных продуктов и цены первичных материалов определял своего рода рынок, а из этих цен с помощью определенной системы расчета выводились цены на все остальные продукты. Но он, похоже, находится в плену забавной иллюзии, что необходимость в каком-либо ценообразовании обусловлена лишь тем предрассудком, что следует уважать предпочтения потребителей, и что, следовательно, категории экономической теории и, по-видимому, все проблемы ценности перестанут иметь значение в социалистическом обществе. "Если бы существовало равенство вознаграждения, рыночные оценки *ipso facto* потеряли бы приписываемую им значимость, поскольку денежные издержки утратили бы всякий смысл".

Трудно отрицать, что уничтожение свободного выбора потребителя в некоторых отношениях упростило бы проблему. Одна из непредсказуемых переменных величин была бы устранена, и таким образом несколько сократилась бы частота необходимых приспособлений. Но поверить, по примеру д-ра Добба, что таким путем была бы устранена необходимость той или иной формы ценообразования, точного сопоставления затрат и результатов, значит продемонстрировать полное непонимание действительной проблемы. Цены перестанут быть необходимыми, только если предположить, что в социалистическом государстве производство не будет иметь вообще никакой определенной цели -- то есть что оно не будет управляться в соответствии с какой-то строго упорядоченной шкалой предпочтений, как бы произвольно она ни была установлена, а государство будет просто производить что-нибудь, и потребителям тогда придется брать то, что произведено. Д-р Добб спрашивает, что в таком случае было бы потеряно. Ответ -- почти все. Его позиция оказалась бы неуязвимой только в том случае, если бы издержки определяли ценность так, что имеющиеся ресурсы важно было бы хоть

как-то использовать, а способ их использования никак не отражался на нашем благосостоянии, поскольку сам факт их употребления наделял бы продукт ценностью. Но вопрос о том, надо ли нам потреблять больше или меньше, поддерживать и повышать уровень жизни или скатиться обратно к состоянию дикарей, всегда стоящих на краю голода, зависит прежде всего от того, как мы используем наши ресурсы. Разница между экономичным и неэкономичным распределением и комбинированием ресурсов среди различных отраслей -- это разница между скудостью и достатком. Диктатор, сам выстраивающий по порядку различные потребности членов общества в соответствии со своими суждениями об их достоинствах, избавляет себя от хлопот по выяснению человеческих предпочтений и избегает невыполнимой задачи сведения индивидуальных шкал в согласованную единую шкалу, выражающую общие представления о справедливости. Но если он захочет хоть в какой-то степени рационально и последовательно исходить из этой установки, если он захочет реализовать то, что, как он считает, должно быть целями общества, ему придется решать все те проблемы, что мы только что обсуждали. Ему не удастся даже избежать расстройств планов вследствие непредвиденных изменений, поскольку сдвиги во вкусах никоим образом не являются единственными и даже самыми важными из изменений, которые невозможно предусмотреть. Капризы погоды, изменения в численности или в состоянии здоровья населения, поломки оборудования, открытие или неожиданное истощение залежей полезных ископаемых и сотни других непрекращающихся изменений будут создавать для него не меньшую необходимость в ежеминутном пересмотре своих планов. Расстояние до того, что реально осуществимо на практике, так же как препятствия на пути рациональной деятельности, можно лишь слегка уменьшить, пожертвовав идеалом, от которого с готовностью откажутся немногие из тех, кто осознали, что за ним стоит.

5

При таком положении легко понять, почему радикальное решение д-ра Добба не нашло много приверженцев и почему многие из более молодых социалистов ищут выход в прямо противоположном направлении. В то время как д-р Добб хочет подавить остатки свободы и конкуренции, все еще допускаемые в традиционных социалистических схемах, более поздний по времени подход нацелен на полное восстановление конкуренции. В Германии такие предложения фактически уже опубликованы и обсуждаются, однако в Англии мысли об этом находятся еще в зачаточном состоянии. Предложения м-ра Диккинсона -- маленький шаг в данном направлении. Известно тем не менее, что некоторые экономисты помоложе, размышлявшие над этой проблемой, пошли намного дальше и готовы довести дело до конца, восстановив конкуренцию полностью, -- во всяком случае настолько, насколько, по их мнению, это совместимо с сохранением за государством собственности на все материальные средства производства. Хотя пока нельзя сослаться на какую-либо опубликованную работу с таким подходом, того, что выяснилось из бесед и обсуждений, достаточно, по-видимому, чтобы стоило рассмотреть его содержание [обсуждение двух более поздних публикаций на эту тему см. в следующей главе].

Во многих отношениях эти планы очень интересны. Общая фундаментальная идея состоит в том, что должны существовать рынки и конкуренция между независимыми предпринимателями, или менеджерами, отдельных фирм, а следовательно, и денежные цены на все блага, промежуточные или конечные, -- как и в нынешнем обществе. Однако предприниматели не должны быть владельцами используемых ими средств производства, но лишь оплачиваемыми государственными чиновниками, действующими по государственным инструкциям и производящими не ради прибыли, а для того, чтобы иметь возможность продавать по ценам, которые только покрывают издержки.

Бесполезно спрашивать, подпадает ли еще такая схема под то, что обычно считается социализмом. В целом представляется, что ее можно отнести к нему. Более важен вопрос, имеет ли она еще какое-то отношение к планированию. По-видимому, она предполагает планирования не намного больше, чем создание рациональной правовой рамки для капитализма. Если бы эту схему можно было реализовать в чистом виде, так что руководство экономической деятельностью было целиком предоставлено конкуренции, то и планирование также свелось бы к обеспечению стабильной рамки, внутри которой конкретные действия были бы оставлены на усмотрение индивидуальной инициативы. В таком случае полностью отсутствовал бы тот род планирования, или централизованной организации производства, который, как предполагают, приведет к более рациональной организации человеческой деятельности, чем "хаотическая" конкуренция. Однако насколько это действительно так, зависит, конечно, от того, в какой степени была бы восстановлена конкуренция -- так сказать, от решающего вопроса, являющегося здесь решающим во всех смыслах, а именно: что же должно быть той независимой единицей, тем элементом, который покупает и продает на рынках.

На первый взгляд представляются возможными две основные разновидности такой системы. Мы можем предположить либо что конкуренция будет существовать только между отраслями и каждая отрасль будет выступать так, как если бы она была единым предприятием, либо что внутри каждой отрасли будет множество независимых фирм, конкурирующих друг с другом. Только в этой последней форме данное предложение действительно уходит от большей части возражений против централизованного планирования как такового и ставит свои собственные проблемы. Эти проблемы носят чрезвычайно интересный характер. Здесь с предельной ясностью обнажается вопрос о рациональном обосновании частной собственности -- его наиболее общий и фундаментальный аспект. Речь в таком случае идет уже не о том, может ли единая центральная власть рационально разрешить все проблемы производства и распределения, а о том, можно ли добиться успеха, оставив решения и ответственность конкурирующим индивидам, которые не являются собственниками и не заинтересованы как-то иначе в переданных на их попечение средствах производства. Существует ли какая-то решающая причина, почему ответственность за использование любой части имеющегося производственного оборудования следует всегда связывать с личной заинтересованностью в получении от него прибылей и избежании убытка? Или же вопрос только в том, служат ли общим целям преданно и в меру своих способностей те отдельные менеджеры, которые в рассматриваемой схеме уполномочены обществом выступать от его имени при реализации прав собственности?

6

Нам лучше обсудить этот вопрос, когда мы подойдем к подробному рассмотрению подобных схем. Однако прежде чем мы к нему приступим, нужно показать, почему для удовлетворительного функционирования конкуренции необходимо пройти весь путь и не останавливаться на ее частичном восстановлении. Таким образом, следующая ситуация, требующая рассмотрения, это полностью интегрированные отрасли, каждая из которых управляется из своего центра, но при этом конкурирует с другими отраслями за клиентуру и факторы производства. Важность этого случая выходит за рамки проблем социализма, которые нас сейчас занимают прежде всего, поскольку именно путем создания таких монополий по производству определенных продуктов защитники планирования в рамках капитализма надеются "рационализировать" так называемый "хаос" свободной конкуренции. Это поднимает общую проблему: отвечает ли интересам общества планирование или рационализация отдельных отраслей там, где это можно сделать только через создание монополий, или, напротив, мы должны считать, что это приведет к

неэкономичному использованию ресурсов и что предполагаемая экономия фактически обернется потерями с точки зрения общества.

Сейчас достаточно широко принят теоретический аргумент, показывающий, что в условиях повсеместной монополизации не существует какой-либо определенной точки равновесия и что, следовательно, такие условия не дают никаких оснований полагать, что ресурсы будут использованы наилучшим образом. Вероятно, обсуждение того, что бы это означало на практике, стоит начать цитатой из работы крупного ученого, которому принадлежит основная заслуга в формулировке данного аргумента.

В качестве экономического идеала предлагалось, чтобы каждая отрасль торговли и промышленности сформировалась в отдельное объединение. У этой картины есть свои привлекательные стороны. Не вызывает она с первого взгляда и морального отторжения, поскольку там, где монополисты все, никто не будет жертвой монополии. Однако при внимательном рассмотрении вскрывается крайне пагубный для промышленности момент -- нестабильность ценности (*instability in the value*) всех тех изделий, спрос на которые находится под влиянием цен на другие товары, а круг их, вероятно, будет очень широк.

Среди тех, кто пострадал бы при новом режиме, был бы класс, особенно интересующий читателей данного Журнала, а именно экономисты-теоретики, которые бы лишились бы своего занятия -- исследование условий, определяющих ценность. Выжила бы только эмпирическая школа, процветая в хаосе, близком ее духу [F.Y. Edgeworth, *Collected Papers*, I, 138].

Сегодня сам факт, что экономисты-теоретики лишатся своего занятия, доставил бы, вероятно, только удовольствие большинству защитников планирования, если бы не то обстоятельство, что одновременно прекратит свое существование и изучаемый ими порядок. Нестабильность ценности, о которой говорит Эджворт, или неопределенность (*indeterminateness*) равновесия, как это можно обозначить более общим термином, никоим образом не означает, что огорчение было бы доставлено только экономистам-теоретикам. На самом деле в такой системе не будет стремления наиболее выгодно употреблять имеющиеся факторы производства, комбинируя их в каждой отрасли таким образом, чтобы вклад каждого фактора не был ощутимо меньше, чем при его применении где-либо еще. Реально преобладало бы стремление корректировать производство не так, чтобы получать максимальную отдачу от каждого вида имеющихся ресурсов, но так, чтобы максимизировать разность между ценностью продукта и ценностью факторов производства, которые можно было бы использовать где-либо еще. Эта сосредоточенность на максимальных монопольных прибылях, а не на лучшем использовании имеющихся факторов производства, есть неизбежное следствие превращения самого права производить товар в "редкий фактор производства". В мире таких монополий может не произойти повсеместного сокращения производства в том смысле, что какие-то факторы производства остались бы незанятыми, однако выпуск, конечно, снизится из-за неэкономичного распределения факторов между отраслями. Так будет, даже если нестабильность, которой опасался Эджворт, окажется незначительной. Достигнутое равновесие имело бы форму, при которой наилучшим образом использовался бы только один редкий "фактор": возможность эксплуатировать потребителей.

7

Этим не ограничивается вред от общей реорганизации промышленности в монополистическом духе. Так называемая "экономия", которая, как утверждается, стала бы возможна в случае "реорганизации" отраслей на монополистических принципах, при

ближайшем рассмотрении оказывается чистой растратой ресурсов. В настоящее время практически во всех случаях, когда отстаивается планирование в отдельных отраслях, целью выступает использование достижений технического прогресса. [Об этих проблемах ср.: А.С.Pigou, *Economics of Welfare* (4th ed., 1932), p.188 (рус. пер.: Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М., "Прогресс", 1985), и мою статью: "The Trend of Economic Thinking", *Economica*, May, 1933, p. 132.] Иногда провозглашается, что конкуренция делает невозможным желательное внедрение технических нововведений. В других случаях возражения против конкуренции состоят в том, что она вызывает потери, навязывая применение новых станков и т.п., когда производители предпочли бы продолжать использовать старые. Но в обоих случаях, как легко показать, планирование, нацеленное на предотвращение того, что произошло бы при конкуренции, приведет к растрате ресурсов общества.

Раз производственное оборудование любого рода уже существует, желательно, чтобы оно использовалось, пока издержки его применения ("прямые издержки") ниже общих издержек обеспечения той же работы альтернативным способом. Если его существование мешает внедрению более современного оборудования, это означает, что необходимые для производства того же продукта более современными методами ресурсы могут быть использованы с большей выгодой в какой-то иной области. Если более старый и более современный заводы существуют рядом и более современные фирмы запуганы "конкуренцией не на жизнь, а на смерть" со стороны более отсталых фабрик, это может означать одно из двух. Или новейшие методы реально не являются лучшими, то есть их внедрение было основано на ошибочном расчете и не должно было бы иметь места. Тогда если эксплуатационные расходы при новом методе действительно выше, чем при старом, выход, конечно, есть: закрыть новый завод, даже если он в каком-то отношении обладает "техническим" превосходством. Или -- и это наиболее вероятно -- ситуация будет такова, что, хотя эксплуатационные расходы при новом способе ниже, чем при старом, они не настолько ниже, чтобы при цене, покрывающей эксплуатационные расходы старого завода, оставлять разницу, достаточную для выплаты процентов и амортизации на новом заводе. В этом случае также имел место неправильный расчет. Новый завод совершенно незачем было строить. Однако раз он существует, единственный способ для общества извлечь хоть какую-то выгоду из ошибочно направленного капитала -- это дать ценам опуститься до конкурентного уровня и списать часть стоимости основного капитала новых фирм. Искусственно сохранять стоимость основного капитала нового завода за счет принудительного закрытия старого просто означало бы обложение налогом потребителя в интересах владельца нового завода без какой-либо компенсирующей выгоды в форме возросшего или улучшенного производства.

Все это выглядит еще яснее в том достаточно частом случае, когда новый завод действительно лучше в том смысле, что если бы он еще не был построен, то сейчас было бы выгодно это сделать. Однако если пользующиеся этим заводом фирмы испытывают финансовые затруднения из-за того, что он был построен в период завышенных затрат по его возведению, они в результате оказываются обременены чрезмерными долгами. Говорят, что в некоторых отраслях английской промышленности нередки подобные примеры, когда технически наиболее эффективные фирмы одновременно находятся в наихудшем финансовом состоянии. Но и здесь любая попытка сохранить стоимость основного капитала, подавляя конкуренцию со стороны менее современных фирм, просто позволит производителям держать более высокие цены, чем в противном случае, а это будет только в интересах держателей облигаций. С общественной точки зрения, правильный шаг -- это списание части завышенной стоимости основного капитала, доведение ее до более реального уровня. Поэтому потенциальная конкуренция со стороны менее современных фирм оказывает благотворный эффект в виде снижения цен до

уровня, соответствующего существующим издержкам производства. Капиталисту, инвестировавшему в неудачный момент, это может не нравиться, но явно отвечает общественному интересу.

Последствия планирования ради сохранения стоимости основного капитала, вероятно, еще более вредны, когда выражаются в задержке внедрения новых изобретений. Если мы отвлечемся, как, вероятно, имеем право, от случая, когда есть основания допускать, что планирующая власть обладает большей способностью к предвидению и лучше подготовлена к оценке вероятности дальнейшего технического прогресса, чем частный предприниматель, станет ясно, что любые такие попытки, направленные, казалось бы, на устранение растраты ресурсов, на самом деле будут ее вызывать. При условии приемлемой степени предвидения со стороны предпринимателя новое изобретение будет внедрено, только если оно позволит обеспечить либо те же услуги, что и прежде, при меньшем расходовании имеющихся ресурсов (то есть когда меньше иных возможностей использования этих ресурсов будет приноситься в жертву), либо услуги лучшего качества при пропорционально не более высоких расходах. Падение капитальной стоимости существующих орудий производства, которое, несомненно, тогда последует, ни в коей мере не явится потерей для общества. Если они могут использоваться для других целей, падение ценности этих орудий при их нынешнем употреблении ниже той, что они имели бы где-либо еще, есть четкий показатель, что их следует перебросить. Если их нельзя употребить иначе, чем сейчас, их прежняя ценность представляет интерес только как показатель того, насколько должны понизиться издержки производства под влиянием нового изобретения прежде, чем будет иметь смысл окончательно отказаться от этих орудий производства. В поддержании ценности уже инвестированного капитала заинтересованы только его владельцы. Но при данных обстоятельствах его можно уберечь от обесценения, лишь скрыв от остальных членов общества преимущества нового изобретения.

8

Вероятно, на это последует возражение, что такая суровая критика может быть верна в отношении нацеленных на максимальные прибыли капиталистических монополий, но явно ошибочна в отношении интегрированных отраслей в социалистическом государстве, чьи менеджеры получали бы указания назначать цены, только покрывающие издержки. Верно, что предыдущий раздел был, в сущности, отступлением по проблеме планирования при капитализме. Но оно позволило нам не только рассмотреть некоторые из предполагаемых преимуществ, связываемые обычно со всякой формой планирования, но и указать определенные проблемы, которые обязательно будут сопровождать планирование при социализме. Позже мы встретимся с ними снова. Сейчас, однако, пора вновь обратиться к случаю, когда монополизированными отраслями управляют не затем, чтобы добиться максимальной прибыли, но пытаются заставить их действовать так, как если бы существовала конкуренция. На самом ли деле указание, что они должны стремиться к ценам, только покрывающим их (предельные) издержки, дает ясный критерий действий?

Именно в связи с этим начинает казаться, что чрезмерная озабоченность условиями гипотетического состояния устойчивого равновесия привела современных экономистов вообще и в особенности выдвигающих данное решение к тому, чтобы приписать понятию издержек куда большую точность и определенность, чем можно придать любому ценностному феномену в реальной жизни. В условиях широко распространенной конкуренции термин "издержки производства" действительно имеет вполне точное значение. Но как только, покинув царство всепроникающей конкуренции и стационарного

состояния, мы обращаемся к миру, где большинство существующих средств производства являются продуктом конкретного процесса, который, возможно, никогда больше не повторится; где, вследствие непрерывных изменений, ценность большинства более долговечных орудий производства почти или совсем не имеет связи с понесенными при их производстве издержками, но зависит только от их ожидаемого применения в будущем, вопрос о том, каковы в точности издержки производства данного продукта, становится вопросом чрезвычайно сложным, на который невозможно определенно ответить, основываясь на каких бы то ни было процессах внутри отдельной фирмы или отрасли. Он останется без ответа, если не сделать сначала каких-то предположений относительно цен на продукцию, в изготовлении которой эти орудия будут участвовать. Большая часть того, что обычно обозначается как "издержки производства", фактически не является элементом стоимости, данным независимо от цены продукта, но квази рентой, или нормой амортизации, начисляющейся на капитализированную величину ожидаемых квази рент, и потому зависит от ожидаемых в будущем цен.

Для каждой отдельной фирмы в конкурентной отрасли эти квази ренты, хотя и зависят от цены, являются не менее надежным и необходимым указателем для определения требуемого объема производства, чем истинные издержки. Напротив, только так можно учесть какие-то альтернативные цели, затрагиваемые этим решением. Возьмем для примера какое-либо уникальное орудие производства, которое никогда не будет заменено, которое невозможно использовать вне монополизированной отрасли -- и которое, следовательно, не имеет рыночной цены. Его применение не связано ни с какими издержками, определяемыми независимо от цены на его продукцию. Однако если оно достаточно долговечно и может использоваться с большей или меньшей интенсивностью, его амортизация должна учитываться как истинные издержки, чтобы рационально определять требуемый объем производства в каждый отдельный момент времени. Это так не только потому, что его возможные услуги в будущем надо сравнивать с результатами более интенсивного его использования в настоящем, но и потому, что, пока это орудие существует, оно экономит услуги каких-то других факторов, которые иначе понадобились бы для его замены и которые тем временем можно употребить для других целей. Ценность услуг этого орудия определяется в таком случае жертвами, связанными со следующим лучшим способом производства того же продукта. Соответственно, его услуги нужно экономить, поскольку косвенно от них зависит удовлетворение каких-то альтернативных потребностей. Однако ценность этих услуг можно определить только в том случае, если реальной или потенциальной конкуренции со стороны других возможных методов производства того же продукта позволено влиять на его цену.

Возникающая здесь проблема хорошо известна в сфере регулирования предприятий коммунального обслуживания. В связи с этим широко обсуждался вопрос, как -- при отсутствии реальной конкуренции -- можно "имитировать" ее результаты, заставляя монополистические комплексы назначать цены, эквивалентные конкурентным. Но все попытки найти решение потерпели неудачу. Как недавно показал Р.Ф.Фаулер [*The Depreciation of Capital, Analytically Considered* (London, 1934, pp. 74 ff.)], они были обречены на провал, поскольку установленное сооружение используется длительный период, а один из наиболее важных элементов издержек, процент и амортизацию по такому сооружению, можно определить только после того, как станет известна цена, вырученная за произведенную продукцию.

И вновь могут возразить, что это соображение уместно в капиталистическом обществе, но что, поскольку даже в капиталистическом обществе фиксированные издержки не учитываются при определении краткосрочного объема выпуска, есть гораздо больше оснований не учитывать их в социалистическом обществе. Однако это не так. Если надо

стремиться к рациональному распоряжению ресурсами и, в частности, если решения такого рода должны быть предоставлены руководителям каждой отдельной отрасли, необходимо, конечно, предусмотреть возмещение капитала из ее валовой выручки. Необходимо также, чтобы доходность такого реинвестируемого капитала была бы по крайней мере не ниже, чем где-либо еще. При социализме было бы так же ошибочно, как и в капиталистическом обществе, определять ценность подлежащего возмещению капитала на какой-то исторической основе, скажем, исходя из прошлых издержек производства данного оборудования. Ценность любого отдельного орудия и, следовательно, ценность его услуг, которую следует рассматривать как издержки, должна определяться исходя из ожидаемых прибылей с учетом всех альтернативных способов достижения того же результата и всех возможных вариантов применения этого орудия. Все обсуждавшиеся в разделе 7 вопросы устаревания, обусловленного техническим прогрессом или изменением потребностей, относятся сюда же. Невозможно заставить монополиста назначить цену, которая существовала бы при конкуренции, или цену, равную необходимым издержкам, поскольку конкурентные или необходимые издержки не могут быть известны, если нет конкуренции. Это не означает, что руководитель монополизированной отрасли при социализме будет, невзирая на распоряжения сверху, продолжать получать монопольные прибыли. Однако это означает, что, поскольку нельзя проверить экономические преимущества одного метода производства в сравнении с другим, место монопольных прибылей займут потери от неэкономичного использования.

Остается еще и вопрос о том, не выполняют ли прибыли какую-то необходимую функцию в динамических условиях и не являются ли они на самом деле главной уравнивающей силой, обеспечивающей адаптацию к любым изменениям. Конечно, когда внутри отрасли есть конкуренция, вопрос о том, целесообразно создавать новую фирму или нет, можно решить только на основе прибылей, получаемых уже существующими фирмами. По крайней мере в случае более полной конкуренции, которую нам еще предстоит обсудить, нельзя обойтись без прибыли как стимула к изменениям. Но можно полагать, что если какой-то один продукт производится только одним предприятием, оно будет приспосабливать свой объем производства к спросу, не меняя цены продукта, за исключением случая изменения издержек. Но как тогда решить, кто должен получать эти продукты, пока предложение не догнало еще возросший спрос? И еще важнее, как предприятие должно решать, оправданно ли нести первоначальные издержки по доставке дополнительных факторов к месту производства? Большая часть издержек на перемещение или перевод рабочей силы и других факторов представляет по своему характеру единовременное вложение капитала, оправданное, только если на вложенную сумму можно постоянно получать рыночную норму процента. Процент на неосязаемые капиталовложения, связанные с созданием или расширением завода (как, например, "капитал деловых связей" (good will), который необходим не только для завоевания популярности среди покупателей, но также и для сбора всех требуемых факторов в нужном месте), является, конечно, важнейшим фактором при подобных расчетах. Однако когда эти капиталовложения уже сделаны, они никак не могут считаться издержками, но будут выступать как прибыль, показывающая, что первоначальные инвестиции были оправданы.

Все это далеко не исчерпывает трудностей, возникающих в связи с идеей организации производства по государственно-монополистическому принципу. Мы ничего не сказали о проблеме определения границ отдельных отраслей, о положении фирм, выпускающих оборудование для многих различных областей производства, или о критериях суждения об успехе либо неудаче любого менеджера. Должна ли "отрасль" включать все процессы, ведущие к изготовлению одного и того же конечного продукта, или же она должна охватывать все заводы, производящие один и тот же промежуточный продукт, независимо

от того, в каком последующем процессе он используется? В обоих случаях потребуется также принимать решение о том, какие методы производства следует применять. Должна ли каждая отрасль производить свои собственные орудия или она должна покупать их у какой-то другой отрасли, производящей их в крупных масштабах, -- все это будет существенно влиять на решение вопроса о том, будет ли вообще выгодно использовать какое-либо конкретное орудие. Однако эти и очень схожие проблемы должны более подробно рассматриваться в связи с предложениями снова допустить конкуренцию в гораздо более полной форме. Но и того, что уже было здесь сказано, достаточно, по-видимому, чтобы показать: если кто-то хочет сохранить конкуренцию в социалистическом государстве с целью решения экономических проблем, то полумеры реально не помогут получить удовлетворительное решение. Лишь если конкуренция существует не только между, но и внутри различных отраслей, мы вправе ожидать, что она будет отвечать поставленной цели. Именно к рассмотрению такой более полной конкурентной системы мы и должны теперь обратиться.

9

На первый взгляд не очевидно, почему такая социалистическая система с конкуренцией как внутри отраслей, так и между ними не функционировала бы так же хорошо или так же плохо, как конкурентный капитализм. Похоже, ожидаемые трудности носили бы чисто психологический или моральный характер, о чем можно сказать очень мало определенного. Это правда, что возникающие в связи с подобной системой проблемы несколько отличаются по природе от тех, что встают в "плановой" экономике. Однако при более близком рассмотрении они оказываются не настолько отличными, как кажется вначале.

Решающими вопросами в этом случае будут следующие: что должно быть независимой единицей деловой активности? Кто должен быть менеджером? Какие ресурсы должны быть ему доверены и как проверить его успех или неудачу? Как мы увидим, это ни в коем случае не какие-то второстепенные административные проблемы вроде кадровых, которые сегодня приходится решать в любой крупной организации. Это основные проблемы, урегулирование которых будет влиять на структуру отрасли почти так же сильно, как если бы она непосредственно определялась решениями планирующей власти.

Начнем с того, что, как нетрудно убедиться, потребность в некоей центральной экономической власти окажется не намного меньше. Ясно также, что эта власть должна будет обрести почти такое же могущество, как и в плановой системе. Если собственником всех материальных ресурсов производства является общество, то кто-то должен будет реализовывать это право от его имени, по крайней мере в том, что касается распределения ресурсов и контроля за их использованием. Невозможно представить себе эту центральную власть просто в виде супербанка, ссужающего имеющиеся у него фонды лицам, предлагающим наивысшую цену. Ведь фонды будут ссужаться лицам, не имеющим никакой своей собственности. Следовательно, власть брала бы на себя весь риск и не имела бы возможности претендовать на какую-то определенную сумму денег, это делает банк. Она просто имела бы права собственности на все реальные ресурсы. Ее решения не могут также ограничиваться перераспределением свободного капитала в форме денег или, возможно, земли. Ей пришлось бы также решать, оставлять ли конкретный завод или часть оборудования и дальше предпринимателю, использовавшему их в прошлом, поверив ему на слово, или их следует передать другому, обещающему от них более высокий доход.

Представляя систему такого рода, будем исходить из наиболее благоприятных для нее предпосылок, что начальное распределение ресурсов между отдельными фирмами строится на основе исторически сложившейся структуры отрасли и что отбор руководителей осуществляется на основе какого-то теста на эффективность и их предшествующего опыта. Если существующая организация отрасли не принимается, ее можно усовершенствовать или рационально изменить только на основе самого широкого централизованного планирования. Это вернуло бы нас обратно к тем системам, которые конкурентная схема пытается заменить. Однако принятие существующей организации решило бы трудности только на данный момент. Любое изменение в условиях сделает необходимыми изменения в ней, и, конечно, через сравнительно короткое время центральная власть должна будет осуществить полную реорганизацию. По каким принципам она станет действовать?

Ясно, что в подобном обществе изменения будут такими же частыми, как и при капитализме; они будут и такими же непредсказуемыми. Все действия должны будут основываться на предвидении будущих событий и ожидания различных предпринимателей, естественно, будут разными. Решение о том, кому доверить данное количество ресурсов, придется принимать на основе индивидуальных обещаний о будущих доходах. Или, скорее, оно должно будет приниматься исходя из предположения, что определенный доход следует ожидать с определенной долей вероятности. Безусловно, не будет никакого объективного критерия для оценки величины риска. Но кто тогда должен решать, стоит ли рисковать? Для таких решений у центральных властей не будет других оснований, кроме результатов прошлой деятельности предпринимателя. Но как они должны определять, был ли оправдан риск, на который ему пришлось пойти в прошлом? И будет ли его отношение к рискованным проектам таким же, как если бы он рисковал своей собственностью?

Рассмотрим сначала, как будет проверяться его успех или неудача. Первый вопрос: преуспел ли он в сохранении ценности доверенных ему ресурсов. Но даже лучшие предприниматели время от времени терпят убытки, и иногда даже очень серьезные. Следует ли винить предпринимателя в том, что его капитал устарел под влиянием нововведений или сдвигов в спросе? Как надо определять, имел ли он право пойти на тот или иной риск? Является ли тот, кто никогда не терпит убытков, поскольку никогда не рискует, непременно человеком, действующим максимально в интересах общества? Безусловно, будет иметь место стремление предпочесть безопасный проект рискованному.

Однако рискованные и даже чисто спекулятивные операции будут здесь не менее важны, чем при капитализме. Специализация на функции несения риска профессиональных спекулянтов товарами будет такой же нужной формой разделения труда, как и сегодня. Но как следует определять размер капитала спекулянта и назначать его вознаграждение? Как долго можно позволить удачливому в прошлом предпринимателю нести убытки? Если наказанием за убытки является утрата положения "предпринимателя", не станет ли почти неизбежным, что вероятность убытков будет действовать как сдерживающее средство столь мощно, что перевесит перспективу получения самых больших прибылей? При капитализме потеря капитала также может означать утрату статуса капиталиста. Но этому сдерживающему средству всегда противостоит привлекательность возможности выигрыша. При социализме этого быть не может. Вполне допустимо даже, что общее нежелание затевать какое бы то ни было рискованное дело могло бы довести норму процента практически до нуля. Но принесет ли это выгоду обществу? Если бы это произошло просто из-за насыщения всех абсолютно надежных каналов инвестирования, то ценой стало бы прекращение всякого экспериментирования с новыми и неиспытанными методами. Даже если прогресс неизбежно будет связан с тем, что обычно

называют "растратой ресурсов", не следует ли на это пойти, если в целом выигрыш перевесит убытки?

Однако, возвращаясь к проблеме распределения и контроля ресурсов, остается очень серьезный вопрос, как в краткосрочном периоде решить, наилучшим ли образом данное предприятие использует свои ресурсы. Даже определение, является ли оно прибыльным или убыточным, будет зависеть от оценки будущих доходов, которые ожидается получить от его оборудования. Результаты его деятельности можно установить, только если приписать существующему заводу определенную ценность. Каким должно быть решение, если другой предприниматель обещает получить более высокую отдачу от того же завода (или даже отдельного станка), чем та, на которой основывает свою оценку нынешний пользователь? Следует ли забрать у него завод или станок и отдать другому человеку на основе простого обещания с его стороны? Может быть, это крайний случай, но он только иллюстрирует постоянное перемещение ресурсов между фирмами, идущее при капитализме и равно выгодное в социалистическом обществе. В капиталистическом обществе переход капитала от менее к более умелому предпринимателю происходит за счет того, что первый несет убытки, а последний добивается прибыли. Вопрос о том, кто должен иметь право рисковать ресурсами и сколько их ему нужно доверить, здесь решается человеком, преуспевшим в их приобретении и поддержании. Будет ли этот вопрос решаться в социалистическом государстве по тем же принципам? Будет ли руководитель фирмы иметь свободу реинвестировать прибыли куда бы и когда бы он ни посчитал нужным? В настоящее время он сравнивает риск, сопряженный с дальнейшим расширением текущего дела, с доходом, который он получит, если инвестирует его куда-то еще или если потребит свой капитал. Будут ли соображения альтернативных выгод, которые общество могло бы извлечь из этого капитала, иметь такой же вес при расчете риска и выигрыша, какой имела бы его собственная выгода или потеря?

Решение об объеме капитала, доверяемого отдельному предпринимателю, и сопряженное с этим решение о размере отдельной фирмы под контролем одного лица на самом деле есть решения о наиболее предпочтительной комбинации ресурсов. [Более подробный анализ того, как определяется размер индивидуальной фирмы при конкуренции и как это влияет на привлекательность различных методов производства и ценность товара, см. в: E.A.G.Robinson, *The Structure of Competitive Industry* (Cambridge Economic Handbooks, Vol. VII), London, 1931.] И именно на центральной власти будет лежать решение, следует ли расширить один завод, расположенный в каком-то месте, а не другой, расположенный где-то еще. Все это предполагает планирование со стороны центральной власти почти в таком же масштабе, как если бы она фактически управляла этим предприятием. Хотя, по всей вероятности, индивидуальный предприниматель получит какие-то определенные контрактные полномочия по управлению вверенным ему заводом, все новые капиталовложения будут неизбежно регулироваться централизованно. Такое разделение в распоряжении ресурсами просто имело бы тогда следствием, что ни предприниматель, ни центральная власть реально были бы не в состоянии осуществлять планирование и что было бы невозможно определить ответственность за ошибки. Предполагать, что можно создать условия полной конкуренции, не заставляя тех, кто отвечают за принятие решений, платить за свои ошибки -- чистейшая иллюзия. В лучшем случае это будет системой квазиконкуренции, где реально ответственным лицом будет не предприниматель, а одобряющий его решения чиновник и где поэтому в связи с проявлением инициативы и определением ответственности возникнут все те трудности, которые обыкновенно порождает бюрократия. [См. дополнительно крайне поучительный анализ этих проблем: R.G.Hawtrey, *The Economic Problem* (London, 1926), и: J.Gerhardt, *Unternehmertum und Wirtschaftsführung* (Тьbingen, 1930).]

Не претендуя на полноту нашего обсуждения псевдоконкуренции, можно, по крайней мере, заявить, что, как было показано, успешное управление ею сталкивается со значительными препятствиями и что это порождает многочисленные трудности, которые надо преодолеть, прежде чем мы сможем поверить, что ее результаты могут хотя бы приблизиться к результатам конкуренции, основанной на частной собственности на средства производства. Надо сказать, что в своем нынешнем состоянии все эти предложения, даже с учетом их предварительного и пробного характера, представляются скорее менее, чем более осуществимыми, нежели прежние социалистические предложения централизованно планируемой экономической системы. Верно, причем даже более, чем в случае планирования в узком смысле, что все рассмотренные трудности обусловлены "только" несовершенством человеческого разума. Но хотя это не дает оснований говорить, что подобные предложения "невозможны" в некоем абсолютном смысле, тем не менее остается справедливым, что очень серьезные препятствия к достижению желанной цели существуют и что, по-видимому, их никак нельзя преодолеть.

Вместо дальнейшего подробного обсуждения трудностей, вызываемых этими предложениями, интереснее, вероятно, будет поговорить о другом: что реально скрывается за тем фактом, что столь многие социалисты более молодого поколения, серьезно изучавшие сопряженные с социализмом экономические проблемы, оставили веру в централизованно планируемую экономическую систему и возложили надежды на то, что конкуренцию можно сохранить, даже если будет отменена частная собственность? Давайте на минуту допустим, что таким путем можно в большой мере приблизиться к результатам, которых достигает конкурентная система, основанная на частной собственности. Вполне ли осознается, сколь многие надежды, обычно связываемые с социалистической системой, уже оставляются, когда предлагается заменить централизованно планируемую систему, считавшуюся намного превосходящей любую конкурентную систему, более или менее удачной имитацией конкуренции? Каковы преимущества, компенсирующие потери в эффективности, которые, приняв во внимание высказанные выше возражения, нужно признать неизбежным следствием того факта, что без частной собственности конкуренция непременно будет ограниченной в каких-то отношениях и что, следовательно, некоторые решения придется оставить на произвольное усмотрение центральной власти?

Иллюзии, оставляемые вместе с идеей централизованно планируемой системы, действительно весьма велики. Надежда на полное превосходство в производительности плановой системы над "хаотической" конкуренцией должна будет уступить место надежде, что по производительности социалистическая система может почти не уступать капиталистической. Надежду на то, что распределение дохода может осуществляться совершенно независимо от цен на оказываемые услуги и основываться исключительно на соображениях справедливости, предполагающих, как правило, эгалитарное распределение доходов, придется заменить надеждой на возможность использования части дохода от материальных факторов производства для увеличения доходов труда. Ожидания того, что "система наемного труда" будет упразднена и что менеджеры социализированной отрасли или фирмы будут действовать по совершенно иным принципам, нежели стремящийся к прибыли капиталист, оказались равно ошибочными. То же самое нужно сказать и о надежде, что подобная социалистическая система могла бы избежать кризисов и безработицы, хотя у нас нет возможности рассмотреть этот вопрос подробно. Хотя система централизованного планирования не могла бы избежать совершения еще более серьезных ошибок того рода, что ведут к кризисам при капитализме, она имела бы, по крайней мере, преимущество в том, что могла бы равномерно распределять потери между

всеми членами общества. Ее превосходство могло бы заключаться в возможности в приказном порядке снижать заработную плату, когда это было бы сочтено необходимым для исправления ошибок. Однако нет никаких оснований считать, что конкурентная социалистическая система более способна, чем конкурентный капитализм, избегать кризисов и безработицы. Вероятно, разумная денежная политика может смягчить остроту этих проблем в обеих системах, но при конкурентном социализме в этом отношении нет таких возможностей, которые равно не существовали бы при капитализме.

Конечно, вопреки всему этому остается еще то преимущество, что при социализме можно было бы улучшить относительное положение рабочего класса, предоставив ему долю в доходах от земли и капитала. В конечном счете это и есть его главная цель. Но существование возможности улучшить положение трудящихся по отношению к тем, кто были капиталистами, не означает, что возрастет их абсолютный доход или что он останется хотя бы на том же уровне, что и прежде. Все, что произойдет в этом отношении, зависит исключительно от того, насколько понизится общая производительность. Следует еще раз подчеркнуть, что общие соображения, высказанные в таком кратком очерке, не могут привести к каким-либо окончательным выводам. Только последовательно подвергая подобному анализу феномены реального мира, можно прийти к приблизительным количественным оценкам значимости обсуждаемых здесь явлений. Естественно, мнения по этому поводу будут расходиться. Но даже если бы удалось достичь согласия относительного того, как именно будет воздействовать любая из предложенных систем на национальный доход, все равно останется следующий вопрос: не является ли любое данное его сокращение, будь то падение сегодняшнего абсолютного уровня или замедление будущих темпов роста, слишком дорогой ценой за осуществление этического идеала большего равенства в доходах? В этом вопросе, безусловно, научные доводы должны уступить место личным убеждениям.

Нельзя, однако, вынести решения, пока неясны альтернативы, пока хотя бы приблизительно не понято, какую цену придется уплатить. Все еще существующая в этой области огромная путаница и отказ признать невозможность иметь лучшее из обеих систем обусловлены, главным образом, тем, что большинство социалистов имеют очень слабое представление о том, какова реально должна быть предлагаемая ими система -- плановой или конкурентной. В настоящее время действенная тактика современных социалистов состоит в том, чтобы не прояснять этот вопрос и, провозглашая все преимущества, которые обычно связывались с централизованным планированием, ссылаться на конкуренцию, когда их спрашивают, как они собираются справиться с той или иной трудностью. Но никто еще не показал, как можно рационально соединить планирование и конкуренцию. И пока этого не сделано, любой имеет полное право настаивать на том, что надо четко разделять эти две альтернативы и что всякий сторонник социализма должен выбрать одно из двух, а затем показать, как он предлагает преодолеть трудности, присущие избранной им системе.

11

Я не претендую на то, чтобы считать выводы, сделанные при рассмотрении различных социалистических построений, непременно окончательными. Тем не менее из дискуссий последних лет неопровержимо вытекает одно: сегодня мы все еще интеллектуально не оснащены для того, чтобы усовершенствовать нашу экономическую систему посредством "планирования", или для того, чтобы решить проблему социалистического производства любым иным путем, избегнув при этом серьезнейшего падения производительности. Нам не хватает не "опыта", а интеллектуального овладения проблемой, которую пока мы научились только формулировать, но не отвечать на нее. Никто не помышляет отбросить

всякую вероятность, что решение все-таки будет найдено. Но при нынешнем состоянии нашего знания все же должны оставаться серьезные сомнения в том, что его можно найти. Мы должны, по крайней мере, считаться с возможностью, что последние пятьдесят лет мысль шла в неверном направлении, увлеченная надеждой, оказавшейся при ближайшем рассмотрении неосуществимой. Но даже если и так, отсюда еще не следует, что нам нужно было оставаться там, где мы находились до того, как заявила о себе эта тенденция. Это означает только, что движение в ином направлении могло бы быть более полезным. В самом деле, есть основания полагать, что, к примеру, было бы разумнее стремиться к более ровному функционированию конкуренции, чем препятствовать ей всяческими попытками планирования так долго, что почти любая альтернатива стала казаться предпочтительнее существующих условий.

Однако если наши выводы о существовании убеждений, представляющих, несомненно, одну из главных движущих сил современности, являются негативными, то это, конечно, не повод для удовлетворения. В мире, увлеченном планированием, ничто не может быть более трагичным, чем вывод, доказывающий неизбежность того, что неуклонное следование этим курсом должно привести к экономическому упадку. И хотя какая-то интеллектуальная реакция уже есть, почти нет сомнений, что еще долгие годы будет продолжаться движение в направлении планирования. Следовательно, развеять абсолютное уныние, с которым экономист вынужден сегодня смотреть на будущее мира, можно, только показав, что есть возможный и практически осуществимый путь преодоления трудностей. Даже у тех, кто не симпатизирует всем высшим целям социализма, есть серьезное основание желать, чтобы, раз уж мир движется в этом направлении, он оказался осуществимым, а катастрофа -- предотвращенной. Однако следует признать, что перспектива найти такое решение сегодня представляется крайне маловероятной. Знаменательно, что пока наименьший вклад в его поиск внесен сторонниками планирования. Если решению предстоит быть когда-либо найденным, то это будет больше заслуга критиков, по крайней мере прояснивших характер проблемы, пусть даже они и отчаялись найти решение.

ГЛАВА IX. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ (III): КОНКУРЕНТНОЕ «РЕШЕНИЕ»

Перепечатано из: *Economica*, Vol. VII, No. 26 (new ser.; May, 1940). Две книги, с которыми в основном связана данная глава: Oskar Lange and Fred Taylor, *On the Economic Theory of Socialism*, ed. В.Е.Lippincott (Minneapolis, 1938), и Н.Д.Диккинсон, *Economics of Socialism* (Oxford, 1939), будут упоминаться везде соответственно как «LT» (Ланге-Тэйлор) и «D» (Диккинсон).

1

Две главы в обсуждении экономической теории социализма можно отныне считать закрытыми. Первая связана с убеждением, что социализм полностью обойдется без расчета в единицах ценности и заменит его неким видом расчета *in natura*, выраженным в единицах энергии или какой-то другой физической величины. Несмотря на то, что такая точка зрения пока не исчезла и ее все еще разделяют некоторые ученые-естествоиспытатели и инженеры, она определенно оставлена экономистами. Вторая закрытая глава касается предложений, чтобы цены устанавливались с помощью расчетов, выполняемых планирующей властью с применением методов математической экономики, вместо того, чтобы их определяла конкуренция. По поводу этого предложения Парето (которого, что любопытно, иногда цитируют как сторонника подобного взгляда) уже сказал, по-видимому, последнее слово. Показав, как можно использовать систему уравнений для объяснения того, чем определяются цены на рынке, он добавляет:

"Здесь можно заметить, что такое определение никоим образом не имеет целью прийти к численному расчету цен. Давайте сделаем наиболее благоприятное для подобного расчета допущение, давайте предположим, что мы победили все трудности сбора данных по этой проблеме и что мы знаем *orhelimites* <полезности (фр.)> всех различных предметов потребления для каждого индивида и все условия производства всех товаров, и т.д. Это уже само по себе абсурдно. Но этого еще недостаточно, чтобы сделать решение проблемы возможным. Мы уже видели, что при 100 лицах и 700 товарах будет 70 699 условий (фактически огромное количество обстоятельств, пока не принятых во внимание, еще увеличат их число); мы должны будем, следовательно, решить систему из 70 699 уравнений. Практически это превышает возможности алгебраического анализа, что тем более верно, если представить себе баснословное число уравнений, нужное при населении в сорок миллионов и нескольких тысячах товаров. Тогда роли поменялись бы: не математика политической экономии, а политическая экономия помогала бы математике. Другими словами, если бы можно было действительно знать все эти уравнения, то единственный доступный человеку способ решить их -- это наблюдать практическое решение, которое дает рынок" [V.Pareto, *Manuel d'economie politique* (2d ed., 1927), pp. 233--34].

В данной статье мы займемся главным образом третьим этапом дискуссии, центральный пункт которого был точно определен профессором Ланге и д-ром Диккинсоном при разработке предложений, касающихся конкурентного социализма. Поскольку, однако, значение результатов прошлых обсуждений часто бывает представлено так, что это становится очень похоже на извращение истины, и поскольку как минимум одна из двух книг, которые будут рассматриваться, не совсем свободна от подобной тенденции, необходимо, по-видимому, сделать несколько предварительных замечаний о реальном значении прошлых разработок.

Первый момент связан с характером первоначальной критики, направленной против более примитивных концепций функционирования социалистической экономики, имевших

хождение примерно до 1920 г. Распространенная тогда идея (и все еще поддерживаемая, например, Отто Нейратом) хорошо выражена Энгельсом в его "Анти-Дюринге", когда он говорит, что люди будут устанавливать общественный план производства "очень просто, не прибегая к услугам прославленной "ценности"". Именно в противовес этому общему убеждению Н.Г.Пирсон, Людвиг фон Мизес и другие указывали, что, если социалистическое общество хочет действовать рационально, его расчеты должны будут направляться теми же формальными законами, которые применимы к капиталистическому обществу. Представляется необходимым специально подчеркнуть, что именно такое возражение выдвигали критики социалистических планов, поскольку профессор Ланге и особенно его издатель [см.: В.Е.Lippincott in LT, p. 7] склонны, видимо, полагать, что демонстрация применимости формальных принципов экономической теории к социалистической экономике обеспечивает ответ критикам. Дело в том, что никогда и никто, кроме социалистов, не отрицал, что эти формальные принципы следует применять к социалистическому обществу. Вопрос, поднимавшийся Мизесом и другими, заключался не в том, следует ли их применять, а в том, можно ли их применять на практике в отсутствие рынка. Поэтому когда Ланге и другие цитируют Парето и Бароне, показавших, что ценности в социалистическом обществе будут, в сущности, зависеть от тех же факторов, что и в конкурентном обществе, то это бьет полностью мимо цели. Это, конечно же, было продемонстрировано много раньше, в частности, фон Визером. Но никто из этих авторов не пытался показать, что ценностные величины, на которые должно опираться социалистическое общество, если хочет действовать рационально, поддаются определению. И Парето, как мы видели, недвусмысленно отрицал, что их можно установить с помощью вычислений.

Представляется таким образом, что в этом пункте критика более ранних социалистических схем оказалась столь успешной, что их защитники, за редким исключением [наиболее заметное исключение -- д-р М.Добб; см. его: *Political Economy and Capitalism* (1937), chap. viii, и его обзор книги профессора Ланге в *Modern Quarterly*, 1939], сочли необходимым присвоить аргументацию своих оппонентов и были вынуждены сконструировать совершенно новые схемы, о которых никто прежде не думал. Против более старой идеи, предполагавшей возможность рационального планирования без расчетов в единицах ценности, можно было справедливо возражать, что это невозможно логически.

Новые предложения, сконструированные для определения ценностей путем некоего процесса, отличного от конкуренции, основанной на частной собственности, поднимают проблему другого рода. Но уж точно несправедливо говорить, как делает Ланге, что поскольку критики выдвигают возражения иного типа против новых схем, разработанных в ответ на первоначальную критику, они "уступили в главном вопросе" и "отступили на вторую линию обороны" [LT, p. 63]. Не есть ли это скорее прикрытие собственного отступления с помощью создания путаницы в рассматриваемом вопросе?

Есть второй момент, по которому данная Ланге характеристика нынешнего состояния полемики вводит в серьезное заблуждение. Его читатель вряд ли сможет избавиться от впечатления, что идея того, что ценности нужно и можно определять с помощью методов математической экономики, то есть путем решения миллионов уравнений, есть зловерное изобретение критиков с целью высмеять усилия современных социалистических авторов.

Факт, который не может быть неизвестен Ланге, состоит, конечно, в том, что этот способ не раз всерьез предлагали социалистические авторы в качестве решения трудностей -- и среди прочих д-р Диккинсон, сейчас, однако, явно берущий назад свои прежние

предложения [D, p. 104, K. Tisch, *Wirtschaftsrechnung und Verteilung im zentralistisch organisierten sozialistischen Gemeinwesen* (1932)].

2

Третий этап полемики начался недавно с предложения решить проблемы определения ценностей путем возврата к конкуренции. Когда пять лет назад автор настоящей работы пытался оценить значение подобных попыток [в *Collectivist Economic Planning* (London, 1935) очерк "The Present State of the Debate", перепечатаваемый выше как глава VIII], приходилось полагаться на то, что могло быть собрано из устных дискуссий между экономистами-социалистами, поскольку тогда не было в наличии никакого систематического изложения теоретических основ конкурентного социализма. Пробел восполнен теперь двумя книгами, которые нам предстоит рассмотреть. Первая содержит перепечатку очерка Ланге, впервые опубликованного в 1936 и 1937 гг. вместе с более ранней статьей покойного профессора Тэйлора (датированной 1928 г.) и предисловием издателя, Б.Э.Липпинкота. В дополнение к совершенно ненужному пересказу аргументации Ланге в более грубых выражениях, Липпинкот своими неумеренными похвалами по адресу этой аргументации и выдвигаемыми в ее поддержку экстравагантными заявлениями [очерк д-ра Ланге охарактеризован как "первая работа, которая должна ознаменовать продвижение вперед после вклада Бароне" и показать с помощью "неопровержимых" аргументов "очевидную осуществимость и превосходство" социалистической системы (LT, pp. 13, 24, 37)] крайне способствует появлению у читателя предубеждения против научной, по сути, работы, которая за этим следует. Хотя работа написана в живом стиле и ограничивается общей характеристикой предмета, в ней предпринята серьезная попытка преодоления некоторых основных трудностей в данной области. <з>Вышедшая позднее книга Г.Д.Диккинсона представляет собой гораздо более полный обзор, предлагающий, в сущности, то же самое решение. [Любопытно, что д-р Диккинсон в своей книге нигде (кроме библиографии) не упоминает работу профессора Ланге.] Бесспорно, это выдающаяся книга, хорошо выстроенная, внятная и четкая, и за ней должна быстро закрепиться репутация образцового труда по данному предмету. Экономисту ее чтение действительно доставляет редкое удовольствие чувствовать, что недавние достижения экономической теории не прошли даром и даже помогли умерить политические разногласия, сведя их к вопросам, которые можно разумно обсуждать. Вероятно, сам д-р Диккинсон согласился бы, что имеет общие с несоциалистическими экономистами теоретические воззрения -- и фактически многое от них почерпнул; что в своих важнейших выводах о желательной экономической политике социалистического общества он гораздо сильнее отличается от большинства своих коллег-социалистов, нежели от "ортодоксальных" экономистов. Это, вместе с непредубежденностью, с какой автор принимает и рассматривает аргументы своих оппонентов, делает обсуждение его взглядов истинным удовольствием. Если социалисты вслед за экономистами будут готовы принять его книгу как новейшую общую трактовку экономической теории социализма с социалистической точки зрения, это может дать основание для гораздо более плодотворной дальнейшей дискуссии.

Как уже отмечалось, главные общие черты предложенного двумя авторами решения в сущности совпадают. Оба они полагаются в какой-то степени на конкурентный механизм для определения относительных цен. Однако оба они отказываются позволить рынку прямо определять цены и вместо того предлагают систему установления цен центральной властью, где состояние рынка конкретного товара, то есть соотношение спроса и предложения, просто служило бы для властей показателем того, следует ли предписанные цены повышать или понижать. Ни один из авторов не объясняет, почему он отказывается пойти до конца и полностью восстановить механизм цен. Однако поскольку я согласен

(хотя, вероятно, по иным причинам), что это было бы неосуществимо в социалистическом обществе, мы можем отложить пока этот вопрос и считать не требующим доказательств, что там конкуренция не может играть точно такую же роль, как в обществе, основанном на частной собственности, и что, в частности, пропорции, по которым участники станут обмениваться товарами на рынке, должны будут декретироваться властями.

Мы оставим подробности предложенной организации для дальнейшего обсуждения и сначала рассмотрим общее значение этого решения в трех аспектах. Во-первых, мы спросим, насколько социалистическая система такого рода все-таки соответствует надеждам, возлагавшимся на замену хаоса конкуренции плановой социалистической системой; во-вторых, насколько предлагаемый механизм является ответом на главную трудность; и, наконец, насколько он применим.

С первым и наиболее общим вопросом можно разобраться достаточно быстро, хотя он весьма важен, если иметь намерение видеть новые предложения в правильном свете. Это просто напоминание о том, сколько первоначальных претензий на превосходство планирования над конкуренцией отбрасывается, если плановое общество теперь должно в большой мере полагаться на конкуренцию в управлении своими отраслями. Вплоть до недавнего времени, по крайней мере, планирование и конкуренция обычно считались противоположностями, и это бесспорно все еще верно в отношении почти всех сторонников планирования, кроме немногих экономистов из их числа. Я опасаясь, что схемы Ланге и Диккинсона горько разочаруют всех тех сторонников научного планирования, которые, по недавнему высказыванию Б.М.С.Блэккета, верят, что "цель планирования прежде всего в преодолении результатов конкуренции" [см.: Sir Daniel Hall and others, *The Frustration of Science* (London, 1935), p. 142]. Разочарование было бы еще сильнее, если бы действительно оказалось возможным уменьшить элемент произвольной власти в конкурентной социалистической системе настолько, насколько надеется Диккинсон, считающий, что его "либертарианский социализм" "может впервые в человеческой истории утвердить действенный индивидуализм" [D, p. 26]. К сожалению, как мы увидим, вряд ли это так.

3

Следующий общий вопрос, который нам надлежит рассмотреть, это насколько предложенный метод централизованного установления цен, позволяя отдельным фирмам и потребителям приспособлять свой спрос и предложение к данным ценам, может решать проблему, которую, по общему признанию, нельзя решить математическими расчетами. Боюсь, что здесь мне будет чрезвычайно трудно понять, на каком основании делается подобное заявление. И Ланге и Диккинсон утверждают, что даже если бы исходная система цен была бы выбрана совершенно произвольно, то методом проб и ошибок можно постепенно приблизиться к правильной системе [LT, pp. 70, 86; D, pp. 103, 113]. Это как если бы предположили, что с системой уравнений, которая слишком сложна для ее обсчета за разумное время и в которой значения всех неизвестных постоянно меняются, можно было бы эффективно справиться, произвольно подставляя пробные значения и продолжая поиск, пока не отыщется правильное решение. Или, употребив иную метафору, различие между такой системой регламентированных цен и системой цен, определяемых рынком, представляется таким же, как разница между атакующей армией, где каждое подразделение и каждый человек могут двигаться только по специальной команде и на точное расстояние, указанное штабом, и армией, где каждое подразделение и каждый человек могут воспользоваться любой предоставившейся благоприятной возможностью. Безусловно, логически возможно представить себе руководящий орган коллективной экономики, который не только "вездесущ и всеведущ",

каким видит его Диккинсон [D, p. 191], но также всемогущ и который поэтому будет в состоянии без задержек менять каждую цену ровно настолько, насколько это нужно. Однако когда задумываешься о реальном аппарате, осуществляющем приспособления такого рода, начинаешь недоумевать, действительно ли кто-либо готов полагать, что в рамках практически возможного такая система когда-нибудь хотя бы отдаленно сможет приблизиться к эффективности системы, где требуемые изменения осуществляются за счет спонтанных действий непосредственно заинтересованных лиц.

Мы вернемся позже, когда будем рассматривать предложенное институциональное устройство, к вопросу, как механизм такого рода будет, скорее всего, действовать на практике. Тем не менее, коль скоро речь идет об общем вопросе, трудно подавить подозрение, что эти конкретные предложения родились из чрезмерной поглощенности проблемами чистой теории устойчивого равновесия. Если бы в реальном мире мы имели дело с почти постоянными данными, то есть если бы проблема состояла в том, чтобы найти систему цен, которую можно было оставлять более или менее неизменной на длительные периоды, тогда рассматриваемые предложения не были бы безрассудными. С заданными и не меняющимися данными действительно можно было бы методом проб и ошибок приблизиться к такому состоянию равновесия. Но далеко не так обстоит дело в реальном мире, где постоянное изменение -- это правило. Будет ли когда-нибудь достигнуто что-либо близкое -- и насколько -- к желанному равновесию, полностью зависит от скорости, с какой могут происходить приспособления. Практическая проблема состоит не в том, приведет ли в конце концов какой-то конкретный метод к гипотетическому равновесию, а в том, какой метод обеспечит более быстрое и полное приспособление к ежедневно меняющимся условиям в разных местах и различных отраслях. Насколько была бы велика в этом отношении разница между методом, когда участники рынка по ходу договариваются о ценах, и методом, когда цены декретируются сверху, есть, конечно, вопрос фактической оценки. Но мне трудно поверить, чтобы кто-нибудь усомнился, что в данном отношении второй метод был бы действительно несравненно хуже.

По поводу третьего общего вопроса я также убежден, что поглощенность понятиями чистой экономической теории ввела в серьезное заблуждение обоих наших авторов. В данном случае, очевидно, именно понятие совершенной конкуренции заставило их упустить из вида очень важную сферу, к которой их метод, по-видимому, просто неприменим. Когда мы имеем дело с рынком вполне стандартизованного товара, то, по крайней мере, можно представить, что все цены следовало бы декретировать заранее сверху на определенный период. Совершенно иное положение, однако, в отношении товаров, не поддающихся стандартизации, особенно производимых сегодня по индивидуальным заказам, возможно, после участия в тендерах. К этой категории принадлежит большая часть продукции "отраслей тяжелой промышленности", которые, конечно, были бы социализированы в первую очередь. Большая часть оборудования, зданий и судов, многие виды другой продукции вряд ли вообще производятся на рынок иначе, кроме как по специальным контрактам. Это не означает, что на рынке не может быть интенсивной конкуренции за продукцию таких отраслей, хотя она может не быть "совершенной конкуренцией" чистой теории. Дело просто в том, что в них идентичные продукты редко производятся дважды за короткий период. И круг производителей, конкурирующих как альтернативные поставщики любого продукта, будет различным почти в каждом отдельном случае, так же как и круг потенциальных покупателей, конкурирующих за услуги конкретного завода, будет разниться от недели к неделе. Из чего же следует исходить во всех подобных случаях при назначении цен на продукцию с тем, чтобы "уравновесить спрос и предложение"? Если цены должны здесь назначаться центральной властью, их придется устанавливать в каждом отдельном случае и на основе

изучения ею расчетов всех потенциальных поставщиков и всех потенциальных покупателей. Вряд ли надо указывать на многочисленные сложности, которые будут возникать в зависимости от того, когда устанавливаются цены -- до или после принятия перспективным покупателем решения о конкретном экземпляре нужного ему оборудования или здания. По-видимому, прежде чем поступить на рассмотрение к перспективному покупателю, оценки производителя должны будут одобряться властью. Не ясно ли, что во всех таких случаях, если только действующая власть не возьмет на себя все функции предпринимателя (то есть если только предложенная система не оставлена и не заменена полным централизованным управлением), процесс установления цен стал бы в высшей мере громоздким и превратился бы в причину бесконечных отсрочек или в чистую формальность?

4

Все высказанные соображения остаются, по-видимому, в силе, какая бы конкретная форма организации ни была избрана. Однако прежде чем мы двинемся дальше, необходимо чуть подробнее остановиться на конкретном аппарате отраслевого контроля, предлагаемом обоими авторами. наброски организации, которые они дают, довольно схожи, хотя в этом отношении Ланге предоставляет несколько больше информации, чем Диккинсон, по большинству проблем экономической организации отсылающий нас к работам Уэббов и Г.Д.Г.Коула [D, p. 30].

Оба автора рассматривают социалистическую систему, где выбор занятий осуществлялся бы свободно и регулировался только ценовым механизмом (то есть систему наемного труда) и где потребители также были бы свободны тратить свои доходы по собственному усмотрению. Очевидно, оба автора хотят к тому же, чтобы цены на потребительские товары устанавливались обычным рыночным путем (хотя Диккинсон, по-видимому, не вполне определился по этому вопросу)[LT, p. 78; D, p. 60], а также предоставить заинтересованным сторонам определять заработную плату путем переговоров [LT, p. 78; D, p. 126]. Оба также согласны, что по разным причинам не вся промышленность должна быть социализирована, но что, кроме социализированного, должен остаться и частный сектор, состоящий из мелких предприятий, работающих, в сущности, по капиталистическим принципам. Мне трудно согласиться с их убеждением, что существование такого частного сектора параллельно с социализированным не создаст особых проблем. Однако, поскольку в рамках настоящей статьи сложно было бы достаточно подробно разобрать эту проблему, в данном обсуждении мы не станем принимать во внимание существование частного сектора, предположив, что вся промышленность социализирована.

Определение всех цен, помимо цен на потребительские товары и заработной платы, есть главная задача центрального экономического органа -- Центрального Управления Планирования, по Ланге, или Высшего Экономического Совета, по Диккинсону. (Следуя Диккинсону, мы будем далее упоминать этот орган как ВЭС.) Что касается способа объявления и изменения отдельных цен, мы находим больше информации, хотя никак не достаточно, у Ланге, тогда как Диккинсон глубже погружается в вопрос о том, какими соображениями должен будет руководствоваться ВЭС при установлении цен. Оба вопроса чрезвычайно важны и их надо рассматривать отдельно.

Согласно Ланге, ВЭС должен был бы выпускать время от времени то, что, следуя профессору Тэйлору, он называет "реестрами факторной оценки", то есть исчерпывающие списки цен на все средства производства (за исключением рабочей силы)[LT, pp. 46, 52]. Эти цены должны были бы служить единственной основой для всех сделок между

различными предприятиями и для всех расчетов всех отраслей и заводов в период их действия, а менеджеры должны были бы трактовать их как постоянные [LT, p. 81]. О чем, однако, не сказали ни Ланге, ни Диккинсон, так это на какой период цены подлежат фиксации. Здесь одна из самых серьезных неясностей у обоих авторов, пробел в их изложении, заставляющий почти усомниться, вправду ли они пытались представить свою систему в действии. Должны ли цены фиксироваться заранее на определенный период или они должны меняться, когда бы то ни показалось желательным? Ф.М.Тэйлор, видимо, предлагал первый вариант, когда писал, что правильность конкретных цен выявится в конце "производственного периода" [LT, p. 53]. Ланге оставляет такое же впечатление, по крайней мере, однажды, когда говорит, что "любая цена, отличающаяся от равновесной, выявила бы в конце расчетного периода избыток или недостаток товара, к которому она относится" [LT, p. 82]. Но в другом случае он говорит, что "корректировка таких цен происходила бы постоянно" [LT, p. 86]. Диккинсон же ограничивается утверждением, что "путем последовательной аппроксимации" в конечном итоге "набор цен может быть установлен в согласии с принципами редкости и замещения" и "небольших корректировок будет достаточно, чтобы удерживать систему в равновесии, кроме случаев крупных технических нововведений или сильных сдвигов во вкусах потребителей" [D, p. 100]. Можно ли лучше проиллюстрировать несостоятельность в понимании истинной функции механизма цен, обусловленную нынешней поглощенностью состоянием устойчивого равновесия?

Хотя Диккинсон почти не дает информации о механизме осуществления изменений в ценах, он гораздо более полно, чем Ланге, рассматривает соображения, на которых ВЭС должен был бы основывать свои решения. В отличие от Ланге, Диккинсона не устраивает, чтобы ВЭС просто наблюдал за рынком и корректировал цены, когда появляется избыток спроса или предложения, пытаясь путем экспериментирования отыскать новый равновесный уровень. Он, скорее, хочет, чтобы ВЭС пользовался статистически установленными графиками спроса-предложения как руководством при определении равновесных цен. Здесь явно слышен отголосок его прежней веры в возможность решения всей проблемы через систему математических уравнений. Но хотя он и оставил сейчас эту идею (не потому, что считает ее невозможной, поскольку он по-прежнему убежден, что ее можно было бы осуществить, просто решив "систему из двух или трех тысяч уравнений" [D, p. 104], но потому, что понимает, что "сами данные, которые надо было бы вводить в аппарат уравнений, непрерывно меняются"), он все еще верит, что статистическое определение графиков спроса было бы полезным вспомогательным средством, если не заменителем, для метода проб и ошибок и что вполне стоило бы попытаться установить числовые значения констант (sic!) в вальрасианской системе равновесия.

5

Каким бы ни был метод установления цен ВЭС и, в частности, какими бы ни были периоды, в которые и на которые объявляются цены, два момента почти не вызывают сомнений: изменения будут происходить позднее, нежели это было бы при определении цен участниками рынка, а дифференциация в ценах на товары, обусловленная различиями в качестве и обстоятельствах времени и места, будет меньше. В то время как при реальной конкуренции ценовые изменения происходят, когда непосредственно заинтересованные стороны узнают, что условия стали иными, ВЭС сможет действовать только после того, как стороны отчитались, отчеты проверены, противоречия устранены и т.д. Новые цены войдут в силу только после извещения всех заинтересованных сторон, то есть либо заранее должна будет устанавливаться дата введения в силу новых цен, либо учет должен будет включать сложную систему постоянного оповещения каждого руководителя производства о новых ценах, на которых он будет обязан основывать свои расчеты.

Поскольку на самом деле каждый менеджер должен был бы постоянно получать информацию о гораздо большем количестве цен, чем число фактически используемых им товаров (по крайней мере, на все возможные субституты), была бы необходима своего рода периодическая публикация полных перечней всех цен. Ясно, что, хотя экономическая эффективность требует изменения цен с наибольшей возможной скоростью, практическая осуществимость таких изменений ограничит их на деле интервалами изрядной длины.

Представляется очевидным, что процесс установления цен будет ограничиваться назначением единообразных цен на целые классы товаров и поэтому различия, основанные на особых обстоятельствах времени, места и качества, не будут находить в этих ценах никакого отражения. Без какого-то подобного упрощения число различных товаров, на которые пришлось бы устанавливать отдельные цены, практически достигало бы бесконечности. Однако это означает, что у руководителей производства не будет никакого стимула и даже реальной возможности пользоваться уникальными благоприятными обстоятельствами, особыми договоренностями и всеми мелкими преимуществами, предоставляемыми специфическими местными условиями, поскольку все это не могло бы входить в их расчеты. Это означало бы также -- ограничимся только еще одной иллюстрацией неизбежных последствий, -- что не будет никакой практической возможности пойти на дополнительные затраты для быстрого устранения неожиданно возникшего дефицита, поскольку локальная или временная нехватка товара не могла бы отражаться на ценах, пока в дело не вступала бы государственная машина.

В силу обеих этих причин -- потому, что цены должны были бы устанавливаться на определенный период, и потому, что они должны были бы устанавливаться как единые для целых категорий товаров -- огромное множество цен в подобной системе большую часть времени существенно отличалось бы от цен в свободной системе. Это очень важно для функционирования рассматриваемой схемы. Ланге упирает на тот факт, что цены действуют просто как "показатели условий, на которых предлагаются альтернативы" [LT, p. 78], и что эта "параметрическая функция цен" [LT, pp. 70, 86], благодаря которой они направляют действия отдельных менеджеров, не будучи прямо определяемы ими, полностью сохранится при предложенной системе установления цен. Как он подчеркивает, "окончателность расчета цен имеет силу, однако, только если все расхождения между спросом и предложением товара учтены при соответствующем изменении цены".

По этой причине "рационирование должно быть исключено" и "правило производить по минимальным средним издержкам не имеет никакого смысла, если цены не отражают относительную редкость производственных факторов" [LT, pp. 75, 79, 86]. Иными словами, цены обеспечат основу для рационального учета, только если они таковы, что по действующим ценам каждый всегда может продавать или покупать столько, сколько хочет, или что каждый волен покупать так дешево либо продавать так дорого, насколько это возможно при наличии готового пойти на это партнера. Если я не могу купить дополнительное количество какого-либо фактора, когда он имеет для меня ценность, превосходящую его цену, или если я не могу продать вещь, когда она представляет для меня меньшую ценность, чем то, что кто-то еще готов за нее заплатить, тогда цены перестают быть показателями альтернативных возможностей.

Значение этого станет нам яснее после рассмотрения деятельности руководителей социалистических отраслей. Но прежде чем мы обратимся к ней, нам надо разобраться, кто эти люди и какие функции на них возлагаются.

Еще один вопрос, где оба автора отличаются прискорбной неопределенностью, это вопрос о том, каким образом мыслится ими производственная единица под самостоятельным управлением и какие факторы будут определять ее размер и выбор ее руководства. Ланге, по-видимому, представляет организацию различных отраслей в форме общенациональных трестов, хотя этот важный вопрос затронут мимоходом лишь однажды, когда в качестве примера упоминается Национальный Угольный Трест [LT, p. 78]. Нигде не рассматривается важнейший и прямо относящийся к делу вопрос, что представляет собой отдельная отрасль, но он, видимо, допускает, что всевозможные "руководители производства" будут обладать монопольным контролем над выпускаемыми конкретными товарами. В общем, Ланге употребляет выражение "руководители производства" чрезмерно расплывчато [LT, pp. 75, 79, 86], не разъясняя, имеются ли в виду директора целой "отрасли" или отдельной производственной единицы. Однако в решающих моментах [LT, pp. 76, 82n.]²⁸ он начинает различать заводских менеджеров и руководителей целой отрасли -- без какого-либо внятного оговаривания их функций. Диккинсон отличается еще большей неопределенностью, когда говорит об экономической деятельности, которая "децентрализована и осуществляется большим числом отдельных органов коллективной экономики", каковые будут иметь "номинально свой собственный капитал и свой собственный баланс и будут управляться во многом как отдельные предприятия при капитализме" [D, p. 213].

Кто бы ни были эти руководители производства, их главная функция, по-видимому, заключается в принятии решений, сколько и как производить на основе цен, установленных ВЭС (а также цен на потребительские товары и ставок заработной платы, определяемых рынком). Они будут получать инструкции от ВЭС, что производить надо при самых низких из возможных средних издержках [LT, p. 75] и расширять производство на своих заводах, до тех пор пока предельные издержки не сравняются с ценой [LT, p. 76; D, p. 107]. Согласно Ланге, руководители отраслей (в отличие от менеджеров отдельных предприятий) имели бы также дополнительную задачу -- следить, чтобы объем оборудования в отрасли в целом корректировался бы таким образом, что "предельные издержки, понесенные отраслью" при производстве объема продукции, который "может быть продан, или "учтен", по цене, равной предельным издержкам", оказывались бы наименьшими из всех возможных [LT, p. 77].

В связи с этим возникает одна специальная проблема, которую, к сожалению, мы не имеем возможности обсудить, поскольку здесь начинаются вопросы такой сложности, что для их рассмотрения потребовалась бы отдельная статья. Речь идет о случае снижающихся предельных издержек, когда, согласно обоим авторам, социалистические отрасли действовали бы иначе, чем капиталистические, расширяя производство, пока цена не становилась бы равной не средним, а предельным издержкам. Хотя используемая аргументация обладает некоторой видимостью правдоподобия, вряд ли даже можно сказать, что проблема адекватно поставлена в обеих книгах, не говоря уже об убедительности выводов. Однако все, что из-за ограниченности места мы можем себе здесь позволить, это поставить под серьезный вопрос утверждение д-ра Диккинсона, что "при современных технических условиях случаи снижающихся издержек гораздо более распространены, чем случаи возрастающих издержек" -- заявление, которое в контексте, где оно сделано, явно относится к предельным издержкам [D, p. 108].

Мы ограничимся рассмотрением лишь одного вопроса, вытекающего из этой части предложенной схемы, -- вопроса о том, как ВЭС обеспечит реальное претворение в жизнь того принципа, что цены должны быть равны самым низким предельным издержкам, по

которым можно произвести соответствующее количество продукции. Возникающий здесь вопрос касается не "просто" лояльности или компетентности социалистических менеджеров. В целях нашей аргументации можно принять за исходный пункт, что они будут и уметь и стремиться производить так же дешево, как средний капиталистический предприниматель. Проблема возникает из-за отсутствия одной из важнейших сил, в подлинно конкурентной экономике ведущей к снижению издержек до минимально возможного уровня, -- а именно ценовой конкуренции. При обсуждении проблем такого рода, как и в большей части современных дискуссий по экономической теории, этот вопрос часто трактуется так, как если бы кривые издержек были объективно данными фактами. При этом забывается, что наиболее дешевый при существующих условиях метод предпринимателю надо открывать и переоткрывать заново, зачастую изо дня в день; а также что, несмотря на сильные стимулы, далеко не всегда наилучший способ открывает обязательно авторитетный предприниматель, руководитель уже существующего завода. В конкурентном обществе силой, вызывающей снижение цены до самого низкого уровня издержек, с какими можно произвести количество продукции, на которое при таких издержках найдутся покупатели, является возможность для каждого, кому известен более дешевый метод, пойти на риск и привлечь потребителей, установив цену ниже, чем другие производители. Однако этот путь исключен, если цены устанавливаются властью. Любое усовершенствование, любое приспособление технологии производства к изменившимся условиям будет зависеть от чьей-то способности убедить ВЭС в том, что данный товар можно производить дешевле и что, следовательно, цену следует понизить. Поскольку у человека с новой идеей не будет возможности заявить о себе, снизив цену, то новую идею нельзя будет доказать экспериментально, если только он не убедит ВЭС, что его метод производства данного изделия дешевле. Или, другими словами, каждый расчет аутсайдера, уверенного, что он способен на большее, должен будет изучаться и одобряться властями, которым в таком случае придется брать на себя все функции предпринимателя.

7

Давайте кратко рассмотрим несколько проблем, возникающих в связи с отношениями между "социалистическими руководителями производства" (будь то завод или отрасль) и ВЭС. Задача менеджера, как мы видели, -- управлять производством так, чтобы его предельные издержки были настолько низкими, насколько возможно, и равнялись цене. Как он должен достигать этого и как установить факт его успеха? Он должен принимать цены как данные. Это превращает его в то, что недавно получило название чистого "корректировщика физических объемов" (quantity adjuster), то есть его решения будут касаться только объемов производственных факторов и комбинации, в какой он станет их сочетать.

Однако, поскольку у него нет никаких средств стимулировать своих поставщиков продавать больше (или стимулировать своих покупателей покупать больше), чем они готовы при предписанной цене, он зачастую будет просто не в состоянии выполнить полученные инструкции. В любом случае, если бы он не мог получить больше требуемых материалов по предписанной цене, единственный способ для него, например, расширить производство так, чтобы уравнивать издержки с ценой, состоял бы в том, чтобы использовать субституты более низкого качества или применить другие неэкономичные методы. Когда он не сможет продавать по предписанной цене, то до тех пор, пока она не снижена приказом, ему придется сдерживать производство, тогда как при истинной конкуренции он стал бы снижать цены.

Другая серьезная трудность, возникающая из-за периодических пересмотров цен по приказу, -- это проблема ожиданий будущей динамики цен. Ланге как-то слишком смело разрушает этот гордиев узел, настаивая, что "в целях учета цены следует трактовать как постоянные, как это делают предприниматели на конкурентном рынке" (!). Означает ли это, что менеджеры, даже зная наверняка, что конкретная цена должна будет повыситься или понизиться, должны действовать так, как если бы они этого не знали? Конечно же, такого не будет. Но если они будут вправе реагировать на ожидаемые ценовые сдвиги превосходящими их действиями, будет ли им разрешено пользоваться административными отсрочками при пересмотрах цен? Кто должен нести ответственность за потери, вызванные несвоевременными или неверными изменениями цен?

С этой проблемой тесно связан другой вопрос, на который мы не получаем ответа. Оба наших автора говорят о "предельных издержках" так, как будто они не зависят от периода, на который менеджер может планировать. Ясно, что зачастую действительные издержки зависят, помимо всего прочего, от своевременности закупок. Никак нельзя сказать, что издержки в любой период зависят только от цен данного периода. Они точно так же зависят и от того, правильным ли было их предвидение в прошлом, и от того, какими ожидаются будущие цены. Даже в течение очень короткого периода издержки будут зависеть от воздействия текущих решений на будущую производительность. Экономично ли безжалостно эксплуатировать оборудование и пренебрегать его ремонтом, идти на серьезную перестройку в связи с произошедшим изменением в спросе или продолжать вести дело, насколько возможно, при существующей организации -- фактически почти каждое решение о том, как производить, зависит в настоящий момент, по крайней мере частично, от видения будущего. Однако, хотя у менеджера явно должны быть какие-то представления по этим вопросам, на него вряд ли можно возлагать ответственность за правильное предвидение будущих изменений, если эти изменения полностью зависят от решения властей.

Успех отдельного менеджера тем не менее будет зависеть в значительной мере не только от действий планирующей власти. Ему придется также убеждать ту же власть, что он сделал все возможное. Все его расчеты должны будут либо заранее, либо, что более вероятно, задним числом проверяться и одобряться властями. Это не будет механическая проверка, направленная на выяснение, действительно ли его издержки соответствуют тому, что он говорит. Она должна будет установить, были ли они самыми низкими из всех возможных. Это означает, что при контроле будет учитываться не только то, что он реально сделал, но и то, что он мог бы и должен бы был сделать. С точки зрения менеджера будет намного важнее, чтобы он всегда мог доказать, что в свете имевшегося у него знания реально принятое решение было верным, а не чтобы он оказался прав в конечном счете.

Это приводит нас к общему вопросу об ответственности менеджеров. Диккинсон ясно видит, что "ответственность на практике означает финансовую ответственность" и что если руководитель "не несет ответственности ни за убытки, ни за прибыль, он будет испытывать искушение пускаться во всякого рода рискованные эксперименты, рассчитывая, что чисто случайно один из них окажется успешным" [D, p. 214]. Проблема менеджеров, не имеющих своей собственности, сложна. Диккинсон надеется решить ее с помощью системы бонусов. Этого действительно может быть достаточно, чтобы помешать менеджерам идти на слишком большой риск. Но не состоит ли проблема в прямо противоположном -- что менеджеры будут бояться рисковать, если в случае неудачи кто-то другой будет потом решать, оправданы ли были их рискованные действия? Как указывает сам Диккинсон, принцип должен быть таков: "...хотя прибыль

необязательно является признаком успеха, несение потерь есть признак неудачи" [D, p. 219].

Нужно ли говорить что-либо еще о последствиях подобной системы для всей деятельности, сопряженной с риском? Трудно представить, как при таких условиях любая необходимая спекулятивная деятельность, сопряженная с несением риска, могла бы быть предоставлена инициативе менеджеров. Однако альтернативой этому является возврат к системе строго централизованного планирования, для ухода от которой и была разработана вся предлагаемая схема.

8

Все это оказывается еще более верно, если обратиться к проблеме новых капиталовложений, то есть к целому комплексу вопросов, связанных с изменением размеров (а значит, и капитала) производственных единиц, независимо от того, происходят ли при этом чистые изменения в общем объеме капитала или нет. По существу эту проблему можно разделить на две части -- решения о распределении имеющегося запаса капитала и решения о темпе накопления капитала. Правда, опасно разводить их слишком далеко, поскольку решение о том, сколько нужно сберечь, -- это неизбежно также и решение о том, какие потребности в капитале нужно удовлетворить, а какие нет. Оба наших автора согласны, что для решения проблемы распределения капитала между отраслями и заводами процентный механизм следовало бы, насколько это возможно, сохранить, но что решения о том, сколько сберегать и инвестировать, по необходимости должны будут приниматься властями [LT, p. 85, D, pp. 80, 205].

Однако, каким бы сильным ни было желание положиться на процентный механизм в деле распределения капитала, вполне очевидно, что рынок капитала никак не может быть свободным рынком. По Ланге, норма процента также "просто определяется тем условием, что спрос на капитал равен имеющемуся предложению" [LT, p. 84]. С другой стороны, д-р Диккинсон прилагает большие усилия, чтобы показать, как ВЭС на основе альтернативных планов деятельности, составленных разными предприятиями, построит график совокупного спроса на капитал, позволяющий ему определить норму процента, при которой спрос на капитал будет равен предложению. Изобретательность и поразительную веру в осуществимость даже самых сложных построений, которые обнаруживает здесь Диккинсон, можно проиллюстрировать, приведя его утверждение, что иногда "будет необходимо устанавливать предварительную норму процента, позволяя затем различным органам коллективной экономики заново перезаключить друг с другом контракты на основе этой предварительной нормы и определяя таким способом окончательный график их спроса на капитал" [D, p. 83n.].

Все это тем не менее не преодолевает главной трудности. Если в самом деле было бы возможно принять за чистую монету заявления всех менеджеров и всех претендентов на эти посты, сколько капитала они смогут выгодно использовать при различных нормах процента, что-то вроде такой схемы могло бы показаться выполнимым. Не лишним будет, однако, повторить, что планирующую власть нельзя представлять "просто в виде супербанка, ссужающего имеющиеся у него фонды лицам, предлагающим наивысшую цену. Ведь фонды будут ссужаться лицам, не имеющим никакой своей собственности. Следовательно, власть брала бы на себя весь риск и не имела бы возможности претендовать на какую-то определенную сумму денег, как это делает банк. Она просто имела бы права собственности на все реальные ресурсы. Ее решения не могут также ограничиваться перераспределением свободного капитала в форме денег или, возможно, земли. Ей пришлось бы также решать, оставлять ли конкретный завод или часть

оборудования и дальше предпринимателю, использовавшему их в прошлом, поверив ему на слово, или их следует передать другому, обещающему от них более высокий доход".

Этот отрывок взят из очерка, в котором я рассматривал пять лет назад "возможность реальной конкуренции при социализме"[Collectivist Economic Planning (1935), pp. 232--37; см. выше, стр. 170--173]. В то время такие системы обсуждались в слишком общих чертах и можно было надеяться найти ответ, когда появится систематическое изложение новых идей. Крайне печально не найти никакого ответа на эти проблемы в двух рассматриваемых книгах. Хотя там не раз делаются заявления о том, насколько благотворным был бы во многих отношениях контроль за инвестиционной деятельностью, но нет и намека на способ его осуществления и характер распределения ответственности между планирующей властью и руководителями "конкурирующих" промышленных единиц. Такие заявления, например, как то, что "хотя руководители социалистической отрасли будут следовать при принятии некоторых решений указаниям планирующей власти, отсюда не вытекает, что у них вовсе не будет выбора" [D, p. 217], никак не спасают положения. Достаточно ясно лишь то, что планирующая власть сможет регулировать и направлять капиталовложения, только будучи в состоянии проверять и повторять расчеты предпринимателя.

Представляется, что здесь оба автора неосознанно вернулись к прежней вере в превосходство централизованно управляемой системы над конкурентной и тешат себя надеждой, что "вездесущий, всеведущий орган коллективной экономики" [D, p. 191] будет обладать по меньшей мере таким же объемом знания, как частные предприниматели, и, следовательно, будет в состоянии принимать хотя бы такие же решения, если не лучше, какие принимают предприниматели сейчас. Как я пытался показать по другому поводу, главное достоинство реальной конкуренции в том, что благодаря ей используется разделенное между многими лицами знание, которое, если бы его необходимо было использовать в условиях централизованно управляемой экономики, должно было бы включаться в общий план [см. статью "Экономическая теория и знание", перепечатанную выше как глава II]. Мне кажется, что предполагать автоматическое наличие всего такого знания у планирующей власти -- значит упускать главное. Не вполне ясно, допускает ли Ланге, что планирующая власть будет обладать всей этой информацией, когда говорит, что "администраторы социалистической экономики будут иметь (или не иметь) в точности те же самые знания о производственных функциях, какие имеют (или не имеют) капиталистические предприниматели" [LT, p. 61]. Если выражение "администраторы социалистической экономики" означает здесь просто всех менеджеров производственных единиц вместе с руководителями центральной организации, то такое заявление, конечно, можно с готовностью принять, но оно никоим образом не решает проблему. Но если оно подразумевает, что все это знание может быть эффективно использовано планирующей властью при составлении плана, то оно совершенно голословно и основывается, по-видимому, на "ошибке сложения". <"Ошибка сложения" -- одна из разновидностей логических ошибок, выделенных Аристотелем. Хрестоматийным примером является высказывание: "Все углы треугольника равны 180 градусам". Оно может пониматься двояко -- либо как утверждение, что сумма всех углов треугольника равна 180 градусам (и тогда оно истинно), либо как утверждение, что всякий угол треугольника равен 180 градусам (и тогда оно ложно). По мнению Хайека, Ланге впал именно в такого рода ошибку. Верно, что при социализме все экономические агенты будут знать о производственных функциях столько же, сколько и при капитализме. Однако неверно, что при социализме каждый или хотя бы какой-то агент (скажем, центральное плановое бюро) будет обладать всем этим совокупным знанием о производственных функциях. (Прим. науч. ред.)> [Другой, еще худший пример такой ошибки встречается в предисловии профессора Липпикота к статьям Ланге и Тэйлора, где он доказывает, что "несомненно,

Центральное Управление Планирования имело бы большую власть, но будет ли она больше, чем власть, осуществляемая коллективно частными советами директоров? Если решения частных советов принимаются разрозненно, это не означает, что потребитель не ощущает их коллективного воздействия, даже если нужна депрессия для того, чтобы он его почувствовал".]

В целом оба исследования не дают, в сущности, новой информации по этому важному со всех точек зрения вопросу об управлении новыми капиталовложениями и обо всем, что с этим сопряжено. Проблема остается там же, где она была пять лет назад. По этому поводу я могу лишь ограничиться повторением того, что писал тогда: "Решение об объеме капитала, доверяемого отдельному предпринимателю, и сопряженное с этим решение о размере отдельной фирмы под контролем одного лица на самом деле есть решения о наиболее предпочтительной комбинации ресурсов. И именно на центральной власти будет лежать решение, следует ли расширить один завод, расположенный в каком-то месте, а не другой, расположенный где-то еще. Все это предполагает планирование со стороны центральной власти почти в таком же масштабе, как если бы она фактически управляла этим предприятием. Хотя, по всей вероятности, индивидуальный предприниматель получит какие-то определенные контрактные полномочия по управлению вверенным ему заводом, все новые капиталовложения будут неизбежно регулироваться централизованно. Такое разделение в распоряжении ресурсами просто имело бы тогда следствием, что ни предприниматель, ни центральная власть реально были бы не в состоянии осуществлять планирование и что было бы невозможно определить ответственность за ошибки. Предполагать, что можно создать условия полной конкуренции, не заставляя тех, кто отвечают за принятие решений, платить за свои ошибки -- чистейшая иллюзия. В лучшем случае это будет системой квазиконкуренции, где реально ответственным лицом будет не предприниматель, а одобряющий его решения чиновник и где поэтому в связи с проявлениями инициативы и определением ответственности возникнут все те трудности, которые обыкновенно порождает бюрократия" [Collectivist Economic Planning, p. 237; см. выше].

9

Вопрос, насколько социалистическая система может избежать расширенного централизованного управления экономической деятельностью, чрезвычайно важен и помимо его связи с экономической эффективностью. От этого прежде всего зависит, сколько личной и политической свободы можно сохранить в такой системе. Оба автора убедительно показывают, что сознают опасности для личной свободы, сопряженные с централизованно планируемой системой, и, по-видимому, разработали свой конкурентный социализм отчасти для предупреждения такой опасности. Д-р Диккинсон даже идет на то, чтобы сказать, что "капиталистическое планирование может существовать только на основе фашизма" и что в руках безответственного руководства даже социалистическое планирование "могло бы сделаться величайшей тиранией, которую когда-либо видел мир" [D, pp. 22, 227]. Однако и он и Ланге убеждены, что их конкурентный социализм избегнет такой опасности.

Так, если бы конкурентный социализм мог действительно полагаться в управлении производством на результаты выбора потребителей, как они отражаются в структуре цен, и если бы случаи, когда власть должна будет решать, что производить и как, стали скорее исключением, чем правилом, такое утверждение было бы во многом справедливо. Но как все обстоит на самом деле? Мы уже видели, что при сохранении контроля над капиталовложениями центральная власть получает в свои руки широчайшие полномочия по управлению производством -- поистине настолько широкие, что их было бы трудно

описать, не сделав наше обсуждение неоправданно длинным. Но к ним еще нужно прибавить дополнительное количество властных элементов, изрядный и далеко не полный список которых приводит сам Диккинсон [D, p. 207]47. В нем есть, во-первых, "распределение ресурсов между настоящим и будущим потреблением", которое, как мы уже видели, всегда сопряжено с решением о том, какие конкретные потребности будут удовлетворяться и какие нет. Есть, во-вторых, потребность в решениях властей о "распределении ресурсов между общественным и индивидуальным потреблением", что ввиду значительного расширения "сектора общественного потребления", которое он предвидит, означает выведение еще одной очень крупной части ресурсов из-под контроля ценового механизма и подчинение ее чисто авторитарным решениям. Диккинсон явно добавляет к этому только "выбор между работой и досугом" и "территориальное планирование и установление цен на землю". Однако в других пунктах его изложения возникают новые проблемы, в отношении которых он хочет эффективного планирования для корректировки результатов рынка. Но хотя он (и еще больше Ланге) часто намекает на возможность "корректировки" результатов ценового механизма с помощью благоразумного вмешательства, эта часть программы нигде четко не прописана.

Что имеют здесь в виду наши авторы, пожалуй, лучше всего проясняется из позиции Диккинсона по проблеме изменений заработной платы. "Если заработная плата в какой-либо отрасли, -- пишет он, -- слишком низка, то планирующий орган обязан скорректировать цены и объемы продукции так, чтобы обеспечить во всех отраслях равную заработную плату за работу равной квалификации, ответственности и трудности" [D, p. 21]. Очевидно, здесь не предполагается опираться на ценовой механизм и свободный выбор занятий. Далее мы узнаем, что, хотя "безработица в любой конкретной профессии дает *prima facie* основание для понижения нормального уровня заработной платы" [D, p. 127], это неприемлемо "по социальным причинам, поскольку понижение заработной платы... вызывает недовольство, и по экономическим причинам, поскольку оно увековечивает неэкономичное распределение рабочей силы по различным профессиям". (Каким образом?) Следовательно, "по мере того как изобретения и организационные усовершенствования уменьшают количество труда, необходимое для удовлетворения человеческих потребностей, обществу надлежит брать на себя открытие новых потребностей с их последующим удовлетворением" [D, p. 131]. "Мощный механизм пропаганды и рекламы, используемый общественными органами образования и просвещения вместо движимых погоней за прибылью торгашей и пособников частного предпринимательства, мог бы развернуть спрос в общественно полезном направлении, сохраняя в то же время субъективное впечатление [sic!] свободного выбора" [D, pp. 32].

Когда к этому и многим другим подобным замечаниям, где Диккинсон хочет, чтобы его ВЭС осуществлял патерналистское регулирование [ср., например, отрывок (D, с. 52), где Диккинсон говорит о "людях, которые не заплатят добровольно вперед за то, что они будут счастливы иметь, когда это получают"], мы добавим, что необходимо будет еще координировать отечественное производство "в соответствии с общим планом по экспорту и импорту" [D, p. 169], поскольку свобода внешней торговли "несовместима с принципами коллективизма" [D, p. 176], становится очевидно, что не останется ровно никакой экономической деятельности, не управляемой более или менее прямо решениями властей. Фактически Диккинсон ясно представляет ситуацию, когда "в лице определенного планирующего органа государство берет на себя ответственность относительно экономической деятельности в целом", и даже добавляет, что это разрушает поддерживаемую в капиталистическом обществе "иллюзию", что "распределением продукта управляют такие же безличные и неумолимые силы, как те, что управляют погодой" [D, p. 21]. Это может означать только одно -- что вместе с другими сторонниками планирования он сам думает, что в его системе производство будет в

основном управляться сознательными решениями властей. Все же, несмотря на столь широкое поле для произвольных решений властей в его системе, он уверен (как и Ланге), что она не вырождается в авторитарный деспотизм.

Диккинсон лишь мимоходом упоминает аргумент критиков, что "даже если бы сторонник социалистического планирования захотел обеспечить свободу, он не смог бы достичь этого, оставаясь сторонником планирования", причем ответ Диккинсона заставляет усомниться, понял ли он вполне, на каких соображениях этот аргумент основан. Его ответ сводится просто к тому, что "план всегда можно изменить" [D, pp. 226--228]. Но речь идет о другом. Трудность в том, что вообще для планирования в крупных масштабах требуется гораздо более широкое, чем обычно, согласие среди членов общества об относительной важности различных потребностей. В результате такое согласие придется обеспечивать, а общую шкалу ценностей навязывать силой и пропагандой. Я доказываю это во всех подробностях в другой работе, и здесь нет места, чтобы заниматься этим снова. [См.: Freedom and the Economic System ("Public Policy Pamphlet" No. 29 [Chicago: University of Chicago Press, 1939] и, уже после первой публикации настоящей работы: The Road to Serfdom (Chicago, 1944). (Рус. пер.: Хайек Ф.А. Дорога к рабству. М., "Экономика", 1993.)] Тезис, который я там развил -- что социализм обречен становиться тоталитарным, -- сейчас, похоже, получает поддержку с самой неожиданной стороны. Таким, по крайней мере, представляется смысл утверждения Макса Истмена в его недавней книге о России: "Сталинизм есть социализм в том смысле, что он является его неизбежным, хотя и непредвиденным, политическим и культурным спутником" [Stalin's Russia and the Crisis in Socialism (New York, 1940)].

В самом деле, хотя сам Диккинсон, видимо, этого не усматривает, в заключительных пассажах своей книги он делает заявление, означающее почти то же самое. Он пишет: "В социалистическом обществе различие, всегда искусственное, между экономикой и политикой будет преодолено; экономический и политический механизмы общества сольются в одно целое" [D, p. 235]. Это, безусловно, именно та авторитарная доктрина, которую проповедовали нацисты и фашисты. Различие преодолевается, поскольку в плановой системе все экономические вопросы становятся политическими: это перестает быть вопросом максимально возможного согласования индивидуальных взглядов и потребностей и превращается в навязывание единой шкалы ценностей, "общественной цели" -- предмета мечтаний социалистов со времен Сен-Симона. В этом отношении представляется, что построения авторитарных социалистов, от профессора Хогбена и Льюиса Мамфорда, которых Диккинсон упоминает для примера [D, p. 25], до Сталина и Гитлера, гораздо более реалистичны и последовательны, чем красивая и идиллическая картина "либертарианского социализма", в который верит Диккинсон.

10

Не может быть лучшего свидетельства интеллектуального качества двух рассматриваемых книг, чем то, что, написав о них столь подробно, сознаешь, что лишь слегка скользнул по поверхности поставленных в них проблем. Однако детальное их обсуждение явно превысило бы размеры журнальной статьи. Поскольку многие оставшиеся у читателя сомнения затрагивают вопросы, на которые эти две книги не отвечают, адекватный теме анализ потребовал бы другой, еще более пространной книги, чем те, что обсуждались. Тем не менее есть также важные проблемы, разобранные в них достаточно подробно, особенно в книге Диккинсона, о которых мы едва смогли упомянуть. Я имею в виду не только проблему сочетания частного сектора с социализированным, что предлагают оба автора, но и такие значительные проблемы, как международные отношения социалистического

общества или его денежная политика, чему Диккинсон посвящает очень краткий и в целом наименее удовлетворительный раздел.

При более подробном рассмотрении нужно было бы выделить многочисленные пассажи в аргументации обоих авторов, где явно слышны отголоски их прежних убеждений или просматриваются взгляды, представляющие чисто политический символ веры и поражающие курьезной несовместимостью с остальной частью изложения. Это относится, например, к повторяющимся ссылкам Диккинсона на классовые конфликты и эксплуатацию или к его насмешкам над расточительством конкуренции [D, p. 22, 94]. Это касается и большей части интересного раздела Ланге о "достоинствах экономиста в пользу социализма", где он использует аргументы, весомость которых представляется несколько сомнительной.

Все это, однако, второстепенные моменты. В целом же книги настолько неортодоксальны с социалистической точки зрения, что заставляют задуматься, не осталось ли у их авторов слишком мало от традиционных побрякушек социалистической аргументации, чтобы сделать их предложения приемлемыми для социалистов, не являющихся экономистами. Их смелые попытки взглянуть в лицо некоторым реальным трудностям и полностью переформулировать социалистическую доктрину, дабы ответить на них, заслуживают нашей благодарности и уважения. Пожалуй, вызывает сомнения, покажется ли предложенное решение таким уж осуществимым -- даже социалистам. Тем, кто вместе с Диккинсоном желают утвердить "впервые в истории человечества действенный индивидуализм" [D, p. 26], иной путь представится, вероятно, более обещающим.

ГЛАВА X. РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА С ТОВАРНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Перепечатано из: "Economic Journal", LIII, No. 210 (June - September, 1943), p. 176-84

1

Золотой стандарт в том виде, в каком мы его знали, несомненно, имел серьезные недостатки. Однако есть некоторая опасность, что вошедшее ныне в моду его огульное осуждение может затемнить тот факт, что он обладал также определенными важными достоинствами, отсутствующими у его альтернатив. Мудро и беспристрастно контролируемая система регулируемой мировой валюты могла бы и в самом деле превзойти его во всех отношениях. Но такое предложение долго еще будет оставаться неосуществимым на практике. Однако по сравнению с разнообразными иными схемами денежного регулирования на национальном уровне золотой стандарт имел три важных преимущества: он фактически создавал международную валюту, не подчиняя национальную денежную политику решениям международной власти; он делал денежную политику в значительной мере автоматической и, следовательно, предсказуемой; наконец, благодаря этому механизму изменения в предложении основного платежного средства шли по большей части в правильном направлении.

2

Важность этих преимуществ не следует недооценивать. Трудности сознательной координации национальных политик огромны, поскольку наше нынешнее знание дает нам однозначные ориентиры лишь в немногих ситуациях и решения, при которых всегда одними интересами приходится жертвовать ради других, вынужденно основываются на субъективных суждениях. Тем не менее общее воздействие на каждую страну нескоординированных национальных политик, исходящих исключительно из непосредственных интересов отдельных стран, вполне может оказаться еще хуже, чем самый несовершенный международный стандарт. Точно так же, хотя автоматическое действие золотого стандарта далеко от совершенства, сам факт, что при нем политика направляется известными правилами и что в результате оказывается возможно предвидеть действия властей, способен сделать несовершенный золотой стандарт причиняющим меньше беспокойства, чем более рациональная, но менее понятная политика.

Надо отметить, что ни один из приведенных аргументов в пользу золотого стандарта не имеет прямой связи ни с каким из свойств, присущих золоту. Любой принятый международный стандарт, основанный на товаре, цена которого регулируется издержками его производства, обладал бы, в сущности, теми же преимуществами. Что сделало золото в прошлом единственным материалом, на котором практически мог быть основан международный стандарт, -- это по преимуществу иррациональный, но оттого не менее реальный фактор его престижа или, если хотите, господствовавшее суеверное предрасположение в пользу золота, повсеместно делавшее его более приемлемым, чем что-либо еще. Пока господствовало такое представление, можно было сохранять основанную на золоте международную валюту, не строя каких-то планов и не создавая специальной организации по ее поддержке. Однако если предрассудок и сделал возможным международный золотой стандарт, то, по крайней мере, существование подобного предрассудка позволяло иметь международное платежное средство в то время, когда не могло быть речи о какой-либо международной системе, основанной на формальных соглашениях и систематическом сотрудничестве.

Решающий сдвиг, происшедший в последнее время и коренным образом изменивший наши перспективы и возможности в этой области, носит психологический характер и состоит в том, что бессознательное предрасположение в пользу золота, которое и давало ему особые преимущества, было сильно поколеблено -- хотя, вероятно, не так сильно, как многие воображают; в том, что во многих случаях оно даже сменилось столь же сильным и необоснованным предубеждением против золота; и в том, что сегодня люди в общем намного больше готовы рассматривать разумные альтернативы. Важно, таким образом, подвергнуть заново серьезному рассмотрению альтернативные системы, которые, сохраняя преимущества автоматического международного стандарта, были бы свободны от специфических недостатков золота. В частности, одна такая система была недавно разработана в практических деталях компетентными специалистами по денежным проблемам и способна привлечь тех, кто в прошлом защищали золотой стандарт, -- не потому, что они сочли ее идеальной, но потому, что она показалась им превосходящей все иные варианты, лежащие в области практической политики.

Прежде чем описать это новое предложение, необходимо кратко рассмотреть действительные недостатки золотого стандарта, которых мы хотим избежать. По большей части они отличаются от общепризнанных. Столь много обсуждавшиеся "капризы" в производстве золота не следует преувеличивать. Значительные приросты предложения золота в прошлом фактически происходили тогда, когда затянувшаяся нехватка создавала реальную потребность в них. Действительно, серьезное возражение состоит скорее в медленном приспособлении предложения золота к реальным изменениям в спросе. Временное повышение общего спроса на высоколиквидные активы или принятие золотого стандарта новой страной неизбежно вызывали значительные изменения в ценности золота, тогда как предложение приспособлялось к этому медленно. В силу своеобразного механизма запаздывания возросшие объемы предложения золота часто появлялись только тогда, когда нужда в них уже миновала. Эти дополнительные объемы не облегчали положение, а начинали, скорее, затруднять его. К тому же увеличение предложения золота в ответ на временное повышение спроса оказывалось необратимым, создавая почву для чрезмерной кредитной экспансии, как только спрос опять падал.

Последний момент тесно связан с одной действительно парадоксальной чертой золотого стандарта: с тем, что стремление всех индивидов к большей ликвидности вовсе не вело к возрастанию ликвидности для всего общества в целом. Бывают, конечно, времена, когда желание индивидов обладать более ликвидными активами отражает реальную общественную потребность. Всегда будут периоды, когда из-за возросшей неопределенности будущего становится желательным придать большей части наших активов форму, при которой их легко можно будет обратить в пользу нужд, не определенных пока из-за невозможности предвидеть будущие обстоятельства. Рациональная организация наших дел требовала бы переключения производства в такие периоды с предметов более ограниченного употребления на те, что необходимы постоянно, вроде широко используемых сырьевых материалов. Подлинная ирония золотого стандарта состоит в том, что при его владычестве общий рост стремления к ликвидности ведет к увеличению производства одного товара, служащего практически единственной цели -- обеспечению ликвидного резерва для индивидов. Этот товар не только имеет очень мало иных применений, но и его предложение может возрасти лишь настолько медленно, что повышение спроса на него будет влиять гораздо сильнее на его ценность, чем на его количество, -- другими словами, вызывать общее падение цен. В то же время стоит только предложению этого товара возрасти, а спросу вновь упасть, как

избавиться от возникшего избыточного предложения можно будет только путем снижения его ценности, то есть общего повышения цен.

4

Более рациональные схемы, опирающиеся на использование других товаров, помимо золота, предлагались часто, но пока всеобщая предрасположенность была в пользу золота, они редко представляли практический интерес. В нынешней ситуации, однако, по меньшей мере одно из этих предложений, разработанное недавно в деталях двумя американскими учеными, заслуживает пристального внимания в силу удачного сочетания глубоких теоретических и практических достоинств. Бенджамен Грэхем из Нью-Йорка и Фрэнк Д. Грэхем из Принстона, пришедшие независимо друг от друга к очень схожим идеям, представили в последние годы свои детально проработанные предложения в серии важных публикаций. [См., в частности: Benjamin Graham, *Storage and Stability* (New York: McGraw-Hill Book Co., 1937), и Frank D. Graham, *Social Goals and Economic Institutions* (Princeton: Princeton University Press, 1942). Почти идентичное предложение сделал ранее голландский экономист, профессор Дж. Гудриан (J.Goudrian), в памфлете "How To Stop Deflation" (London, 1932), которую я не видел во время написания данной статьи. Бенджамен Грэхем развил затем свои предложения в книге: *World Commodities and World Currency* (New York: McGraw-Hill Book Co., 1945).] Хотя вначале их план может показаться странным и сложным, на самом деле он очень прост и в высшей степени практичен.

Основная идея состоит в том, что валюта должна выпускаться только под фиксированный набор складских warrants на определенный объем складированных сырьевых товаров и подлежать размену в тех же "товарных единицах". Например, вместо того чтобы определять 100 фунтов стерлингов как столько-то унций золота, их следует определять как столько-то пшеницы, плюс столько-то сахара, плюс столько-то меди, плюс столько-то каучука и т.д. Поскольку деньги выпускались бы только под полный набор всех сырьевых товаров в их точных физических величинах (двадцать пять различных товаров в плане Бенджамена Грэхема) и поскольку деньги также изымались бы из обращения тем же способом, суммарная цена такого набора товаров была бы фиксированной, но только суммарная цена, а не цена каждого из них. В этом отношении различные товары были бы связаны с деньгами не так, как были связаны золото и серебро при биметаллизме, когда денежная единица была доступна либо за фиксированное количество золота, либо за фиксированное количество серебра. Скорее, это происходило бы (согласно плану, предложенному Альфредом Маршаллом под именем "симметаллизма" ["symmetallism"]), как если бы была фиксирована только цена определенного веса золота и определенного веса серебра, взятых вместе, но цена на каждый металл сам по себе могла меняться.

При действии такой системы повышение спроса на ликвидные активы вело бы к накоплению запасов сырьевых товаров самого широкого применения. Тезаврация денег вместо того, чтобы вести к растрате ресурсов, действовала бы так, как если бы существовал порядок хранить сырьевые товары за счет тезавратора. Когда тезаврированные деньги возвращались бы в обращение и спрос на товары увеличивался бы, такие запасы облегчали бы удовлетворение этого нового спроса. Так как набор товаров всегда можно было бы обменять на фиксированную сумму денег, их совокупная цена никогда не падала бы ниже этой цифры. А так как деньги подлежали бы размену по тому же (или лишь немного иному) курсу, их совокупная цена никогда не поднималась бы выше нее. Данное предложение преследует те же цели, что и схемы "табличного стандарта" ("tabular standart") или "индексных валют" ("index currencies"), которые одно время много обсуждались, отличаясь от них прямым и автоматическим действием.

Вызывает некоторые сомнения, можно ли эффективно поддерживать постоянный уровень цены любого набора товаров путем целенаправленных корректировок количества денег. Нет, однако, сомнений в том, что совокупная цена отобранных сырьевых товаров не колебалась бы, пока денежные власти были бы готовы продавать и покупать товарную единицу по фиксированной цене.

Согласно американским поборникам этого плана, он создан прежде всего для принятия в государственном масштабе в США. Однако аргументы в его пользу применимы к другим странам в неменьшей степени. Поскольку принятие такого плана несколькими странами, положившими в его основу разные наборы товаров, породило бы новую причину серьезной нестабильности, то представляется, что его не только можно, но для достижения поставленных целей его следовало бы принять на международном уровне -- или, что на практике означает то же самое, его должны были бы ввести в действие на одинаковых принципах все ведущие страны. Конкретный набор сырьевых товаров, на которых основана схема Бенджамена Грэхема (пять видов зерна, четыре вида жиров и растительных масел, три других продовольственных продукта, четыре металла, три вида текстильных волокон, табак, шкуры, каучук и нефть) и некоторые другие детали подлежали бы модификации, однако сам принцип не создает серьезных трудностей для международного применения. В нижеследующем наброске способа функционирования этой схемы будет сделано допущение, что эти товарные единицы одинакового состава приняты как основа валюты хотя бы в Британской империи и в США.

5

По причинам, которые сейчас будут представлены, этот план легче всего ввести в действие при угрозе падения спроса. В такое время его можно запустить автоматически, заранее установив покупную цену на единичный товарный набор чуть ниже существующей рыночной цены. Как только спрос на сырьевые товары начнет слабеть и цены на них падать, денежным властям стран-участниц станут предлагать по установленной цене все то количество наборов из включенных в денежную единицу товаров, которое не удастся реализовать на рынке. Покупки властей будут компенсировать падение промышленного спроса -- и каждой сумме денег, аккумулированных в частных руках, будет соответствовать определенное количество сырьевых товаров, аккумулированных на складах. Таким образом будет поддержан общий спрос на эти сырьевые товары -- но только спрос на всю их группу в целом, а не на каждый отдельный товар, выпуск которого вполне может быть избыточным и нуждаться в сокращении.

Легко увидеть, как действие такой схемы ведет к стабилизации спроса на сырьевые товары. Как в прошлом золотопромышленность была единственной отраслью, постоянно процветавшей в периоды депрессии, так и благосостояние производителей сырьевых товаров могло бы при этом плане в аналогичных обстоятельствах хотя бы умеренно возрасти благодаря возможности выгодно обменивать свою продукцию на продукцию обрабатывающей промышленности. Но тогда как золотопромышленность слишком мелкая отрасль, чтобы ее процветание имело серьезные последствия для экономики, гарантированный доход производителей сырьевых товаров мог бы стабилизировать также спрос в обрабатывающих отраслях и предотвращать серьезное развитие депрессии. В действительности это принесло бы пользу не только производителям товаров, включенных в денежную единицу. Даже страна, в которой ни один из них не производится, выиграла бы от действия подобного плана, видимо, не меньше других. Пока такая страна готова покупать товарные единицы по фиксированной цене в своей национальной валюте, любое количество этой валюты, оказавшееся в результате на руках

у производителей сырьевых товаров, могло бы пригодиться им для одного -- для покупки товаров той самой страны, которой они продали свою продукцию.

6

Вначале может показаться, что действие этого плана создало бы угрозу серьезной инфляционной экспансии. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что его эффект не мог бы быть инфляционным в сколько-нибудь серьезном смысле. Какое бы расширение притока денег он ни допускал, оно вряд ли привело бы к общему повышению цен или к тому дефициту потребительских товаров, в форме которого проявляют себя наиболее пагубные следствия инфляции. Фактически одним из величайших достоинств предложенной схемы является то, что она обеспечивает автоматическую задержку любой экспансии, прежде чем та сможет стать опасной. Мы рассмотрели сначала ее действие в период депрессии, потому что ее эффективность в период бума зависит от предшествующего аккумуляирования товарных запасов, которое происходило бы во время ослабления деловой активности. Не менее важен и механизм действия этой схемы тогда, когда улучшение общих перспектив ведет к мобилизации резервов неиспользуемой денежной наличности.

Совокупная цена сырьевых товаров, составивших денежную единицу, не могла бы подняться, пока денежные власти были бы способны продавать их из своих запасов по установленной цене. Вместо повышения цен и последующего увеличения объема производства по мере повышения спроса, и *pari passu* <следовательно (лат.)> возврата в обращение аккумуляированных запасов денег, сырьевые товары отпускались бы со складов и полученные за них деньги изымались бы. Сбережения, сделанные индивидами в форме наличных денег в период спада, не тратились бы впустую, но ждали бы своего часа в форме сырьевых товаров, готовых к употреблению. В результате оживление активности не приводило бы к чрезмерному стимулированию производства таких товаров -- оно стало бы осуществляться равномерно. Есть основания считать одной из наиболее серьезных причин общей нестабильности те временные стимулы к излишнему расширению производства сырьевых товаров, которые обыкновенно даются резким скачком цен на них в периоды бума. Этого можно было бы полностью избежать при предложенной схеме -- по крайней мере до тех пор, пока у денежных властей оставались бы какие-либо запасы для продажи. Но поскольку они обязательно имели бы достаточные резервы для изъятия из обращения всей избыточной наличности, накопленные в период спада (и даже значительно большие, если включить сюда товарные запасы, образовавшиеся у правительств при введении этой схемы), то бум был бы почти несомненно остановлен сжатием обращения еще до момента истощения резервов.

7

Как уже отмечалось, такая схема выглядит сложной, но на самом деле она чрезвычайно проста в действии. В частности, денежным властям или правительству никоим образом не нужно было бы непосредственно распоряжаться многими товарами, входящими в состав денежной единицы. Как сбор требуемого ассортимента варрантов, так и действительное складирование товаров можно было бы спокойно предоставить частной инициативе. Специалисты-брокеры вскоре позаботились бы о сборе и предложении варрантов, как только их совокупная рыночная цена упала бы хоть чуть ниже стандартной цены, а также об изъятии и перераспределении варрантов на различные рынки, если бы их совокупная цена поднялась выше стандартной. В этом отношении деятельность денежных властей была бы такой же механической, как покупка и продажа золота при золотом стандарте.

Данное предложение, однако, ставит немало проблем, которые невозможно полностью рассмотреть в нашем коротком очерке. Во всяком случае, в уже упомянутых публикациях были обсуждены наиболее важные из них и выдвинуты предложения по их практическому решению. Упомянем только некоторые вопросы: затраты на физическое хранение товаров могут быть покрыты из разницы между ценами, по которым денежные власти станут покупать и продавать товарные наборы. (Следует заметить, что издержки хранения не включали бы никаких затрат на уплату процентов, поскольку потерю процентов добровольно несли бы держатели денег, выпущенных под товары.) Проблему, порождаемую составом денежной единицы и его периодическими изменениями, которые станут необходимы, также можно решить с помощью объективного принципа, выводящего ее из сферы политических споров. Также не вызывают непреодолимых трудностей проблемы, связанные с различиями в качестве и месте хранения соответствующих товаров. Здесь следует помнить, что с точки зрения целей данного плана включение в состав денежной единицы наиболее важной разновидности какого-либо товара оказывало бы почти такое же влияние на цены ее ближайших субститутов, как если бы они сами были туда включены.

Тем не менее даже в столь кратком обзоре надо упомянуть два частных момента. Во-первых, важная черта этого плана заключается в том, что денежные власти будут уполномочены при строго оговоренных обстоятельствах принимать вместо варрантов на складированные товары контракты на будущую поставку любого товара (или заменять их такими контрактами). Это решает трудности, которые иначе возникали бы из-за временной нехватки любого товара, включенного в состав денежной единицы, и дает возможность использовать резервы для относительной стабилизации цен даже на индивидуальные товары. Это могло бы достигаться, к примеру, путем замены данных товаров "фьючерсами" всегда, когда цена поднималась бы больше чем на установленный процент по отношению к "фьючерсной" цене.

Во-вторых, при наличии желания сохранить ценность золота или предотвратить слишком быстрое ее понижение, было бы нетрудно связать ее с предлагаемой товарной схемой таким образом, чтобы, несмотря на отсутствие серьезного влияния золота на стоимость денег, ценность самого золота стабилизировалась бы одновременно со стоимостью денег. Желательно ли это, учитывая заинтересованность целых стран в поддержании ценности золота, и нужно ли пытаться до бесконечности поддерживать добычу золота на ее нынешнем уровне или же лучше пойти на постепенное, но предсказуемое сокращение направляемых на его добычу ресурсов, -- есть проблема политическая, которую не место здесь рассматривать. Действительно важный момент состоит в том, что есть много способов связать при желании золото с новой схемой, не подрывая при этом ее преимуществ.

Вероятно, можно с уверенностью сказать, что все разумные аргументы в пользу золотого стандарта имеют еще большую силу применительно к данному предложению, свободному в то же время от основных недостатков золотого стандарта. Тем не менее, оценивая выполнимость этого плана, нельзя считать его только схемой валютной реформы. Надо иметь в виду, что аккумулятивное товарных резервов безусловно должно оставаться частью государственной политики и что политические соображения вряд ли позволят, чтобы рынки сырьевых товаров были полностью предоставлены самим себе в любом обозримом будущем, на которое мы можем сейчас строить планы. Тем не менее все планы, нацеленные на прямое регулирование цен конкретных товаров, наталкиваются на весьма серьезные возражения и несомненно породят значительные экономические и политические трудности. Не говоря уже о денежных соображениях, есть настоятельная потребность в системе, при которой специальные органы, действующие, в сущности,

лишь произвольным и непредсказуемым образом, были бы лишены возможности такого регулирования и вместо этого подчинялись механическому и предсказуемому правилу. Если это можно соединить с перестройкой международной денежной системы, которая снова обеспечила бы миру стабильность международных валютных отношений и большую свободу в движении сырьевых товаров, был бы сделан серьезный шаг к более процветающей и стабильной мировой экономике.

ГЛАВА XI. ЭФФЕКТ РИКАРДО

Перепечатано из *Economica*, IX, No. 34 (new ser.; May, 1942), 127-52.

Машины и труд находятся в постоянной конкуренции между собою, и первые часто могут быть применены только тогда, когда поднимется цена труда.

Давид Рикардо

1

Когда в недавней работе о промышленных колебаниях я упомянул "известный тезис Рикардо, что повышение заработной платы побуждает капиталистов к замене рабочей силы машинами" [*Profits, Interest and Investments* (1939); ср. также: *The Pure Theory of Capital* (1941), chap. xxvii], то сделано это было под влиянием иллюзии, что аргумент, которым я давно пользовался, можно выразить таким образом -- в более привычной и доступной форме. Иллюзия была рассеяна многочисленными комментариями на ту работу. [Ср., в частности, обзор моей книги *Profits, Interest and Investments* Г. Таунсендом (*Economic Journal*, March, 1940) и работу Т. Уилсона "Capital Theory and the Trade Cycle" (*Review of Economic Studies*, June, 1940). Мне не удалось увидеть статью: С. Welinder "Hayek och "Ricardoeffekten"", *Economisk Tidskrift*, March, 1940.] Новый просмотр более ранней литературы по этому предмету выявил довольно своеобразное положение: хотя данное утверждение поддерживалось и использовалось огромным множеством авторов с того самого времени, когда Рикардо впервые его выдвинул [соответствующие отрывки из "Начал" Рикардо можно найти прежде всего в *Works*, ed. McCulloch, pp. 26, 241 (Рус. пер.: Рикардо Д. Сочинения. М., Госполитиздат, 1941, Т.1, с.23, 258)], оно, по-видимому, никогда адекватно не разъяснялось. В частности, хотя оно играет существенную роль при обсуждении проблемы процента в работах Бём-Баверка, Викселля и Мизеса, никто из этих авторов не развивает его подробно. Частые краткие отсылки на него в других общетеоретических работах нашего времени [например: N.G.Pierson, *Principles of Economics*, I (1902), 219, 308; G.Cassel, *The Nature and Necessity of Interest* (1903), p. 116 ("При постоянной норме процента чем дороже становится труд, тем большее замещение будет его ожидать"); F.A.Fetter, *Economic Principles* (1915), p. 340; H.G.Seager, *Principles of Economics* (2d ed., 1917), pp. 278, 289; R.G.Harwtrey, *The Economic Problem* (1926), pp. 324ff.; см. также: H.G.Hayes, "The Rate of Wages and the Use of Machinery" и С.О.Fisher, "An Issue in Economic Theory: The Rate of Wages and the Use of Machinery", в *American Economic Review*, 1923 (особенно примечательна дискуссия, где доказательство, в ошибочной форме представленное первым автором, легко опровергается вторым)], подтверждающие, по-видимому, впечатление, что этот тезис был широко принят, при ближайшем рассмотрении оказываются не только неточными, но часто основанными на ошибочных умозаключениях. Хотя в эмпирических исследованиях влияния высокой заработной платы на использование машин его считали обычно общим местом, здесь мы также напрасно будем вести поиски развернутого доказательства [например: G. von Schulze-Gaevernitz, *Der Grossbetrieb* (1892); J. Schoenhof, *The Economy of High Wages* (1893), pp. 33, 279; K. Brentano, *Hours and Wages in Their Relation to Production* (1894); J.A.Hobson, *The Evolution of Modern Capitalism* (1894), p. 81]. Сравнительно полное рассмотрение можно найти в некоторых немецких публикациях последнего времени. [См., в частности: H.Neisser, "Lohnhöhe und Beschäftigungsgrad im Marktgleichgewicht", *Weltwirtschaftliches Archiv*, Vol. XXXVI (October, 1932) и A.Kahler, *Die Theorie der Arbeiterfreisetzung durch die Maschine* (Leipzig, 1933), pp. 75 ff. Мне следует, вероятно, добавить, что частично благодаря профессору Найссеру я получил подтверждение своей

убежденности в том, что это утверждение было широко принято; поскольку, когда одновременно с появлением его статьи я (в статье в том же журнале) сильно запутался в этом вопросе, именно он, сразу же разыскав меня, устно указал на эту путаницу.] Однако когда несколько лет назад в Англии профессор Хикс использовал это утверждение в своей "Теории заработной платы", м-р Шоув в обзоре этой книги сформулировал возражение, ставшее стандартным: пока норма процента остается неизменной, общее изменение заработной платы будет влиять на величину издержек при различных методах производства в одинаковой пропорции (что неоспоримо), и что, следовательно, оно не может менять их сравнительные преимущества (что отсюда не вытекает) [J.R.Hicks, *The Theory of Wages* (1932), chap. ix, и обзор этой книги Дж.Ф.Шоувом в *Economic Journal*, XLIII (September, 1933), 471]. Позднее профессор Хикс убрал всю главу с раскритикованным отрывком, что, вероятно, означало его отказ от этого утверждения [J.R.Hicks, "Wages and Interest: The Dynamic Problem", *Economic Journal*, Vol. XLV (September, 1935)]. В еще более позднее время м-р Калдор в статье, на которую нам придется впоследствии сослаться, признавая сам принцип, похоже, ограничил его действие достаточно специальными условиями [N. Kaldor, "Capital Intensity and the Trade Cycle", *Economica*, Vol. VI, No. 21 (new ser.; February, 1939); ср. также его "Annual Survey of Economic Theory: The Recent Controversy on the Theory of Capital", *Econometrica*, Vol. V, No. 3 (July, 1937)].

Значение обсуждаемого утверждения намного шире того узкого контекста, в котором оно рассматривалось в недавних дискуссиях. Неудивительно, что те, кто его полностью отвергают, вместе с тем неспособны, похоже, придать какой-либо ясный смысл понятию данного и ограниченного предложения реального капитала [Как я попытался показать в другой своей работе (*Pure Theory of Capital*, особенно р.147), единственным адекватным описанием такого "предложения капитала" является полный перечень набора возможных потоков выпуска разной временной формы, которые можно произвести при существующих ресурсах. Какой из этих различных потоков выпуска будет производиться, зависит в первую очередь от того, что можно назвать "нормой занятости" (то есть степенью, в какой люди будут заняты в последовательные моменты времени в течение рассматриваемого периода), и от формы этой занятости, то есть факторов, которые в свою очередь зависят от конечного спроса, уровня денежной заработной платы и, как результат всего этого, от отношения денежной заработной платы к ценам на продукты. Как правило, будет только один поток продукции, который при своем производстве даст поток дохода такого объема и такой временной формы, что часть этого дохода, которая в любое время будет расходоваться на потребительские товары, точно сравняется с издержками производства текущего объема выпуска потребительских товаров, включая норму отдачи на капитал, в ожидании которой и было принято решение о фактически используемом методе производства.

Серьезной ошибкой Бём-Баверка (и в гораздо меньшей степени -- Викселля) было то, что, хотя и вполне осознавая, что существующий запас капитальных благ позволяет производить более одного потока продукции, он попытался упростить свое изложение, приравняв запас капитальных благ к определенному количеству потребительских товаров, и представить это в своих пояснениях как постоянное количество имеющегося денежного капитала. Анализ в его знаменитой заключительной главе о "Рынке капитала в его полном развитии" из "Позитивной теории процента" вполне оправдан, если вспомнить об этом упрощении. Однако любому, кто буквально воспримет трактовку предложения капитала в качестве суммы денег, должно казаться, что эта глава не имеет никакого отношения к реальному миру.], поскольку именно вследствие рассматриваемого эффекта в итоге дает о себе знать недостаток реального капитала (как бы сильно ни влияли на норму процента чисто монетарные факторы), так что объем капиталовложений должен в конце концов

устанавливаться на уровне, совместимом с имеющимся спросом на потребительские товары. Таким образом, это утверждение является важной частью элементарной теории производства. Если так, то отсутствие согласия по данному поводу позволяет многое понять в острых и, видимо, непримиримых противоречиях между экономистами по более сложной проблеме промышленных колебаний. Очевидно, срочно необходима попытка более полной формулировки доказательства, на котором основано данное утверждение.

Я попытаюсь сформулировать его здесь в терминах, позволяющих сделать его до известной степени не зависящим от спорных вопросов теории капитала и непосредственно не связанным с проблематикой циклических колебаний, помимо следующих моментов:

- 1) основной акцент будет делаться на краткосрочных, а не долгосрочных эффектах, и
- 2) внимание будет больше сосредоточено на влиянии падения, а не повышения заработной платы относительно цен на товары -- именно в такой форме данный принцип, похоже, особенно значим для исследования экономических кризисов. Чтобы разделить разные части доказательства, проблема будет рассматриваться поэтапно.

Следующий раздел посвящен разъяснению используемых понятий и изложению общего принципа при допущениях, позволяющих нам не принимать во внимание денежную норму процента. После установления общего принципа в разделе 3 будут рассмотрены конкретные пути его вероятного воздействия на инвестиционный спрос. Взаимодействие между эффектом Рикардо и нормой процента по денежным ссудам прослеживается в разделе 4 и сначала будет рассмотрено при таких допущениях относительно предложения кредита, которые примерно соответствуют реальным ситуациям. В разделах 5 и 6 та же проблема рассматривается исходя из предпосылки о "совершенно эластичном предложении кредита", которая, будучи в высшей степени нереалистичной, поднимает теоретические проблемы, представляющие значительный интерес. В заключительном разделе будут высказаны дополнительные соображения, которые следует учитывать при любой попытке статистической проверки данной теоремы.

2

Положение, обозначенное нами здесь как "эффект Рикардо", гласит, что общее изменение заработной платы относительно цен на продукты будет менять сравнительную прибыльность различных отраслей и методов производства, использующих труд и капитал ("косвенный труд") в разных пропорциях. В своей исходной форме оно утверждает, что общее повышение заработной платы относительно цен на товары понизит прибыльность отраслей и методов производства, использующих сравнительно больше капитала, не так сильно, как это произойдет с отраслями и методами, требующими его сравнительно меньше. Нас здесь больше интересует обратное утверждение, а именно, что общее падение заработной платы относительно цен на продукты будет иметь противоположный эффект. [Под влиянием критики настоящей статьи в период ее подготовки со стороны Г.Ф.Шоува я теперь не так уж уверен, что установление истинности данного утверждения в его обратной форме доказывает также его правильность в исходной формулировке.]

Общее изменение в соотношении между заработной платой и ценами на продукты может вызываться общим изменением цен на товары, общим изменением заработной платы или изменением в технических знаниях и физических объемах других имеющихся факторов, влияющих на производительность труда. Хотя любое из этих изменений может рассматриваться для наших целей как независимая переменная, мы, разумеется, не должны таким же образом трактовать изменения в производительности труда,

являющиеся следствием изменений в соотношении между используемым трудом и капиталом, поскольку с точки зрения нашей проблемы это есть зависимая переменная.

Конкретный тип изменений, на примере которого мы поясним здесь данное утверждение, будет представлен общим повышением цен на конечные продукты (или потребительские товары, далее упоминаемые для краткости просто как "товары") при предположении, что денежная заработная плата остается постоянной (и, таким образом, происходит ее падение относительно цен на товары). Мы предположим, что это повышение цен обусловлено расширением спроса, вызванного ростом доходов, полученных при производстве инвестиционных благ, и превышающего тот объем, до которого выпуск товаров может быть легко увеличен. Мы также допустим, что предприниматели ожидают, что цены на товары, по крайней мере достаточно длительное время, будут оставаться на этом новом, более высоком уровне. Мы не будем делать никаких допущений по поводу изменения цен на капитальные блага, поскольку это составляет часть нашей проблемы.

Предположение общего повышения цен на товары при неизменной заработной плате означает, конечно, что все ставки заработной платы падают относительно цен на товары. Важно подчеркнуть это, поскольку данную теорему ошибочно относили к ситуации, в которой только заработная плата за труд, кооперирующийся с машинами, изменяется по отношению к ценам, тогда как заработная плата в сфере производства самого этого оборудования не затрагивается. [В то время как многие авторы более позднего времени запутывались в этом вопросе, Рикардо явно допускал общее изменение заработной платы; отправным пунктом его краткого анализа всей проблемы является следующий вопрос: если заработная плата поднимется на 10%, не повысятся ли цены машин в той же степени? См.: Works, ed. McCulloch, p. 26 (Рус. пер.: Рикардо Д. Сочинения. М., Госполитиздат, 1941, Т.1, с.23).] Следует сразу признать, что при таком общем изменении в уровне заработной платы относительно конечных цен издержки при производстве конечной продукции различными методами должны меняться (если мы исходим из предположения о существовании единой нормы процента) в равной пропорции. Наше утверждение состоит в том, что это тем не менее будет в неодинаковой степени влиять на привлекательность инвестиций в разные отрасли или разные методы производства.

Чтобы при решении задач данного раздела исключить всякое влияние денежной нормы процента, мы допустим на время, что в течение интересующего нас периода не происходит никакого предоставления денег в кредит: либо предприниматели владеют всем используемым капиталом и им эффективно препятствуют ссужать какую бы то ни было его часть, либо они ограничены жестким рационированием кредита. Мы предположим, однако, что перед повышением цен на товары норма прибыли на капитал во всех фирмах была одинаковой. Исключая из рассмотрения результатов изменений цен на товары любые соображения, связанные с нормой процента, мы пока намеренно отвлекаемся от того, что позже станет нашей главной проблемой. Тем не менее это временное отвлечение от центрального вопроса позволит нам выделить более простые части доказательства, все еще, видимо, нуждающиеся в точной формулировке.

Стоящая перед нами проблема заключается таким образом в том, как при неизменившейся заработной плате повышение цен на товары повлияет на текущее распределение имеющихся в распоряжении предпринимателей средств между расходами на заработную плату (инвестициями в "оборотный капитал") и расходами на оборудование (инвестициями в "основной капитал"). Чтобы избежать сложностей, связанных с изменениями цен на сырье и т.п. и рассмотренных мною в другой работе [Profits, Interest and Investment, pp. 29 ff.], мы вправе допустить, что все фирмы, о которых идет речь,

относятся к типу, представленному кирпичным заводом на предельном участке земли, где применяемый труд производит не только все сырье, но и топливо.

Остается ввести однозначный и по возможности непротиворечивый измеритель пропорций, в которых соединяются труд и капитал в различных фирмах и при любых возможных методах производства. Для нашей задачи наиболее удобной мерой, к тому же обладающей тем преимуществом, что она знакома деловым людям, будет понятие "скорости оборота", приложенное или ко всему, или к какой-либо части капитала фирмы. То, что некоторые фирмы могут рассчитывать "обернуть" свой капитал (то есть реинвестировать из текущих поступлений объем, равный их капиталу) один раз за два месяца, тогда как другие могут рассчитывать сделать это только один раз за пять или даже десять лет, и то, что скорость оборота зависит, по крайней мере частично [Скорость оборота зависит, конечно, не только от характера деятельности фирмы и от используемых технических методов, но и (помимо "состояния дел в отрасли") от мастерства и удачливости предпринимателя. Предприниматель, который в той же отрасли и при тех же технических методах может лучше использовать данный объем капитала, чем его "предельный" коллега, бесспорно, будет извлекать из своего мастерства дифференциальную прибыль. Это, однако, не меняет того факта, который будет вскоре рассмотрен, что предприниматели одинаковой квалификации, но действующие в разных отраслях и с применением разных технических методов должны будут иметь разный коэффициент прибыльности на каждый оборот, чтобы получать одинаковую норму прибыли на свой капитал. Хорошо известно, например, что продавец подержанных книг, у которого скорость оборота намного меньше, чем у продавца новых книг, должен будет зарабатывать гораздо больший процент на каждой проданной книге, чем последний.], от характера деятельности фирмы и применяемых ею методов производства -- все это общеизвестно. Точно так же известно и то, что внутри любой данной фирмы часть ее активов будет "обернута", или полностью обращена в деньги и реинвестирована, двенадцать раз в год, тогда как другие части могут полностью амортизироваться и заменяться только один раз в двадцать лет. "Скорость оборота" выражает (целым числом или дробью) количество оборотов капитала за один год. Поскольку удобнее иметь какое-то прилагательное для обозначения фирм или методов производства с относительно низкой и с относительно высокой скоростью оборота, то по причинам, которые ниже станут ясны, мы иногда будем употреблять специальное выражение "более капиталистическая (-ский)" ("more capitalistic") для фирм и методов с относительно низкой скоростью оборота и выражение "менее капиталистическая (-ский)" ("less capitalistic") для фирм или методов с относительно высокой скоростью оборота.

Понятие скорости оборота капитала дает особенно полезную отправную точку для нашего обсуждения, поскольку изменения в соотношении "заработная плата-цена", очевидно, в первую очередь влияют на прибыль, получаемую всякий раз при продаже продукта, произведенного при данных издержках. Пока цены остаются высокими относительно издержек, разница между ними будет источником определенной нормы прибыли на капитал при каждом его обороте, и любое повышение цен на продукцию относительно издержек позволит предпринимателям получать соответственно более высокую прибыль в единицу времени на имеющийся у них капитал, поскольку они смогут чаще его оборачивать.

В предполагаемом до повышения цен состоянии долгосрочного равновесия, когда норма отдачи на капитал одинакова для всех фирм, отношение между скоростью оборота и относительной прибылью за каждый оборот очень простое. Чтобы уйти от двусмысленности термина "прибыль", мы далее будем использовать следующие термины:

1) Годовую чистую отдачу (в процентном выражении) на весь капитал фирмы (или на любую его часть, для которой нам потребуется отдельная оценка), за вычетом "платы за управление" и премии за риск, мы обозначим как "внутреннюю норму отдачи" (internal rate of return). [Термин "внутренняя норма отдачи" взят из работы К.Е.Боулдинга "The Theory of a Single Investment", Quarterly Journal of Economics, XLIX (May, 1935), 478 ff. Его немецкий эквивалент (более точный -- "innerer Zinssatz") был введен раньше, как мне кажется, в дискуссии о последствиях рационализации кредита, но я не могу вспомнить, кем или когда.] В состоянии долгосрочного равновесия, которое мы только что упомянули, внутренние нормы отдачи будут одинаковыми для всех фирм и для любой части капитала каждой фирмы.

2) Относительную прибыль от каждой продажи и, следовательно, от каждого оборота капитала (в процентном выражении) мы обозначим как "коэффициент прибыльности" (profit margin). Если мы вспомним, что скорость оборота выражает число раз, в которое общий объем продаж (или, скорее, издержек производства, окупившихся в течение года) превышает стоимость капитала фирмы, станет ясно, что если внутренняя норма отдачи должна быть одинакова для всех фирм, то коэффициент прибыльности будет меняться обратно пропорционально скорости оборота. Так, если мы обозначим внутреннюю норму отдачи как I , скорость оборота как T и коэффициент прибыльности как M , то отношение между ними будет выражаться так:

$$I = TM,$$

или $M = I/T$.

Если, например, внутренняя норма составляет 6%, коэффициент прибыльности фирмы, оборачивающей свой капитал шесть раз в год, должен будет составить 1%, тогда как фирма, оборачивающая свой капитал только один раз в два года, должна будет зарабатывать 12% на всех продажах, а фирма, оборачивающая свой капитал только один раз в десять лет, должна будет иметь коэффициент прибыльности 60%. [Для упрощения расчетов сложные проценты нигде не принимаются во внимание.]

Как повлияет на все эти внутренние нормы отдачи различных фирм общее повышение цен, скажем, на 5%? Поскольку такое повышение цен предполагает соразмерное увеличение поступлений от продажи любого количества товаров, издержки производства которых не изменились, это означает явное повышение коэффициента прибыльности на каждом обороте, равное приросту цен. Возьмем три фирмы, только что рассмотренные в качестве примера. Первая (с ежегодной скоростью оборота $T = 6$) увеличит свой коэффициент прибыльности с 1 до 6%; вторая (с $T = 1$) -- с 6 до 11%; и третья (с $T = 1/10$) -- с 60 до 65%. Умножая коэффициент прибыльности на соответствующую скорость оборота, мы получаем новые внутренние нормы отдачи: $6 \times 6 = 36\%$ для первой фирмы, $1 \times 11 = 11\%$ для второй и $1/10 \times 65 = 6,5\%$ для третьей. [Эти цифры показывают, конечно, общее воздействие повышения цен на доходы различных фирм и будут меняться при сдвигах в структуре их капитала, которые мы собираемся рассмотреть ниже.]

При принятых нами допущениях эти различия внутренних норм отдачи разных фирм не могут в короткий срок вызвать какого-либо изменения в имеющемся у них капитале (кроме как через реинвестирование прибыли) -- хотя воздействие, которое они оказали бы в реальном мире на распределение капитала между фирмами, нетрудно себе представить. Поэтому давайте от различий в доходе разных фирм обратимся к различиям в нормах отдачи разных частей капитала какой-либо одной фирмы при точно таком же повышении цен. Представление о отдельных и поддающихся измерению скорости оборота и норме отдачи для разных частей капитала (безусловно, встречающееся, хотя, вероятно, никогда

не получавшее точного определения на практике) предполагает возможность оценки предельного вклада каждой из этих частей в продукт. В свою очередь, это, как хорошо известно, зависит от возможности варьировать пропорции, в каких могут комбинироваться различные формы капитала. В следующем разделе мы объясним, почему считаем, что в значимых для нас случаях эта изменчивость достаточно велика даже в течение короткого периода. Пока же мы двинемся дальше, предположив, что это так и что мы, следовательно, можем определить скорость оборота и предельный продукт любой части капитала фирмы и, следовательно, получаемый от нее коэффициент прибыльности. [Д-р Хоутри в своем обзоре моей работы "Чистая теория капитала" (Economic Journal, June-September, 1941, p. 286) пытается провести различие между измерением дохода от любого вложения в терминах "потенциальной чистой экономии издержек" и его измерением в терминах предельного вклада в конечную продукцию, утверждая, что тогда как возможность для первого будет всегда, второе будет возможно только в исключительных случаях. Но эти два подхода фактически есть просто два разных аспекта одной и той же проблемы и вряд ли какой-то из них много полезнее другого: разница между ними состоит просто в том, что в первом случае мы допускаем, что соотношение между различными факторами станет корректироваться таким образом, что объем продукции будет оставаться постоянным, тогда как во втором мы допускаем, что постоянным является количество всех ресурсов, кроме одного, и наблюдаем влияние изменения в количестве этого вида ресурсов на объем производства. Или, другими словами, первый подход выражен в терминах перемещений вдоль изокванты выпуска и изменений в предельных нормах замещения между факторами, тогда как второй формулируется в терминах сдвигов, параллельных осям той же диаграммы, и соответствующих изменений в предельном продукте.]

Для нашего анализа мы можем воспользоваться цифровым примером, приведенным только что для различных фирм, допустив, что для главных составных частей капитала какой-то отдельной фирмы скорость оборота составляет 6 -- для сумм, инвестируемых на текущие выплаты заработной платы, 1 -- для рабочих частей станков и т.п., 1/10 -- для более тяжелого оборудования, зданий и т.д. Мы вновь предположим, что после того как установилась единая внутренняя норма отдачи в 6%, цены на продукцию поднялись на 5% и что вследствие этого внутренние нормы отдачи, получаемые от различных видов капитала, поднялись, как ранее, до 36%, 11% и 6,5% соответственно. Такое положение явно может быть только временным, если соотношения между формами капитала с разной скоростью оборота могут варьировать. В создавшейся ситуации будет выгодно перераспределить текущие расходы так, чтобы увеличить вложения в капитал с высокой и сократить вложения в капитал с низкой скоростью оборота. Перераспределение будет продолжаться, пока ожидаемая норма отдачи опять не станет одинаковой для всех форм инвестиций, и текущие капиталовложения будут производиться в таком новом составе, пока господствуют те же условия и пока в конце концов весь капитал фирмы не будет адаптирован к этим новым условиям. В результате для фирмы установится новая и опять единая внутренняя норма отдачи где-то между крайними показателями в 6,5 и 36%, и при этой новой норме отдачи общий доход, который можно получить от ограниченных ресурсов фирмы (поддающихся увеличению только за счет реинвестирования дополнительной прибыли), достигнет своего максимума.

Хотя для каждой фирмы внутренняя норма отдачи вновь станет единой, она тем не менее останется неодинаковой для разных отраслей и (в меньшей степени) для разных фирм внутри одних и тех же отраслей. На каком уровне установится внутренняя норма для той или иной фирмы, будет зависеть от первоначальной структуры ее капитала и от того, насколько будут возрастать издержки при всяком переходе к менее капиталистическим методам производства. Однако в общем нормы отдачи окажутся выше в тех отраслях, где

в силу особенностей их производства нужно относительно меньше капитала, и ниже в тех отраслях, где нужно сравнительно больше капитала, хотя обе категории отраслей будут стремиться, насколько возможно, к менее капиталистическим способам производства. [Утверждалось (Уилсоном в статье, цитировавшей выше), что цифровое пояснение, которое я еще раз использовал в приведенном доказательстве, ведет к ошибкам, ибо при современных условиях практический выбор идет не между капиталом со сроком службы в несколько месяцев и капиталом со сроком службы в один-два года, а между различными видами оборудования, которые по длительности пользования ими все являются многолетними, и что различие между ними в нормах отдачи, вызываемое изменениями в ценах на продукцию, столь мало, что им можно пренебречь. Совершенно верно, что, например, в нашем пояснении, где отдача от капитала при скорости оборота в 1/10 поднимается с 6 до 6,5%, норма отдачи от капитала при скорости оборота в 1/12 поднялась бы с 6 до 6,417% -- разница действительно незначительная. Но в этом возращении совершенно упускается из виду суть доказательства. Возражение основано на путанице, вызванной, по-видимому, словесным подобием двух разных формулировок. Верно, что новое, более долговечное (или более трудосберегающее) оборудование будет заменять менее долговечное (или менее трудосберегающее). Но это происходит не в том смысле, когда можно сказать, что дополнительный капитал будет вытеснять другие факторы. Дополнительный капитал, то есть дополнительная сумма, инвестированная в новое, более дорогостоящее оборудование (поскольку оно является более долговечным или более трудосберегающим) сверх того, что было бы необходимо для замены старого станка идентичным, не предназначен для замены старого станка. В этом не было бы смысла.

Он предназначен для экономии последующих издержек, для сокращения объема других требуемых факторов, и сравнивать отдачу от него надо именно с отдачей от капитала, вложенного в эти другие факторы, замещаемые новым оборудованием. Слегка упрощая, мы можем сказать, что дополнительный капитал, вложенный в новое оборудование, применен для замены большего труда, делая станок более долговечным, причем дополнительное вложение в такое оборудование заменит больше труда, чем это было бы при равной сумме, вложенной в менее долговечное оборудование (поскольку при любой положительной норме процента будет выгодно делать оборудование более долговечным, только если срок его службы увеличивается более чем пропорционально по сравнению с дополнительными затратами); или что этот капитал использован для того, чтобы сделать оборудование более трудосберегающим, и в этом случае еще более очевидно, что дополнительный капитал заменяет не другие станки, но текущий труд.

Сравнивая (в пояснении, на которое возразил Уилсон) влияние повышения цен на двухлетние инвестиции с его влиянием на инвестиции только на несколько месяцев, я недооценил действенность своего аргумента: ведь то, что представлялось верным при тех допущениях, должно быть еще более верно в отношении более реалистической ситуации, где для сокращения текущих трудовых затрат вводится оборудование долговечностью в десять или даже двадцать лет.

Верно, конечно, что, если мы вычислим скорость оборота (или "средний срок инвестирования") и норму отдачи от капитала фирмы в целом, изменения как в той, так и в другой будут небольшими. Но дело именно в том, что решение не должно приниматься во всякий момент относительно всего капитала, а также в том, что альтернативные выгоды от сумм, подлежащих в данный момент реинвестированию, будут различаться очень сильно как по абсолютной величине, так и в относительном выражении (как доли от этих подлежащих вложению сумм).]

Прежде чем двинуться дальше, будет целесообразно кратко обсудить вероятное количественное значение рассмотренного явления в краткосрочном периоде. Высказывалось мнение, по-видимому широко распространенное, что несмотря на правильность самой аргументации, практическое значение обсуждаемого эффекта могло бы быть только небольшим. Хотя было бы удобно отложить эти соображения более конкретного порядка до завершения теоретического доказательства, стоит, вероятно, пойти навстречу чувству нетерпения читателя, ощущающего, что все это подробное рассуждение тратится на довод пусть даже и верный, но имеющий ничтожное практическое значение.

Представляется, однако, что это широко распространенное мнение основано на недоразумении. Безусловно, соотношение, в каком основной и оборотный капитал (или более и менее долговечное, более и менее трудосберегающее оборудование) применяются в производстве, может меняться только постепенно и медленно, в течение долгого периода времени. Но дело не в этом. Нас интересует не соотношение между существующими запасами основного и оборотного капитала, а то соотношение, в каком фирмы направляют свои текущие расходы на обновление (или пополнение) двух видов капитальных активов. И повседневный опыт, и общие соображения заставляют думать, что это соотношение будет в высшей степени изменчивым в краткосрочном периоде.

Ошибочное впечатление создается, вероятно, теми иллюстрациями перехода от менее к более капиталистическим методам производства, которые обычно используются в учебниках при описании альтернативных состояний долгосрочного равновесия. Известные примеры "изменений в методах производства" -- о замене всех станков одного типа станками другого типа, замене менее долговечного оборудования более долговечным, менее трудосберегающего более трудосберегающим, или замене технологических процессов, в среднем более коротких, процессами, в среднем более длительными, -- ставят ударение на том моменте, который действительно представлялся бы маловажным в краткосрочном периоде. Чтобы понять, как та же тенденция может с неменьшей силой действовать в краткосрочном периоде, мы должны преодолеть свою привычку к "сравнительной статике" из учебников и постараться думать более реалистически о конкретных решениях, постоянно принимать которые приходится предпринимателям.

В отведенных рамках мы можем дать лишь несколько иллюстраций. Но я надеюсь, что они покажут, насколько широк даже на очень коротком периоде круг возможных вариантов.

Нам нужно представить предпринимателей, оснащенных в любой данный момент определенным запасом оборудования длительного пользования, лишь небольшая часть которого требует замены в любой короткий период времени. Если бы условия оставались такими же, как и были, то они продолжали бы период за периодом инвестировать полученные амортизационные отчисления в оборудование того же рода. Но они будут поступать так просто потому, что это наиболее прибыльный способ использования имеющихся у них средств, и мы не должны предполагать, что они продолжат это делать и после изменения условий. В частности, когда спрос возрастет, появится множество возможных способов увеличения выпуска продукции помимо приумножения оборудования того типа, которым они до сих пор пользовались. Если они не смогут получить кредит, чтобы опустить внутреннюю норму отдачи до прежнего уровня, некоторые из этих способов окажутся более выгодными, чем использовавшиеся ранее.

Будут две основные категории изменений, ставших теперь выгодными: предприниматель может либо использовать имеющееся оборудование более интенсивно (то есть с большими затратами труда) -- направляя на это часть средств, которые иначе были бы инвестированы в замену старого оборудования новым, но того же типа, либо заменять износившиеся станки большим количеством более дешевых станков. Скорее всего, будут задействованы оба способа, хотя первый, по-видимому, важнее.

Очевидные приемы быстрого увеличения объема продукции при повышении цен таковы: работать сверхурочно, ввести две или три смены, обеспечить дополнительную помощь работающим на имеющихся станках для освобождения их от вспомогательных операций и т.д. Это, естественно, будет повышать издержки на рабочую силу в расчете на единицу продукции, которые и не позволяли пользоваться такими приемами до повышения цен. Но если обращение к любому из этих способов увеличит предельные издержки на рабочую силу в расчете на единицу продукции, скажем, на 4% [если последует возражение, что увеличение издержек, которое по нашим предположениям должно быть вызвано сверхурочной работой или подобными приемами, ничтожно мало, это будет просто означать, что очень небольшое повышение цен на 5%, допущенное нами, не вызовет такого эффекта и что для этого потребуются повышение цен, скажем, на 20 или 25%], то при повышении цен на 5% это все еще даст дополнительную прибыль в 1%, что при скорости оборота в 6 раз все-таки обеспечит внутреннюю норму отдачи от этой формы капиталовложений в 12% -- по сравнению с 6,5% от оборудования со скоростью оборота в 1/10 раза. Таким образом, именно с помощью этого более дорогостоящего метода производства при ограниченных средствах, имеющихся в распоряжении предпринимателя, можно будет получить самую высокую прибыль. И применение кооперирующегося с оборудованием труда будет увеличиваться, пока снижение отдачи от средств, вложенных в большее количество труда, и повышение отдачи от средств, вложенных в оборудование, снова не сделает обе нормы отдачи равными на каком-то промежуточном уровне.

Виды изменений в составе используемого оборудования, которые надо принимать в расчет даже для короткого периода времени, будут равно многочисленными и также вызывать повышение предельных издержек. Во-первых, возникнет возможность менее качественного технического обслуживания оборудования и ухода за ним, частичного ремонта вместо полного, более коротких или редких остановок работы для проверок и капитального ремонта, что понизит эффективность и сократит срок службы имеющегося оборудования, но может вполне иметь смысл, если таким образом удастся увеличить текущий объем выпуска. Во-вторых, станет возможно отказаться от обновления, конечно, не важнейших частей оборудования, но многих вспомогательных трудосберегающих устройств, как, например, автоматических подающих механизмов и других приспособлений, выполняющих операции, которые можно проводить и вручную. В-третьих, появится возможность использования устаревших и подержанных станков вместо новых. Многие старые фабрики держат определенное количество такого устаревшего и изношенного оборудования для временного использования в период пика спроса или на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, для чего не имеет смысла держать в резерве новые станки. Во многих отраслях существуют запасы подержанного оборудования, используемого подобным образом. В четвертую, и последнюю, очередь будет возможность замены изнашивающихся станков новыми, но более дешевыми и менее эффективными. Пока внутренняя норма отдачи любой фирмы остается выше прежней, вполне может быть выгодно купить два менее эффективных станка по цене одного более эффективного, если они позволят фирме, несмотря на более высокие затраты труда, увеличить объем продукции больше, чем один более эффективный.

Если мы рассмотрим влияние всех этих возможных изменений не на соотношение различных частей в структуре капитала отдельной фирмы, а на пропорции распределения текущих расходов между различными видами ресурсов или на пропорцию распределения совокупных расходов между основным и оборотным капиталом, станет очевидно, что при общем изменении цен на товары значительные перемены в указанных величинах могут происходить за сравнительно короткое время. В крайних случаях для предпринимателей вполне может оказаться выгодным вообще временно прекратить покупку оборудования и несмотря на это в течение значительного периода активно наращивать выпуск продукции. Но хотя такой крайний случай не слишком вероятен, вполне возможно, что спрос на определенные виды нового оборудования будет полностью прекращен. Вероятность этого выше в особенности там, где (как в случае зданий и наиболее тяжелых машин) оборудование изготавливается на заказ и большие денежные суммы должны замораживаться покупателем на период производства, не принося никакого текущего дохода. Так же, по-видимому, будет происходить везде, где постепенный переход к какому-то новому (например, более трудосберегающему), но более дорогому типу оборудования будет теперь приостанавливаться, и вообще везде, где изменения в принятых методах производства окажутся сопряжены с заменой оборудования, производимого одной группой людей, на оборудование, выпускаемое другой группой. [Представляется, что термин "структура производства", который я ввел в работе "Цены и производство" при описании распределения текущих трудовых затрат между различными "стадиями производства", трактовался иногда в материалистическом смысле, что питало ошибочное представление, будто, рассматривая изменения в методах производства, я имел в виду мгновенные изменения в реально используемом оборудовании. Однако "структура производства" в том смысле, какой я придавал этому термину, безусловно может коренным образом изменяться без каких-либо перемен в реально используемом оборудовании; эти последние будут происходить лишь постепенно как следствие изменения "структуры производства"; и наиболее радикальной переменной подобного рода действительно было бы полное прекращение производства оборудования, хотя люди могли бы еще длительное время использовать его в производстве потребительских товаров.] Пока какой-либо вид труда является специфическим для производства определенного оборудования, спрос на которое уменьшается или полностью прекращается, следствием роста спроса на потребительские блага будет, таким образом, безработица в отраслях, производящих капитальные блага.

4

Теперь нам пора ввести в анализ возможность занимать деньги по нормам процента, устанавливаемым рынком и необязательно изменяющимся в ответ на повышение спроса на капитал. В данном разделе мы рассмотрим, насколько это модифицирует сделанные к настоящему моменту выводы, если принять допущения, приблизительно соответствующие в наиболее важных отношениях условиям реального мира и позволяющие, следовательно, судить о практическом значении наших выводов. Теоретически очень интересный, но имеющий слабое отношение к практике случай "совершенно эластичного предложения кредита" мы отложим до следующего раздела.

На резкое различие между двумя важными случаями и необходимость анализировать их поочередно указывает частое, но неверное применение к рассматриваемой проблеме категории "совершенной конкуренции"; это понятие абсолютно неприменимо к ней, поскольку последовательные (дополнительные) ссуды одному и тому же заемщику никогда не будут представлять собой "одного и того же товара" в том смысле, в каком этот термин используется в теории конкуренции. В то время как на товарном рынке "совершенная конкуренция" означает, что любой отдельный покупатель может купить по

данной рыночной цене любое количество товара, какое пожелает, было бы абсурдно предполагать, что даже на самом совершенном конкурентном рынке денег любой заемщик (или уж, коли на то пошло, какой-нибудь заемщик) мог бы при данной норме процента получать ссуду любого объема, какой пожелает. Этому мешает то, что при данных обстоятельствах обеспечения, которое придется предоставить заемщику, будет хватать для получения ссуды скорее небольшого, чем крупного размера. В результате каждый потенциальный заемщик должен будет сталкиваться с имеющей положительный наклон кривой предложения кредита -- или, скорее, не с непрерывной, но со ступенчато поднимающейся "кривой", показывающей, как норма процента, оставаясь на протяжении какого-то интервала постоянной, затем поднимается вверх резким скачком при достижении того предела, до которого у заемщика есть возможность получать кредит по данной ставке, и т.д.

Чрезвычайно важным, хотя и не единственным, фактором, ограничивающим возможность получения займа фирмой при любой данной норме процента, будет размер ее собственного капитала. Банкиры, как правило, не захотят ссужать какой-либо фирме больше определенной доли от ее собственного капитала и будут тщательно следить за тем, чтобы никакая фирма не взяла ссуду одновременно более чем в одном банке. Сверх этого предела фирма сможет получать кредит только под более высокий процент или, что то же самое, на более обременительных условиях какого-то иного рода. Это ограничение на объем средств, которые любая фирма в состоянии мобилизовать для увеличения выпуска своей продукции, будет усиливаться, если банки предоставляют ссуды только на инвестиции в оборотный капитал и полностью отказываются предоставлять их для инвестиций в основной капитал. Общий момент, о котором нам надлежит помнить в связи с этим, состоит в том, что в существующей институциональной системе кредитование (в прямом смысле этого слова), особенно краткосрочное, будет обеспечивать мобильность капитала лишь в ограниченной степени и что в мире, где всегда присутствует риск, самого по себе этого будет недостаточно, чтобы вызвать выравнивание норм отдачи на капитал, инвестируемый в различные фирмы, или привести эти нормы отдачи в точное соответствие с рыночной нормой процента. Помимо кредитования, для этого будет необходимо и перераспределение капитала с полным участием в риске предприятия, то есть изменения в структуре акционерного капитала или, как это можно описать более привычным образом, в структуре "собственного капитала" фирм (в отличие от привлеченного капитала). Но этот последний процесс неизбежно протекает медленнее, чем предоставление дополнительных банковских ссуд. Следовательно, в действительности дело часто будет обстоять так, что в краткосрочном периоде большинство фирм будут не в состоянии привлечь столько капитала, сколько они могли бы выгодно использовать, или они смогут сделать это только под процент более высокий, чем "рыночная норма".

Нельзя сказать, что тот максимум, который фирма сможет занять под данную норму процента, будет жестко фиксирован в виде пропорции от ее собственного капитала. Руководитель фирмы, который может убедить управляющего своего банка, что у него есть исключительная возможность получения большой прибыли на дополнительный капитал и таким образом способен обеспечить высокую степень безопасности на случай, если его оптимизм окажется не вполне оправданным, будет в состоянии занять пропорционально больше, чем другой. В целом при хороших перспективах все фирмы имеют возможность занимать больше относительно своего собственного капитала, чем при плохих перспективах. [Следует отметить, что устанавливаемое таким путем ограничение заемных возможностей фирм будет скользящим, фиксируемым только на короткий период, но постепенно исчезающим по мере того, как вследствие каждой следующей добавки к уже выделенному объему кредитов повышаются доходы и конечный спрос и тем самым

улучшаются перспективы получения прибыли. Иными словами, оно может просто ограничить темпы расширения кредита, но не может помешать непрерывному, прогрессирующему и даже неограниченному расширению кредита (если при оценке надежности заемщика ценность его активов рассчитывается по возросшим ценам).] Ступенчатые "кривые" предложения кредита, с которыми будут сталкиваться все фирмы, начнут смещаться вправо при улучшении общих перспектив (и влево при ухудшении), и подобные смещения кривых предложения из стороны в сторону часто будут приводить к точно такому же эффекту, как и само изменение нормы процента (то есть снижение или подъем всей кривой), и нередко будет намеренно использоваться для этого.

Однако, хотя любое общее повышение ожидаемых прибылей способно увеличить занимаемые фирмами суммы, оно во многих случаях еще больше будет увеличивать суммы, которые они хотели бы занять при текущих нормах процента, и таким образом подводить фирмы к тому пределу, за которым они смогут привлечь капитал только по более высокой цене. Хотя при действующей норме процента будет оставаться неудовлетворенный спрос, этот спрос не будет "эффективным", поскольку он не будет относиться к тем категориям, к которым применимы действующие нормы процента, и эти нормы останутся таким образом неизменными. Это положение сходно с тем, которое вызывается рационированием кредита, хотя оно будет складываться без вмешательства властей или монополистов, просто как результат мнений банков о "кредитоспособности" заемщиков.

Нет нужды подробно объяснять, что в том случае, когда суммы, которые люди хотели бы занять при текущей норме процента, больше тех сумм, которые они могут получить при этой норме, именно эти суммы, а не действующая рыночная норма, будут определять внутренние нормы отдачи у различных фирм. Как и в ситуации, рассмотренной в предыдущем разделе, внутренние нормы будут разными для различных фирм соответственно перечисленным там условиям (куда нам следует теперь добавить ограничения на возможность получения кредита той или иной конкретной фирмой), и инвестиции каждой фирмы будут регулироваться ее собственной внутренней нормой отдачи, способной намного превышать рыночную норму процента, которая может вообще оставаться неизменной. Повышение внутренних норм отдачи привело бы к общему сдвигу в пользу менее капиталистических методов производства с дифференциацией, соответствующей изменениям внутренних норм отдачи у разных фирм.

Тем не менее остается вопрос, окажется ли меньше -- если в той или иной степени фирмы будут способны получать дополнительные кредиты -- тот уровень, до которого поднимутся их внутренние нормы отдачи, а следовательно, и масштаб сдвига в пользу менее капиталистических методов производства, по сравнению с тем случаем, когда никакие дополнительные кредиты им вообще будут недоступны. Здесь встает та же проблема, что мы собираемся рассмотреть в более общей форме в следующем разделе, поскольку, если наше утверждение верно даже тогда, когда предложение кредита совершенно эластично, оно должно тем более выполняться в данном случае. Таким образом, нам стоит не откладывая обратиться к этому "более сильному" случаю.

5

Допускать, что предложение кредита при определенной норме процента является совершенно эластичным, не только не реально, но и абсолютно фантастично, если мы посмотрим, что оно подразумевает. К тому же это усложняет анализ. Однако такое допущение стоит сделать, поскольку оно сводит нас лицом к лицу с фундаментальной теоретической проблемой. Оно ставит в предельно прозрачной форме вопрос об

отношении между денежными и реальными факторами, воздействующими на относительную прибыльность различных методов производства.

Заявление, что при совершенно эластичном предложении кредита именно денежная норма процента будет определять, какие формы инвестиций более прибыльны, может основываться на одном из двух утверждений, которые надо четко различать. Во-первых, можно утверждать, что в данном случае соотношение издержек и цен (или соотношение заработной платы и цен на товары) обязательно должно быть так отрегулировано путем изменения либо заработной платы, либо цен, чтобы разница между ними пришла в соответствие с денежной нормой процента. Во-вторых, можно утверждать, что даже когда этого не происходит и заработная плата остается, например, слишком низкой относительно цен на товары, регулировать форму инвестиций все-таки будет денежная норма процента, а не соотношение между издержками и ценами.

По поводу обоих этих аргументов, но особенно первого, важно помнить, что рассматриваемое нами положение отнюдь не является состоянием равновесия, но состоянием, которому присущи факторы непрерывного и кумулятивного изменения. Мы действительно имеем дело с классическим примером кумулятивного процесса; совершенно эластичное предложение кредита при норме процента ниже внутренних норм отдачи всех или большинства фирм будет причиной непрерывных изменений цен и денежных доходов, где каждое изменение делает неизбежными дальнейшие изменения. Нет смысла говорить о такой ситуации, что "при равновесии должно" существовать такое-то или такое-то соотношение, поскольку из принятых допущений неизбежно вытекает, что соотношение между по крайней мере некоторыми ценами должно быть неравновесным. Это особенно важно при обращении к двум положениям: во-первых, что цены должны быть равны предельным издержкам и, во-вторых, что цены производственных факторов должны быть равны ожидаемой цене их предельного продукта, дисконтированной по норме процента, по которой можно свободно получать кредит. О первом из них достаточно сказать, что, за исключением очень специфического и не представляющего для нас особого интереса случая [Утверждение можно сделать верным для кратчайшего из всех коротких периодов, если включить в предельные издержки все издержки (в том числе личные усилия предпринимателя), связанные с увеличением объема продукции в течение столь короткого периода -- то есть если включить издержки увеличения выпуска определенным темпом в предельные издержки. Но если мы это сделаем, то предельные издержки не будут больше однозначно связаны с объемом выпуска, и нам придется рассматривать отдельные кривые предельных издержек для каждого темпа роста выпуска продукции, становящиеся все круче по мере перехода к более быстрым темпам роста, пока кривая предельных издержек не станет перпендикулярной для мгновенного увеличения выпуска.], это просто неверно в краткосрочном периоде, хотя догматическое убеждение в том, что цены всегда должны быть равны предельным издержкам, стало, вероятно, причиной большой путаницы в этой сфере. Второе положение имеет более прямое отношение к обсуждаемой теме.

Представление, что если предложение денег при данной норме процента является совершенно эластичным при неэластичном инвестиционном спросе, то норма отдачи, при которой станет достигаться равенство спроса и предложения, будет определяться исключительно первым из этих двух факторов (то есть предложением денег), выводится по аналогии из того общего правила, что если объем спроса или объем предложения чего-либо полностью эластичны при определенной цене, то отсюда неизбежно следует, что именно эта цена и установится на рынке. Однако, хотя подобная формулировка достаточно справедлива, когда речь идет о спросе и предложении, выраженных в "реальных" терминах, она не учитывает существенного отличия данного случая, где

рассматриваемая "цена" есть отношение между ценами двух групп благ (труда и потребительских товаров), тогда как предложение, будучи бесконечно эластичным, относится не к какому-либо из этих двух благ, а только к деньгам, которые сначала должны быть истрачены на одно из них. При этом игнорируется тот факт, что любое увеличение денежных расходов на один вид благ неизбежно будет вызывать увеличение денежных расходов на другой.

Когда выше говорилось, что мы сталкиваемся с неравновесным состоянием, это как раз и означало, что нам предстоит иметь дело с двумя группами сил, стремящимися установить ту же цену (или, скорее, то же соотношение между двумя группами цен) на разном уровне. С одной стороны, у нас имеется данный объем выпуска потребительских товаров (меняющийся лишь медленно) и данная склонность людей тратить на них некоторую часть своего дохода, которые вместе для каждого уровня занятости (а следовательно, и совокупного дохода) детерминируют определенное соотношение между ценами на потребительские товары и ценами всех производственных факторов. С другой стороны, у нас есть бесконечно эластичное предложение денег, которое стремится установить цены производственных факторов в некотором фиксированном соотношении с ценами на продукты, отличным от соотношения, детерминируемого первой группой факторов.

Безусловно, нельзя отрицать, что из-за изменений в денежном потоке соотношение между ценами на два типа благ, диктуемое реальными факторами, может значительно модифицироваться. Но не существует ли ограничений на то, в какой степени и в течение какого времени структура цен, детерминируемая "реальными" факторами, может искажаться подобным образом -- вот в чем проблема. Или так: не ограничивается ли возможная степень такого искажения тем, что дополнительные деньги, вызвавшие вначале повышение одной группы цен, скоро начнут воздействовать в том же направлении на другую их группу. Это очень похоже на вопрос, можем ли мы, достаточно быстро наливая жидкость на одну сторону сосуда, поднять уровень с этой стороны выше остальной поверхности настолько, насколько пожелаем. В какой мере нам удастся поднять уровень одной части поверхности над всей остальной, очевидно, будет зависеть от того, насколько вязкой будет жидкость, -- мы сможем поднять уровень поверхности с одной стороны выше, если это сироп или клей, чем если это вода. Но никогда мы не сможем по своему выбору поднимать уровень поверхности в одной части сосуда выше остальной в любой степени, в какой бы ни пожелаали.

Как вязкость жидкости определяет, насколько ту или иную часть ее поверхности можно поднять выше остальной, так и скорость, с которой повышение доходов приводит к повышению спроса на потребительские товары, ограничивает степень, в какой при расходовании большего количества денег на производственные факторы, мы можем поднять их цены относительно цен на конечные продукты. [Экономическое равновесие отличается, конечно, от нашей гидростатической метафоры тем, что равновесное соотношение между ценами не является постоянным, но будет испытывать влияние изменений в реальных количествах имеющихся товаров. Эти реальные изменения, однако, только усилят данную тенденцию, поскольку они всегда действуют в направлении, противоположном денежным факторам: в нашем случае их следствием будет увеличение соотношения между численностью занятых в производстве вещей, не относящихся к категории потребительских товаров, а значит, и увеличение той разницы между заработной платой и ценами на товары, которая установится при прекращении притока новых денег.] Проблема встает наиболее остро, если мы предположим, что денежная норма процента произвольно понижена до очень низкой цифры в какой-то новой стране с небольшим капиталом и очень высокой "предельной эффективностью капитала". Если рассматриваемое нами утверждение вообще верно, оно должно распространяться и на

этот случай, когда доступность неограниченного количества денег при низкой норме процента вела бы к тому, что величина заработной платы стремилась бы к дисконтированной величине не просто текущего предельного продукта труда, но предельного продукта, который, согласно ожиданиям, труд мог бы произвести после установки оборудования, которое было бы выгодно установить при столь низкой норме процента. Совокупная ценность услуг труда при такой реальной заработной плате могла бы намного превысить ценность совокупного текущего выпуска потребительских товаров и, конечно, намного превысить ценность всего текущего продукта труда. Следствием этого стало бы соответствующее повышение спроса на потребительские товары и цен на них. Если бы это повышение цен стимулировало предпринимателей еще больше занимать и инвестировать, то произошло бы только дальнейшее повышение цен, и чем более быстрого повышения цен ожидали бы предприниматели, тем сильнее они неизбежно ускорили бы рост цен сверх своих ожиданий. Хотя временами им удавалось бы довести заработную плату до дисконтированной величины ожидаемой цены предельного продукта труда, они, надо полагать, не смогли бы, как бы ни старались, действительно поднять реальную заработную плату до уровня, соответствующего столь низкой норме процента, поскольку просто неоткуда было бы взяться такому реальному доходу.

В условиях, к которым мы должны применить эти соображения -- возникающих в современном обществе на последних стадиях бума, -- ситуация будет отличаться лишь по степени. Остается в силе, что предприниматели, предлагая более высокую денежную заработную плату, не смогут в действительности поднять реальную заработную плату до уровня, соответствующего низкой денежной норме процента, поскольку чем выше они поднимут заработную плату, тем выше поднимутся цены на товары. [Я не хочу сказать, конечно, что доля совокупных трудовых доходов в реальном доходе общества жестко фиксирована. Прирост суммы денежной заработной платы позволит рабочим посягнуть на реальный доход класса рантье. Но повышение денежной заработной платы, необходимое для обеспечения большему числу рабочих того же самого реального дохода (в расчете на одного занятого), за счет людей с фиксированными денежными доходами действительно должно быть очень значительным -- настолько, что вряд ли предприниматели предложат его, если только не будут ожидать галопирующей инфляции. Иными словами, мы не собираемся, конечно, отрицать, что будут иметь место некоторые принудительные сбережения, в основном за счет класса рантье. Мы отрицаем лишь вероятность того, что с помощью принудительных сбережений будет возможно обеспечить все возрастающему количеству людей, занятых в производстве инвестиционных благ, постоянную заработную плату, выраженную в терминах потребительских благ. Пожалуй, следует добавить, что приведенный в тексте аргумент не подразумевает, что весь дополнительный денежный доход, выплаченный в виде заработной платы, сразу тратится на потребительские товары, но лишь то, что это верно в отношении значительной его части (см. по этому вопросу: *Profits, Interest and Investment*, pp. 52 ff.).] И в этом случае ограничивающую роль будет играть простая нехватка потребительских товаров, так как, пока все инвестиции принимают высоко капиталистические формы, при каждом приросте занятости лишь небольшая часть дополнительной рабочей силы станет направляться в производство потребительских товаров. Это приводит нас ко второму могущественному фактору, который будет оказывать сдерживающее воздействие в рассматриваемой нами ситуации. Состоит он в том, что в такой ситуации не будет в наличии достаточного количества рабочей силы для одновременного увеличения текущего выпуска потребительских товаров и доведения инвестиций до уровня, задаваемого нормой процента. Пока есть незанятые резервы рабочей силы, действительно, как мы увидим, нет причин, почему бы предпринимателям не использовать неограниченные средства для того и другого: увеличивать объем производства потребительских товаров для ближайшего будущего путем дорогостоящих, но быстрых методов и делать приготовления для более

дешевого производства, инвестируя в широких масштабах. Именно поэтому на ранней стадии бума ситуация будет контролироваться денежной нормой процента. Но хотя это означало бы, что при данных обстоятельствах низкая норма процента эффективна постольку, поскольку речь идет о ее влиянии на объем инвестиций, это все же не значило бы, что с началом роста цен на потребительские товары реальную заработную плату можно было бы поддерживать путем пропорциональных корректировок денежной заработной платы.

6

То, что в рассмотренных обстоятельствах раньше или позже неизбежно падение реальной заработной платы и сокращение инвестиционных расходов, станет очевидно, если мы обратимся ненадолго к парадоксальным результатам, вытекающим из того положения вещей, к которому, по-видимому, приводит противоположный взгляд. Повышение цен на товары при неограниченных денежных суммах, доступных по фиксированной норме процента, вызовет рост инвестиционных расходов и реальных инвестиций, которые из-за отсутствия резервов рабочей силы могли бы осуществляться только за счет сокращения текущего производства потребительских товаров. Обусловленное этим повышение денежных доходов и конечного спроса в соединении с сокращением выпуска потребительских товаров повлечет дальнейшее повышение их цен относительно заработной платы, которое вызовет, согласно такому взгляду, дальнейшее увеличение инвестиций за счет сокращения выпуска потребительских товаров и так далее, пока, по-видимому, не останется людей, производящих потребительские товары, и все будут заняты изготовлением оборудования, предназначенного для производства потребительских товаров в отдаленном будущем, до наступления которого всем людям придется умереть с голода. Хотя, вероятно, некоторая тенденция в этом направлении существует на начальной стадии бума, вряд ли нужна суеверная убежденность в существовании действующих в экономической системе сил саморегулирования, чтобы заподозрить, что за некоторое время до возникновения такой экстремальной ситуации начнут действовать контрсилы, сдерживая подобное развитие. Это приводит нас ко второму варианту аргументации, согласно которому "править бал" должна денежная норма процента.

Этот вариант, где признается, что заработная плата может оставаться относительно низкой по отношению к норме процента, однако утверждается, что, невзирая на это, если предложение денег совершенно эластично, то тогда регулировать форму инвестиций будет норма процента, а не уровень заработной платы, представлен в основном работами Калдора и Уилсона [N.Kaldor, "Capital Intensity and the Trade Cycle", *Economica*, February, 1939 и T.Wilson, "Capital Theory and the Trade Cycle", *Review of Economic Studies*, June, 1940]. Однако эти два автора, как мы постараемся показать, сильно упрощают свою задачу и в результате не доказывают того, что намереваются продемонстрировать. С излишней тщательностью они доказывают в действительности лишь следующее: пока можно получать в кредит неограниченные суммы денег по данной норме процента, только от этой последней и будет зависеть, какой метод принесет наибольшую текущую прибыль сверх текущих издержек после того, как будет поставлено оборудование, в наибольшей мере соответствующее этому методу. Это всего лишь иной вариант трюизма, отмеченного в самом начале и гласящего, что, пока норма процента остается неизменной, изменение реальной заработной платы не может изменить относительных издержек различных методов производства. Калдор и Уилсон совершенно игнорируют то, что, сравнивая полученные от различных методов производства прибыли, они сравнивают методы, использующие разные объемы капитала, никак не подсчитывая стоимость создания дополнительного реального капитала, требующегося для одного из двух этих методов.

Они делают это, не принимая во внимание того, что произойдет в течение переходного периода до установки нового оборудования. Окажется ли вообще в наличии это оборудование, зависит, однако, именно от того, что произойдет в данный промежуток. Ответом на этот вопрос нельзя считать утверждение, что, если мы примем определенный курс действий, превышение текущих денежных поступлений над текущими расходами будет наибольшим начиная с определенной даты в будущем и далее после нее, если при этом нам не скажут, что произойдет между днем сегодняшним и этой будущей датой. Выбирая между двумя альтернативными методами производства, мы не можем принимать решение просто на основании того положения, которое может создаться после достижения какого-то нового долгосрочного равновесия, но должны также учитывать, что произойдет между "сейчас" и "тогда", поскольку от этого будет зависеть, какое долгосрочное равновесие установится. Подход Калдора и Уилсона равнозначен тому, чтобы устранить из их данных реальные факторы, определяющие предложение капитала, и допустить, что в долгосрочном периоде произойдет такое приспособление объемов капитала, что его "предельная эффективность" опустится до той нормы процента, величина которой задается одними только денежными факторами.

Говоря более конкретно, Калдор и Уилсон предполагают, что если только денежные средства будут в наличии, то в таких обстоятельствах непременно окажется выгоднее всего отвечать на повышение спроса на потребительские товары, наращивая количество оборудования пропорционально увеличению выпуска товара, который можно реализовать по данной цене, хотя таким путем, как правило, можно будет догнать возросший спрос только после значительного промежутка. Только если и лишь в той мере, в какой мы можем допустить, что необходимое дополнительное оборудование ждет в магазинах, готовое к покупке и немедленной установке, не будет никакого промежутка. Это допущение (равнозначное предположению, что весь требующийся для расширения реальный капитал уже существует), очевидно, может быть верным в отношении какой-либо одной фирмы, но оно будет неверно, когда все фирмы одновременно находятся в одинаковом положении. В интересующей нас ситуации дополнительное оборудование и тем более произведенная на нем продукция будут доступны только после значительной задержки. В промежутке до того времени, когда эта продукция окажется в наличии, прибыли, которые можно было бы получить при более быстрых методах, будут упущены и их надо будет принимать в расчет как часть издержек производства для более отдаленного будущего.

Несомненно, на это последует ответ, что нет причин, почему бы предпринимателям не сделать и то и другое: обеспечить рост текущего производства более быстрыми, но дорогостоящими методами и обеспечить задел на более отдаленное будущее, заказав больше оборудования. Но это приводит нас к фундаментальному вопросу, окажется ли в наличии достаточное количество реальных ресурсов и, в частности, рабочей силы для осуществления всего этого одновременно. Или, иными словами, встает вопрос, который сейчас модно игнорировать при обсуждении данных проблем: обеспечивает ли неограниченное предложение денежных средств равно неограниченное предложение реальных ресурсов. Как мы уже убедились, в рассматриваемой нами ситуации вряд ли будет так.

Тем не менее будет поучительно обратить более пристальное внимание на то, как некоторые экономисты ухитряются замалчивать эту трудность и таким образом вполне успешно устранять существующее предложение капитала из данных, относящихся к этой проблеме. Наиболее показательна в этом отношении трактовка данного вопроса Калдором в его уже упоминавшейся статье. Он недвусмысленно заявляет, что во всех случаях, когда выпуск отдельных фирм ограничен, снижающиеся кривые спроса на товары "и/или

повышающиеся кривые предложения производственных факторов" [Op. cit., p. 46 (курсив автора)] есть единственная альтернатива ограничению, налагаемому неэластичным предложением кредита. Но когда он подходит к сути дела, то допускает, а позднее даже вводит в сноске в явной форме предположение, что "эластичность предложения производственных факторов для отдельной фирмы бесконечна". [Ibid., p. 50, n. 4. Это допущение подразумевается во всем рассуждении на данной и предшествующей странице, поскольку, только если имеются неограниченные объемы рабочей силы по данной цене, "кривая предложения капитала горизонтальна" в том реальном значении, в каком термин "капитал" употребляется нами.] Однако, хотя таким образом он фактически сводит свое доказательство только к части той группы случаев, для которой сначала предназначал его, он продолжает так, как будто доказал это для всех, и излагает свою первоначальную альтернативу (неэластичное предложение кредита либо снижающиеся кривые спроса на продукцию и/или повышающиеся кривые предложения производственных факторов), как соответствующую различию между ситуациями, где только ставка заработной платы или только норма процента определяет, какие методы производства окажутся прибыльными.

То, что Калдор игнорирует последствия ограниченности предложения труда, чрезвычайно значимо, поскольку именно через повышение цены предложения труда дает о себе знать нехватка реальных ресурсов, доступных для инвестиций (вызываемая конкурирующим спросом производителей потребительских товаров). Его вывод следует исключительно из предположения (и верен, только если это предположение принять), что эластичность предложения труда (и других производственных факторов) бесконечна. Если это так, тогда действительно нет причин, почему бы предпринимателям не преуспеть в использовании неограниченных денежных средств для быстрого увеличения объема продукции более дорогостоящими методами, принимая одновременно меры для более экономичного производства большего ее объема в более поздний период. Пока есть незанятые резервы рабочей силы по неизменной цене, неограниченные денежные средства означают неограниченное распоряжение ресурсами. Но это не является условием, отвечающим ситуации полной занятости, возникающей вблизи высшей точки бума.

Мы яснее увидим связанную с этим проблему, если на минуту допустим, что каждая фирма представляет собой полностью интегрированный процесс производства, так что не только производство конечного товара и всех разнообразных используемых ею видов сырья, материалов и т.п., но и изготовление оборудования, необходимого для производства продукции, происходит в рамках самой фирмы. В рассматриваемых нами обстоятельствах каждая из таких интегрированных фирм смогла бы привлечь дополнительную рабочую силу только путем предложения более высокой заработной платы. И хотя относительно менее капиталистические отрасли могли бы счесть прибыльным увеличение численности своей рабочей силы таким путем -- за счет более капиталистических отраслей, в случае отсутствия безработных это окажется невозможно для всех фирм, или всех отраслей, или для фирм со средней "капиталоемкостью".

Для каждой из таких фирм, которые для наших целей могут выступать просто как представители общей тенденции, проблема поэтому будет состоять в том, как распределить имеющуюся у них данную рабочую силу между производством потребительских товаров и производством оборудования. Максимизировать избыток текущих поступлений сверх текущих расходов на все периоды после завершения изменений можно было бы путем временного перевода рабочей силы из производства товаров в производство оборудования. Это было бы сопряжено с сокращением текущего выпуска товаров и, следовательно, текущих прибылей не только ниже уровня, на котором они оставались бы при сохранении прежнего объема выпуска, но еще и ниже уровня, которого можно было бы достичь при увеличении текущего объема за счет обращения к

более быстрым и более дорогостоящим методам, пока предельные издержки не сравнялись бы с ценой. Текущая прибыль окажется упущена, если придется ставить дополнительное оборудование, так что ее следует рассматривать как издержки (которые, соответственно, должны окупаться) получения более высокой прибыли, которую в итоге можно было бы иметь постоянно начиная с некоторой будущей даты и далее после нее. Но эта статья, представляющая издержки дополнительного выжидания (waiting), с которым сопряжены более капиталистические методы, нигде не входит в расчеты Калдора и Уилсона. Поскольку прибыли, полученные на данном промежутке, как мы видели, скорее всего, будут весьма значительными, более чем вероятно, что они решат исход дела не в пользу более капиталистического процесса. Иными словами, прибыли будут более высокими при методе с более высокой скоростью оборота не потому, что они нарастали бы более высокими темпами после установления нового равновесия, рассмотренного Калдором (чего не происходило бы), но потому, что прибыли при менее капиталистическом методе начнут нарастать раньше, чем при более капиталистическом. Именно прибыли от сегодняшнего дня и далее, а не просто прибыли после установления дополнительного оборудования должны учитываться при вынесении решения о том, создавать ли дополнительное оборудование вообще. Именно по этой причине наши интегрированные фирмы, если их внутренние нормы отдачи только поднимутся достаточно высоко, наверняка не станут переводить рабочую силу из производства товаров в производство оборудования, но, напротив, перебросят рабочую силу из производства оборудования в производство товаров. Этот сдвиг не будет всего лишь мимолетным, но явно будет сохраняться, пока сохраняются условия, изначально сделавшие его прибыльным, то есть пока цены на потребительские товары остаются высокими по отношению к заработной плате.

Прежде чем оставить интегрированные фирмы, имеет смысл более близко взглянуть на то, что именно произойдет в их цехах по производству машин. Эти цеха вынуждены будут уступить часть рабочей силы, которая также может косвенно использоваться при производстве потребительских товаров, и им придется перейти на производство менее сложного, менее дорогостоящего оборудования. Оба эти сдвига в результате сделают излишними другие виды труда, специфичные для производства более сложных типов оборудования или выполнения более сложных работ (как, например, добыча определенных видов сырья, используемого при производстве оборудования) и требующие в строгой количественной пропорции по отношению к общему объему выпуска оборудования. Иными словами, в результате нехватки более широко применяемой рабочей силы возникнет безработица среди некоторых высокоспецифических категорий работников, используемых при производстве строго определенных типов оборудования.

Хотя представляется вполне очевидным, что результаты должны быть такими же, если мы откажемся от допущения полной интегрированности различных отраслей, я должен признать, что мне трудно отчетливо представить, как это произойдет. Безусловно, физические условия проблемы остаются теми же: все так же будет верно, что имеющейся рабочей силы не хватит для одновременного быстрого увеличения выпуска потребительских товаров и обеспечения большего количества оборудования для производства еще больших объемов товаров более эффективными методами после какой-то даты в будущем. Верным останется и то, что если предприниматели сделают выбор в пользу более дорогостоящих, но быстрых методов, то их прибыль окажется выше. Проблема в том, как именно они смогут предвидеть этот результат, поскольку до тех пор, пока они убеждены, что при господствующей цене они могут и получить рабочую силу для немедленного увеличения объема продукции и убедить изготовителей оборудования производить для них станки, будет представляться прибыльным пытаться делать и то и другое; отдельный предприниматель не будет больше прямо сталкиваться с проблемой

использования той же самой рабочей силы для производства либо большего количества потребительских товаров, либо большего количества оборудования; и только когда он и все другие предприниматели, находящиеся в таком же положении, попробуют так поступить, они убедятся, что это невозможно.

Ответ, я думаю, нужно искать по следующим направлениям. Во-первых, производство для ближайшего будущего обязательно должно будет привлечь внимание предпринимателя в первую очередь, поскольку если прибыли, которые можно получить в ближайшем будущем, не получены, то они (а возможно, и часть его бизнеса вообще) будут упущены навсегда в пользу конкурента, тогда как отсрочка в приобретении более эффективного оборудования повлияет на объем выпуска продукции в меньшей степени и просто отсрочит день, когда его издержки снизятся. С этим будет тесно связан эффект возрастающей неопределенности, касающейся более отдаленного будущего. Хотя предприниматель может ожидать неограниченного сохранения более высоких цен, он будет менее уверен в том, что это положение сохранится в более отдаленном будущем, чем в более близком. По принципу "куй железо, пока горячо", предпочтение будет отдаваться мерам, сулящим скорую прибыль.

Во-вторых, поскольку в краткосрочном периоде более капиталистические методы потребуют больше рабочей силы для любого данного увеличения выпуска товаров, чем менее капиталистические, повышение цены предложения труда даст о себе знать сильнее в первом случае, нежели во втором. Иными словами, попытка приобрести необходимое для данного увеличения выпуска оборудование натолкнется на более значительное повышение цены этого оборудования, чем то повышение заработной платы, на которое натолкнулась бы попытка привлечь дополнительную рабочую силу, необходимую для производства того же объема товаров менее капиталистическими методами.

В-третьих, поскольку производители товаров в первую очередь будут увеличивать свой выпуск не за счет установки дополнительного оборудования такого же, как уже имеющееся, а за счет обращения к более дешевым видам станков, потребность в более сложном оборудовании возрастет только после износа того, что было установлено изначально, и, следовательно, спрос на более сложную технику может на время полностью прекратиться.

Наконец, и это, возможно, самое главное, пока производителям товаров реально не удастся быстро увеличить объем выпуска настолько, насколько это необходимо для снижения предельной отдачи до уровня, который, по их ожиданиям, станет поддерживаться в долгосрочном периоде, они будут пребывать в неопределенности, какой же из разнообразных фрагментов картины изменится настолько, чтобы установилось новое состояние равновесия. Иными словами, пока прибыли от быстрых методов реально не упадут и пока будет казаться, что нужны дальнейшие энергичные усилия, чтобы немедленно извлечь все доступные высокие прибыли, до тех пор более сложные и сопряженные с большим риском приготовления с целью получения будущих прибылей по более низкой норме (хотя и большим по абсолютному размеру) не будут представляться достаточно привлекательными. Но пока люди будут пытаться делать и то и другое, быстро увеличивать выпуск товаров и заказывать больше оборудования, доходы и конечный спрос будут продолжать бежать впереди ожиданий производителей потребительских товаров. Только после значительного сокращения инвестиций издержки более дорогостоящих методов нагонят цены, и таким образом более капиталистические методы снова станут привлекательными.

Я полностью осознаю, что все это не слишком удовлетворительно и что была бы желательна более ясная картина точного процесса, посредством которого конкуренция приводит к такому результату. Но я не уверен, возможно ли это. Мы имеем дело с неравновесным положением, когда события зависят от точной последовательности разнообразных изменений во времени и когда ситуация вполне может в любой момент оказаться "смазанной", как мы привыкли говорить во время войны. Мы не можем точно сказать, когда предприниматели откажутся от саморазрушительных попыток одновременно создать сложное оборудование и быстро увеличить производство товаров. Мы можем только сказать, что чем позднее проявится рассмотренный нами здесь эффект, тем больше должны возрасти вызывающие его силы (то есть чем дольше допускается, чтобы увеличение конечного спроса вызывало пропорционально более высокий прирост инвестиций, тем большим должно становиться повышение цен на конечные товары относительно издержек), которым рано или поздно предстоит поэтому стать доминирующим элементом картины.

7

Любая попытка узнать из имеющейся статистической информации, действительно ли эффект Рикардо действует так, как подразумевают эти рассуждения, сталкивается с серьезными трудностями. Здесь мы можем только показать, каковы эти трудности при попытках верификации и почему имеющиеся пока подтверждения не позволяют, по-видимому, сделать определенные выводы.

Прежде всего следует указать, что, хотя выражение "реальная заработная плата" иногда используется в этом контексте, интересующее нас отношение между заработной платой и ценами на товары не имеет никакой прямой связи с "реальной заработной платой" в том смысле, в каком этот термин обычно употребляют. В большинстве случаев при обсуждении реальной заработной платы имеется в виду отношение между заработной платой, получаемой рабочим, и ценами на потребительские товары, на которые он ее тратит. Нас же интересуют издержки на рабочую силу для предпринимателя и их отношение к ценам на производимую им продукцию. Мы только упомянем, что выплачиваемая рабочим заработная плата и издержки на рабочую силу для предпринимателя могут даже иногда меняться в противоположных направлениях. [Это может быть следствием отражающихся на условиях труда изменений в налогообложении, социальном страховании, законодательном регулировании и ограничительной практике профсоюзов. Я помню виденную мною однажды подробную сравнительную статистику "реальной заработной платы" линотипистов в Швеции и Австрии, которая, как мне показалось, убедительно свидетельствовала, что, хотя покупательная способность заработной платы рабочих была в Австрии намного ниже, для предпринимателя она означала гораздо более высокие реальные издержки на рабочую силу.] Однако более важно различие между ценами на товары, приобретаемые рабочими на свою заработную плату, и ценами на товары, в производстве которых используется их труд. Главные источники этого различия следующие:

1. Хотя на "стоимость жизни" основное влияние оказывают цены сельскохозяйственной продукции, нам для нашей задачи главным образом важны цены промышленных изделий. В более общем смысле значимость для нашей задачи изменения цен на любой конкретный продукт варьирует в зависимости от относительной величины капитала, используемого в его производстве (она сравнительно низка в сельском хозяйстве и сравнительно высока в промышленности). Важность этого станет очевидной, если вспомнить, что для нашей задачи простое переключение спроса от изделий, требующих для своего производства сравнительно небольшого капитала, к изделиям, требующим гораздо большего, имело бы

тот же эффект, что и расширение совокупного спроса. Всякому статистическому анализу следовало бы сосредоточиться прежде всего на воздействии изменений в соотношении между ценами на продукты и заработной платой в любой отдельной отрасли на инвестиции в этой отрасли. Когда предпринимается более общее исследование, цены, вероятно, следует взвешивать соответственно доле капитала, используемого в производстве различных товаров. Когда нам приходится иметь дело с "открытой системой", что будет постоянно происходить при статистических исследованиях, необходимо проводить дополнительное разграничение между ценами на товары местного производства и импортируемые.

2. Хотя с точки зрения "стоимости жизни" значимы будут розничные цены, для нашей задачи важны будут цены, уплачиваемые производителями и участвующие в их расчетах, а в общем известно, что последние (во всяком случае, оптовые цены) колеблются сильнее, чем розничные, по причинам, в которые нам не требуется здесь вдаваться.

3. Хотя с точки зрения "стоимости жизни" значимо именно отношение между заработной платой и ценой на фиксированное количество товаров, нас здесь интересует отношение между издержками на рабочую силу и ее предельным продуктом. Этот предельный продукт тем не менее сам по себе является не постоянной, но переменной величиной и может либо меняться вследствие рассматриваемого нами эффекта, либо из-за своего изменения становится причиной этого эффекта. Иными словами, изменения предельного продукта могут выступать либо как зависимые переменные, когда они есть следствие изменения пропорций, в которых сочетаются капитал и труд, либо как независимые переменные, когда они вызываются изменениями в "данных", особенно изменениями в технических знаниях. Технический прогресс, особенно когда он всеобщий и быстрый, может серьезно осложнить нашу задачу.

Пока технические знания остаются без изменений, соотношение между издержками на рабочую силу и ценой ее продукта, значимое для нашей проблемы, будет, в общем, таким же, как и соотношение между затратами на фиксированное количество труда и ценой на фиксированное количество продукта -- хотя, когда нам приходится иметь дело с "открытой системой", изменения цен на важное сырье могут нарушать даже это простое отношение. Однако когда надо принимать в расчет изменения в техническом знании, проблема становится гораздо более сложной. Если взять крайний случай, то очевидно, что если прогресс в знании позволит нам при том же оборудовании и тех же прочих затратах производить на 20% больше, чем прежде, то ближайший эффект окажется очень похож на результат повышения цен на потребительские товары. Пока он происходит изолированно, это не вызывает особых сложностей. Но когда технический прогресс идет в сочетании с изменением цен, возникает проблема, для которой трудно найти практическое решение. Для того чтобы оценить значение любого изменения цен, происходящего вместе со сдвигом в технологии, нам следовало бы знать, какое ценовое соотношение "соответствует" теперь прежнему ценовому соотношению, то есть какое соотношение между издержками на рабочую силу и ценой на товары сделает теперь инвестиции не более и не менее привлекательными, чем прежнее соотношение между ними. В данный момент я не могу предложить никакого выхода из этого затруднения.

ГЛАВА XII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

Перепечатано из *New Commonwealth Quarterly*, V, No. 2 (September, 1939), p. 131-49.

1

Одним из самых крупных преимуществ межгосударственной федерации по праву считается то, что она устранит препятствия на пути движения людей, товаров и капитала между государствами и сделает возможным создание общих норм права, единой денежной системы и общего контроля за средствами коммуникации. Вряд ли можно переоценить материальные выгоды от создания столь большой экономической зоны. По-видимому, считается также само собой разумеющимся, что экономический и политический союзы естественно было бы совместить. Однако поскольку здесь придется доказывать, что создание экономического союза серьезно ограничит воплощение в жизнь питаемых столь многими надежд, мы должны сначала показать, почему снятие экономических барьеров между членами федерации не только является благоприятным сопутствующим обстоятельством, но и необходимым условием для достижения ее главной цели.

Бесспорно, главная цель межгосударственной федерации -- обеспечить мир: предотвратить войны как внутри нее, устранив трения и создав эффективный механизм урегулирования любых споров, могущих возникнуть среди ее членов, так и между ней и любыми независимыми государствами, сделав ее столь сильной, чтобы исключить любую опасность нападения извне. Если бы эту цель можно было достичь путем только политического союза, не распространяя его на экономическую сферу, многие, вероятно, были бы удовлетворены, остановившись на создании общего правительства в целях обеспечения обороны и проведения единой внешней политики, поскольку более далеко идущее объединение могло бы помешать осуществлению других идеалов.

Есть тем не менее очень серьезные причины, почему все планы межгосударственной федерации включают экономический союз и даже считают его одной из главных целей, а также почему нет ни одного исторического примера успешного объединения стран для проведения общей внешней политики и обеспечения обороны без введения общего экономического режима. [Предстоит еще убедиться, в какой степени Британское Содружество Наций со времен Вестминстерских Статутов является в этом отношении исключением.] Хотя есть примеры заключения между странами таможенных союзов без создания механизма для общей внешней политики и совместной обороны, решение нескольких стран опереться на общую внешнюю политику и объединенные вооруженные силы, как это было с частями двойной монархии Австро-Венгрии, неизбежно соединялось с общим руководством по вопросам тарифов, денег и финансов.

Отношения Союза с внешним миром дают к этому серьезные основания, поскольку общее представительство в иностранных государствах и общая внешняя политика вряд ли мыслимы без общей фискальной и денежной политики. Если международные соглашения должны заключаться только Союзом, из этого следует, что единственно Союз должен иметь власть над всеми иностранными отношениями, включая контроль за экспортом и импортом и т.д. Если правительство Союза должно нести ответственность за поддержание мира, тогда Союз, а не его части, должен отвечать за все решения, которые нанесут ущерб или принесут пользу иным странам.

Не менее важны и требования общей оборонительной политики. Межгосударственные барьеры на пути торговли не только помешали бы наилучшему использованию имеющихся ресурсов и ослабили бы экономическую мощь Союза, но региональные преимущества, порожденные всякого рода региональными протекционистскими мерами, неизбежно создали бы препятствия на пути эффективной оборонительной политики. Подчинить экономические интересы отдельных членов интересам Союза было бы достаточно трудно; но если государства-участники оставались бы общностями с раздельными интересами, так что жители каждого из них делили бы успехи и страдания только друг с другом, будучи изолированы от остальных частей Союза разного рода барьерами, проводить общую оборонительную политику было бы невозможно, потому что ей мешали бы на каждом шагу соображения, продиктованные местными интересами. Это, однако, лишь одна грань обсуждаемой нами более широкой проблемы.

Главные причины, вынуждающие распространить Союз и на экономическую сферу, вызываются необходимостью сохранять его внутреннюю сплоченность. Сохранение той или иной степени экономической обособленности и изоляции каким-либо отдельным государством порождает солидарность интересов среди всех его жителей и конфликты между их интересами и интересами жителей других государств, -- конфликты, которые вовсе не являются естественными или неизбежными, хотя мы так привыкли к ним, что считаем их само собой разумеющимися. Нет никакой веской причины, почему любое изменение, влияющее на конкретную отрасль на определенной территории, должно сказываться на всех или почти всех жителях этой территории сильнее, чем на людях из других мест. Было бы в равной мере полезно для всех территорий, составляющих сейчас суверенные государства (да и для любого другого искусственно отграниченного от других региона), если бы не было таможенных барьеров, раздельных денежных систем и всех остальных препятствий на пути свободного движения людей и товаров. Только в силу этих барьеров сфера действия разнообразных выгод и потерь, затрагивающих в первую очередь какую-то конкретную группу людей, будет в основном ограничиваться жителями данного государства, распространяясь почти на всех живущих в его границах. Такие экономические барьеры создают общности интересов на региональной основе, причем самого тесного характера: они приводят к тому, что все столкновения интересов становятся конфликтами между одними и теми же группами людей вместо конфликтов между группами с постоянно меняющимся составом. Отсюда -- вековые конфликты между жителями отдельных государств, взятых как целое, вместо того чтобы конфликты происходили между различными индивидами, оказывающимися иногда с одной группой людей против другой, а временами, по иному вопросу, -- со второй группой против первой. Нам не надо подчеркивать здесь тот крайний, но тем не менее важный довод, что национальные ограничения повлекут за собой значительные изменения в уровне жизни населения объединенного государства, состоящего из нескольких частей. [Только потому, что вследствие подобных условий уровень жизни всех жителей страны начинает меняться в одном и том же направлении, такие понятия, как уровень жизни или общий уровень цен в стране, перестают быть просто статистическими абстракциями и становятся вполне конкретными реалиями.] Сам факт, что все будут вновь и вновь обнаруживать, что их интересы тесно связаны с интересами одной постоянной группы и антагонистичны по отношению к интересам другой группы, должен вызывать резкие трения между группами как таковыми. Неизбежно то, что всегда будут общности интересов (*communities of interest*), и на членов каждой такой общности определенное событие или определенная мера будет воздействовать одинаковым образом. Однако явно в интересах единства более крупного целого, чтобы эти группировки не были постоянными и, еще более, чтобы разнообразные общности интересов не расплзались территориально и чтобы с ними никогда не идентифицировали себя надолго жители того или иного конкретного региона.

Мы рассмотрим позже, как в существующих федеративных образованиях, даже если составляющие их отдельные государства и не владеют такими тяжелыми орудиями протекционизма, как тарифы и собственная валюта, более скрытые формы протекционизма ведут к возрастающим трениям, цепной реакции мести и даже применению силы между отдельными государствами-членами федерации. И нетрудно представить, какие формы это приняло бы, если бы отдельные государства могли свободно использовать весь арсенал протекционизма. Представляется достаточно очевидным, что политический союз между некогда суверенными государствами не просуществует долго, если ему не будет сопутствовать союз экономический.

2

Отсутствие тарифных барьеров и свободное движение людей и капитала между государствами-членами федерации имеет определенные важные следствия, которые часто не замечаются. Они в значительной мере ограничивают сферу экономической политики отдельных государств. Если товары, люди и деньги могут свободно пересекать межгосударственные границы, отдельное государство лишается всякой возможности влиять своими действиями на цены различных товаров. Союз становится одним единым рынком, и цены в разных его частях начинают отличаться только из-за транспортных расходов. Любое изменение в любой части Союза условий производства любого продукта, поддающегося транспортировке в другие части, будет оказывать влияние на его цены повсюду. Точно так же любое изменение возможностей инвестирования или оплаты труда в любой части Союза более или менее быстро повлияет на предложение капитала и рабочей силы и на их цены во всех остальных частях Союза.

Сейчас почти вся современная экономическая политика, направленная на поддержку определенных отраслей, пытается делать это путем воздействия на цены. Будь то советы по торговле или ограничительные схемы, принудительная "реорганизация" или уничтожение избыточных мощностей в тех или иных отраслях, цель всегда состоит в том, чтобы ограничить предложение и таким образом повысить цены. Все это явно станет невозможно для отдельных государств в рамках Союза. Весь арсенал советов по торговле и других форм монополистической организации различных отраслей перестанет находиться в распоряжении правительств отдельных государств. Если они все же захотят поддержать конкретную группу производителей, им придется делать это, прямо предоставляя субсидии из средств, собранных путем обычного налогообложения. Однако уже нельзя будет пользоваться такими методами, с помощью которых, например, в Англии в последние годы были защищены все производители сахара и молока, бекона и картофеля, хлопчатобумажной пряжи, угля и железа от "разрушительной конкуренции" изнутри и извне.

Станет также ясно, что государства в рамках Союза не смогут проводить независимую денежную политику. При общей денежной единице широта полномочий, предоставленных национальным центральным банкам, будет ограничена во всяком случае настолько же, насколько при жестком золотом стандарте -- а возможно, и гораздо сильнее, поскольку даже при традиционном золотом стандарте колебания в торговле между странами были больше, чем между различными частями одного государства, и чем было бы желательно допустить в рамках Союза. [По вопросам, возникающим в связи с этим, ср. мою работу: *Monetary Nationalism and International Stability* (London, 1937).] Действительно, представляется сомнительным, чтобы в Союзе с единой денежной системой продолжали существовать независимые национальные банки; вероятно, они должны реорганизоваться в своего рода Союзную Резервную Систему. Но в любом случае национальная денежная политика, которая исходила бы преимущественно из

экономических и финансовых условий отдельного государства, неизбежно вела бы к подрыву единой денежной системы. Ясно, таким образом, что денежная политика должна быть целиком делом федерации, а не отдельных государств.

Но даже в отношении менее грубых форм вмешательства в экономическую жизнь, чем регулирование денежной сферы и цен, возможности отдельных государств будут резко ограничены. Хотя они могли бы, конечно, контролировать качество товаров и применяемые методы производства, нельзя упускать из вида, что при невозможности для государства-члена федерации не допускать на свою территорию товары, производимые в других частях Союза, любое бремя, возложенное на ту или иную отрасль законодательством этого государства, ставило бы ее в крайне невыгодное положение по сравнению с подобными же отраслями в других частях Союза. Как показал опыт существующих федераций, даже такие законодательные меры, как ограничение детского труда или продолжительности рабочего дня, становится трудно осуществлять в отдельных государствах.

Что касается чисто финансовой сферы, то способы пополнения доходов государств-членов также были бы для них несколько ограничены. Возросшая мобильность между государствами заставит их избегать любых форм налогообложения, выталкивающих капитал и рабочую силу в другие места. Однако кроме этого возникли бы значительные трудности со многими разновидностями косвенного налогообложения. В частности, если бы было решено избавиться от лишних расходов, связанных с пограничным контролем, что, несомненно, желательно, то тогда оказалось бы трудно облагать налогами и любые товары, которые можно легко импортировать. Это устранило бы не только такие формы государственного налогообложения, как, например, табачная монополия, но, вероятно, и многие акцизные сборы.

У меня нет намерения более полно рассматривать здесь те ограничения, которые федерация наложила бы на экономическую политику отдельных государств. Общий эффект в этом направлении, надеюсь, уже достаточно проиллюстрирован всем сказанным выше. Вероятно, чтобы предотвратить уклонения от фундаментальных установлений, обеспечивающих свободное движение людей, товаров и капитала, было бы на самом деле желательно, чтобы конституция федерации еще больше стесняла свободу действий отдельных государств, чем мы до сих пор допускали, и чтобы их полномочия на самостоятельную деятельность ограничивались дополнительно помимо конституции. Нам еще придется вернуться к этому вопросу позднее.

Пока стоит лишь добавить, что такие ограничения нужны не только по отношению к государственной экономической политике членов федерации, но и по отношению к экономической политике торгово-промышленных и профессиональных организаций, распространяющих свою власть на территорию какого-то отдельного государства. Как только границы перестают быть закрытыми и обеспечивается свободное движение, все эти национальные организации, будь то профсоюзы, картели или профессиональные ассоциации, утратят свои монополистические позиции, а значит, и способность контролировать в качестве национальных организаций предложение соответствующих услуг или товаров.

3

Читатель, следивший за аргументацией до настоящего момента, вероятно, заключит, что если в рамках федерации экономические полномочия отдельных государств будут так сильно урезаны, то федеральное правительство должно будет взять на себя функции,

которые более не смогут выполнять ее члены, и осуществлять все то планирование и регулирование, которое им не под силу. Но в этом пункте появляются новые трудности. В столь кратком обзоре будет целесообразнее рассмотреть эти проблемы главным образом в связи с наиболее устоявшейся формой государственного вмешательства в экономическую жизнь, а именно тарифами. В главном наши замечания по поводу тарифов равно приложимы и к другим формам ограничительных или защитных мер. Несколько отсылок к конкретным примерам государственного регулирования будут добавлены позже.

Прежде всего, защита какой-нибудь отдельной отрасли в рамках всего Союза может принести мало пользы тем, кто сейчас выгадывают от нее, поскольку производители, от чьей конкуренции они захотят защититься, будут тогда внутри Союза. Английский производитель пшеницы мало выгадает от тарифа, распространяющегося и на него, и на канадского, и, возможно, на аргентинского производителя пшеницы в рамках одной зоны свободной торговли. Английский производитель легковых автомобилей получит мало преимуществ от таможенной стены, окружающей также и американских производителей. Вряд ли стоит дальше подробно рассматривать этот вопрос.

И даже в тех случаях, когда за пределами федерации окажутся крупные производители, от чьей конкуренции захочет защититься определенная отрасль в целом, возникнут особые трудности, не встречающиеся в той же степени в рамках национальной тарифной системы.

Следует, вероятно, сначала указать, что для получения определенной отраслью выгод от тарифа необходимо, чтобы тариф на ее изделия был выше, чем тарифы на товары, приобретаемые производителями из этой отрасли. Единообразный тариф при одинаковой ставке на весь импорт просто приносит выгоды всем отраслям, конкурирующим с импортом за счет всех остальных; однако такие выгоды распространяются совершенно беспорядочно и вряд ли могут пойти на пользу тем, кому предназначается помощь. Хотя подобный тариф вел бы к уменьшению материального благосостояния всех людей в рамках Союза, он, возможно, мог бы использоваться для усиления политической сплоченности между членами федерации. Представляется, следовательно, что здесь не возникает особых трудностей.

Они появляются, только когда тариф используется для содействия более быстрому росту определенной отрасли, чем это происходило бы без него, или для ее защиты от неблагоприятных воздействий, ведущих к ее возможному упадку. В этих случаях, чтобы субсидировать одну определенную группу людей, всех остальных производителей и потребителей неизбежно принуждают нести жертвы.

В национальном государстве нынешние идеологии помогают сравнительно легко убедить остальную часть общества, что в ее интересах защитить "свою" черную металлургию, или "свое" производство пшеницы, или что угодно еще. Элемент национальной гордости "своей" индустрией и соображения национальной мощи на случай войны обычно побуждают людей соглашаться на жертвы. Решающим соображением оказывается то, что их жертвы помогают соотечественникам, чье положение им известно. Будут ли те же мотивы действовать по отношению к другим членам Союза? Насколько вероятно, что французский крестьянин готов будет платить больше за свои удобрения, чтобы помочь британской химической промышленности? Согласится ли шведский рабочий платить больше за свои апельсины, чтобы поддержать калифорнийского садовода? Или лондонский клерк будет готов больше платить за свою обувь или велосипед, чтобы помочь американскому или бельгийскому рабочему? Или южноафриканский шахтер -- за свои сардины, дабы помочь норвежскому рыболову?

Представляется ясным, что в федерации вопрос согласия на общий тариф вызовет проблемы иного рода, нежели в национальном государстве. В этом случае отсутствовала бы поддержка сильных националистических идеологий, сочувствие к соседу; даже соображения безопасности утратили бы большую часть своей убедительности, если бы Союз фактически обладал такой мощью, что ему практически некого было бы опасаться. Трудно вообразить сейчас, каким образом в федерации можно было бы достичь соглашения по поводу использования тарифов для защиты определенных отраслей; это относится и ко всем другим формам протекционизма. При наличии большого разнообразия условий среди разных стран, что неизбежно будет присуще федерации, устаревающие или приходящие в упадок отрасли, требующие оказать им помощь, почти наверняка столкнутся здесь же, в рамках федерации, с прогрессивными отраслями, требующими свободы развития. Будет значительно сложнее затормозить прогресс в одной части федерации, чтобы поддержать уровень жизни населения в другой части, чем сделать то же самое в национальном государстве.

Но даже там, где речь не идет просто о "регулировании" (то есть сдерживании) прогресса одной группы в интересах защиты другой группы от конкуренции, разнообразие условий и различия в стадиях экономического развития, достигнутых разными частями федерации, создадут серьезные препятствия для федерального законодательства. Многие формы государственного вмешательства, желательные на одной стадии экономического развития, на другой рассматриваются как серьезные препятствия. Даже такие законодательные меры, как ограничение продолжительности рабочего дня, или обязательное страхование от безработицы, или охрана природы, будут восприниматься по-разному в бедных и в богатых регионах и могут в первых на самом деле приносить вред и вызывать резкое сопротивление со стороны той категории людей, которая в более богатых регионах этого требует и выигрывает от этого. Такие законодательные меры в целом должны будут ограничиваться тем, насколько возможно их применение на местном уровне, без введения всевозможных ограничений на свободу передвижения, например, в виде законов о поселениях.

Эти проблемы, конечно, хорошо знакомы в известных нам национальных государствах. Но они отличаются меньшей сложностью в силу сравнительной однородности, общности убеждений и идеалов и наличия единых традиций народа в национальном государстве. Фактически существующие суверенные национальные государства большей частью отличаются такими размерами и составом, которые делают возможным согласие на столь значительный масштаб государственного вмешательства, который оказался бы нетерпим ни при более мелких, ни более крупных размерах. В первом случае (а значение имеет не просто размер в смысле количества жителей или территории, но размер относительно сложившихся групп, одновременно и более или менее однородных, и сравнительно самодостаточных) о попытках сделать национальное государство самодостаточным не могло бы идти и речи. Если бы округа или более мелкие районы были суверенными единицами, то в каждой из них было бы совсем немного защищенных отраслей. Все регионы, которые не имеют или не могут создать определенную отрасль, являли бы собой свободный рынок для ее продукции. Если, с другой стороны, суверенные единицы были бы намного больше теперешних, стало бы намного труднее возлагать бремя на жителей одного региона, чтобы помочь жителям какого-то другого, отдаленного региона, возможно, отличающегося от первого не только по языку, но и почти во всех других отношениях.

Планирование, или централизованное управление экономической деятельностью, предполагает наличие общих идеалов и общих ценностей; и его масштабы ограничены

тем, в какой степени такого рода согласие относительно общей шкалы ценностей удастся достичь либо навязать. [Ср. по данному и следующим вопросам мою работу: *Freedom and the Economic System* ("Public Policy Pamphlets", No. 29, [Chicago, 1939] и более позднюю по времени: *The Road to Serfdom* (Chicago: University of Chicago press, 1944). (Рус. пер.: Хайек Ф.А. Дорога к рабству. М., "Экономика", 1993.)] Ясно, что согласие это будет обратно пропорционально однородности и близости взглядов и традиций жителей той или иной территории. В национальном государстве подчинение воле большинства облегчается благодаря мифу о национальной независимости; поэтому нужно ясно отдавать себе отчет, что люди намного неохотнее станут подчиняться любым вмешательствам правительства в их повседневные дела, если контролирующее его большинство составляют представители разных национальностей и разных традиций. В конце концов, простой здравый смысл требует, чтобы власть центрального правительства в федерации, состоящей из многих разных народов, была ограниченной во избежание столкновений с растущим сопротивлением со стороны различных групп, входящих в ее состав. Что может более грубо вмешиваться в частные дела людей, чем централизованное управление экономической жизнью с его неизбежным дискриминационным подходом к разным группам? Вряд ли вызывает сомнения, что в федерации поле для регулирования экономической жизни будет у центрального правительства меньше, чем в национальном государстве. И поскольку, как мы видели, полномочия составляющих федерацию государств будут урезаны даже еще сильнее, большая часть ставшего привычным для нас вмешательства в экономическую жизнь окажется совершенно неосуществима при федеративном устройстве.

Этот момент можно лучше всего проиллюстрировать, если мы на минуту обратим внимание на проблемы, поднятые наиболее развитой формой планирования -- социализмом. Давайте сначала поставим вопрос, могло ли бы когда-нибудь социалистическое государство, например СССР, войти в федерацию с атлантическими демократическими государствами. Ответ будет решительно отрицательным -- не потому, что другие государства не захотели бы принять Россию, но потому, что СССР никогда не мог бы подчиниться условиям, которые наложила бы федерация, и допустить свободное движение товаров, людей и денег через свои границы, сохраняя в то же время свою социалистическую экономику.

С другой стороны, если мы рассмотрим возможность введения социалистического режима для всей федерации в целом, включая Россию, неосуществимость такой схемы сразу же становится очевидной. При различиях в уровне жизни, традициях и образовании, которые существовали бы в такой федерации, было бы, конечно, невозможно найти демократическое решение главных проблем, стоящих перед социалистическим планированием. Но даже если мы рассмотрим федерацию, составленную только из нынешних демократических государств, как, например, предложил Кларенс Стрейт, трудности введения общего социалистического режима вряд ли были бы меньше. Вполне представимо, что французы или англичане доверили бы охрану своей жизни, свободы и собственности -- короче, функции либерального государства -- надгосударственной организации. Но чтобы они были готовы предоставить правительству федерации власть управлять их экономической жизнью, решать, что они должны производить и потреблять, представляется и невозможным, и нежелательным. Вместе с тем в федерации эти полномочия не могли бы быть оставлены и национальным государствам; следовательно, федерация, по-видимому, означала бы, что ни одно правительство не имело бы достаточных полномочий для осуществления социалистического планирования экономической жизни.

Вывод о том, что в федерации часть экономических полномочий, сейчас обычно принадлежащих национальным государствам, не могла бы осуществляться ни ею самой, ни входящими в ее состав отдельными государствами, подразумевает, что в целях жизнеспособности федерации роль правительства везде и во всем должна быть меньше. Определенные направления экономической политики должна осуществлять либо федерация, либо никто. Будут ли предоставлены федерации полномочия на это, зависит от возможности достичь подлинного согласия не только о том, должна ли она пользоваться такими полномочиями, но и о том, как они должны ею использоваться. Главное в том, что во многих случаях, когда окажется невозможно достичь подобного согласия, нам придется скорее пойти на то, чтобы не иметь законодательства в определенной сфере вообще, чем иметь законодательство государств-членов, разрушающее экономическое единство федерации. В сущности, выражение готовности вообще не иметь законодательства по некоторым вопросам, чем иметь его на уровне отдельных государств, будет серьезнейшей проверкой, являемся ли мы интеллектуально зрелыми для создания такой надгосударственной организации. Это вопрос, по поводу которого в существующих федерациях постоянно возникали трудности и по поводу которого, надо признать, "прогрессивные" движения обычно смыкались с темными силами. В частности, в США все прогрессивные деятели были явно склонны оказывать поддержку законодательству штатов во всех случаях, когда по тому или иному вопросу не удавалось выработать федеральное законодательство, независимо от того, было ли такое законодательство штатов совместимо с сохранением экономического единства союза. <Понятия "штат" и "государство" в английском языке обозначаются одним словом -- "state". Поэтому нужно иметь в виду, что, когда Хайек ведет речь об американских штатах или швейцарских кантонах, для него это примеры того, каким может оказаться положение национальных государств в рамках предполагаемой федерации. (Прим. науч. ред.)> В результате в США и точно так же в Швейцарии сепаратная экономическая политика отдельных штатов и кантонов зашла уже настолько далеко, что вызывает постепенную дезинтеграцию общей экономической зоны [по США ср.: R.L.Buell, *Death by Tariff: Protectionism in State and Federal Legislation* ("Public Policy Pamphlets", No. 27, (Chicago, 1939), и F.E.Melder, *Barriers to Inter-state Commerce in the United States* (Orono, Me., 1937)].

Опыт этих федераций показывает, что для предотвращения подобных тенденций вряд ли достаточно запретить тарифы и аналогичные явные препятствия на пути торговли между частями федерации. Уклонение от этих запретов отдельным штатом, взявшим курс на местное планирование с помощью административных правил, оказалось столь легким делом, потому что эффективной защиты можно достигать с помощью таких шагов, как установление санитарных норм, обязательное прохождение разного рода проверок, взискание сборов за эти и другие меры административного контроля. Ввиду изобретательности, демонстрируемой в этом отношении законодателями штатов, становится ясно, что никакие специальные запреты в конституции федерации не помогут предотвратить подобное развитие событий. Вероятно, федеральному правительству следовало бы дать некие общие полномочия по ограничению таких мер. Это означает, что федерация должна будет обладать негативными полномочиями с тем, чтобы не допускать определенные формы вмешательства в экономическую деятельность государств-членов, хотя при этом она может не иметь позитивных полномочий на то, чтобы действовать вместо них. В США различные статьи Конституции, защищающие собственность и свободу договоров, особенно положения пятой и четырнадцатой поправок, касающиеся "надлежащей правовой процедуры", выполняют в какой-то степени эту функцию и, вероятно, больше, чем это в целом осознается, способствовали предотвращению ускоренной дезинтеграции на множество отдельных экономических зон. Но в результате

они стали объектом настойчивых атак со стороны всех требующих более быстрого распространения государственного контроля на экономическую жизнь.

Конечно, всегда останутся определенные виды государственной деятельности, которые с наибольшей эффективностью будут вестись на территориях, соответствующих нынешним национальным государствам, и которые в то же время могут осуществляться, не ставя под угрозу экономическое единство федерации. Но в целом, по-видимому, в федерации ослабление экономической власти отдельных государств постепенно пошло бы -- и должно было бы пойти -- гораздо дальше, чем это будет видно с первого взгляда. Их полномочия не только уменьшатся в силу того, что часть функций возьмет на себя федерация, а часть функций, которые не могут выполняться ни федерацией, ни составившими ее государствами, придется оставить свободными от законодательного контроля, но и в силу того, что, вероятно, будет осуществлен переход значительной части полномочий от государств-членов к более мелким единицам. Есть много видов деятельности, доверенных сегодня суверенным государствам только для усиления их как таковых, но в действительности они могли бы гораздо эффективнее осуществляться на местном уровне или, по крайней мере, более мелкими единицами. В федерации все аргументы в пользу централизации, основанные на желании сделать суверенное национальное государство настолько сильным, насколько возможно, исчезают -- фактически появляется нечто обратное. Большинство желательных форм планирования могло бы проводиться сравнительно небольшими территориальными единицами. Кроме того, конкуренция между такими единицами при невозможности возведения барьеров служила бы благотворным ограничителем их деятельности и, оставляя открытыми возможности для желательного экспериментирования, держала бы их строго в соответствующих границах.

Следует, возможно, подчеркнуть, что все это не подразумевает отсутствия в будущем достаточного поля для экономической политики внутри федерации или отсутствия потребности в предельном невмешательстве в экономические дела. Это означает только, что планирование в федерации не может принимать формы, которые сегодня преимущественно известны под этим названием; что не должно быть повседневного вмешательства и регулирования вместо действия безличных сил рынка; и, в частности, что не должно быть и следа того "развития нации на базе контролируемых монополий", с мыслью о котором, как недавно указал влиятельный еженедельный журнал, "британские лидеры все больше свыкаются" [Spectator, March 3, 1939]. В федерации экономическая политика должна будет принять форму обеспечения рациональной и стабильной правовой рамки, в пределах которой индивидуальная инициатива будет иметь по возможности самое широкое поле для проявления и побуждаться действовать максимально благотворно; эта политика должна будет также дополнять работу конкурентного механизма там, где оказание определенных услуг в силу их природы не может осуществляться или регулироваться ценовой системой. Но в той мере, в какой это касается политики федерации как таковой, она, в сущности, должна быть политикой долгосрочной, проведение которой только облегчается тем фактом, что "в долгосрочном периоде все мы будем покойники", и она не должна использоваться, как часто бывает сегодня, в качестве предлога для действий по принципу *argi nous le deluge* <после нас хоть потоп (фр.)>; долгосрочный характер решений, которые придется принимать, делает практически невозможным предвидение всех их последствий для отдельных индивидов и групп, что предотвращает принятие решений путем борьбы между наиболее могущественными "интересами".

В пределах короткой статьи трудно рассмотреть сколько-нибудь подробно положительные задачи либеральной экономической политики, которую должна была бы

проводить федерация. Невозможно также привести дополнительные соображения по таким важным проблемам, как денежная или колониальная политика, которые, конечно, будут существовать и при федерации. Можно, однако, добавить по этому пункту, что вопрос, который, вероятно, встал бы первым -- должны ли колонии управляться отдельными государствами-членами или федерацией, -- имел бы сравнительно второстепенное значение. При реальной политике открытых дверей по отношению ко всем членам экономические выгоды от владения колониями, управляйся они федерацией или входящими в ее состав национальными государствами, будут примерно одинаковыми для всех членов федерации. Но в целом было бы безусловно предпочтительнее, чтобы их управление осуществлялось на федеральном, а не национальном уровне.

5

Поскольку до сих пор доказывалось, что либеральный по сути экономический режим есть необходимое условие для успеха любой межгосударственной федерации, можно добавить, что обратное утверждение не менее справедливо: отмена национальных суверенитетов и создание эффективного международного правопорядка есть необходимое дополнение и логическое завершение либеральной программы. В недавнем обсуждении международного либерализма правильно утверждалось: одним из главных недостатков либерализма XIX века было то, что его сторонники не смогли вполне понять, что достижение признаваемой всеми гармонии интересов жителей различных государств возможно только в рамках системы международной безопасности [L.C.Robbins, *Economic Planning and International Order* (1937), p. 240]. Выводы, которые профессор Роббинс делает из своих рассуждений по этим проблемам и которые суммированы в утверждении, что "не должно быть ни альянса, ни полной унификации; ни Staatenbund, ни Einheitsstaat, а Bundesstaat<ни союза государств, ни унитарного государства, а федеративное государство (нем.)> [Ibid., p. 245], по сути совпадают с политическими аспектами выводов Кларенса Стрейта, которые он недавно подробно разработал.

Отсутствие больших успехов у либерализма XIX века обусловлено в основном тем, что ему не удалось продвинуться в этом направлении. Из-за несчастливого стечения исторических обстоятельств главной причиной тому стало его последовательное объединение сначала с силами национализма, а затем социализма, при том, что и то и другое равно несовместимо с его центральным принципом. [Эта тенденция хорошо просматривается на примере Джона Стюарта Милля. Его постепенный сдвиг к социализму, конечно, хорошо известен, однако из националистических доктрин он также воспринял больше, чем совместимо с его в целом либеральной программой. В "Размышлениях о представительном правлении" (p. 298) он заявляет: "В целом, необходимым условием свободных институтов является, чтобы границы государств совпадали в основном с границами наций". На это лорд Актон возражал, что "соединение различных наций в одном Государстве есть условие цивилизованной жизни столь же необходимое, как соединение людей в обществе" и что "эта многоликость одного и того же государства является надежным щитом, ограждающим человека от вторжения правительства в сферы, стоящие к нему ближе, чем общая для всех политика, иначе говоря, от посягательств власти на ту область общественной жизни, которая избегает законодательства и управляется своими спонтанными законами". (*History of Freedom and Other Essays* [1909], p. 290.) (Рус. пер.: Лорд Актон. Очерки становления свободы. L., Overseas Publications Interchange Ltd., 1992, с. 126.)] Первоначальный союз либерализма с национализмом был вызван к жизни тем историческим совпадением, что в XIX веке национализм в Ирландии, Греции, Бельгии и Польше, а позднее в Италии и Австро-Венгрии боролся с тем же видом угнетения, которому противостоял либерализм. Впоследствии он оказался близок к социализму, поскольку согласие с некоторыми

конечными целями на время затмило полную несовместимость способов, какими два движения пытались этих целей достичь. Но теперь, когда национализм и социализм соединились -- не только в названии -- в мощную организацию, угрожающую либеральным демократиям, и когда даже внутри этих демократий социалисты определенно все больше сдвигаются к национализму, а националисты -- к социализму, не будет ли чрезмерным надеяться на возрождение истинного либерализма, верного своим идеалам свободы и интернационализма и оставившего свои временные уклонения в сторону националистического и социалистического лагерей? Идея межгосударственной федерации в качестве последовательного развития либеральной точки зрения должна суметь обеспечить новую *point d'appui* <точку опоры (фр.)> для всех либералов, отчаявшихся и оставивших свой символ веры в период бесцельных блужданий.

Либерализм, о котором мы говорим, это, конечно, не принадлежность какой-то партии; это подход, служивший перед Первой мировой войной общей почвой практически для всех граждан западных демократий и составляющий основу демократического правления. Если одна партия, возможно, сохранила немножко больше от этого либерального духа, чем другие, они все тем не менее сбились с дороги в ту или иную сторону. Но осуществление идеала международного демократического порядка требует его воскрешения в истинной форме. Правление путем соглашений возможно только в том случае, если мы не требуем от правительства действовать в тех сферах, где мы не способны достичь подлинного согласия. Если в международной области окажется, что демократическое правление возможно только в том случае, когда задачи международного правительства ограничены по сути либеральной программой, это лишь подтвердит опыт национальных государств, где с каждым днем становится все очевиднее, что демократия способна функционировать, только если мы не перегружаем ее и если большинство не злоупотребляет своей властью для посягательств на индивидуальную свободу. И все же, если цена, которую нам придется заплатить за международное демократическое правление, есть ограничение власти и сферы деятельности правительства, она, безусловно, не слишком высока, и все те, кто искренне верят в демократию, должны быть готовы ее заплатить. Демократический принцип "считать головы, чтобы не свернуть их" -- это, в конце концов, единственный известный до сих пор метод мирных перемен, испытанный и признанный достаточным. Что бы ни думали о других целях правительства, конечно, первенство должно быть отдано предотвращению войн и гражданских конфликтов, и, если добиться этого можно лишь путем сведения деятельности правительств к выполнению только этой и еще немногих основных задач, другим идеалам придется уступить. Я не приношу извинений за указание препятствий на пути к цели, в которую глубоко верю. Я убежден в реальности существующих на нем трудностей и в том, что если мы их не признаем с самого начала, то позднее они могут сложиться в скалу, о которую разобьются все надежды на международную организацию. Чем скорее мы осознаем эти трудности, тем быстрее мы можем надеяться их преодолеть. Как мне кажется, если идеалы, разделяемые многими, могут осуществиться только теми путями, которые сейчас поддерживает незначительное меньшинство, то ни академическая беспристрастность, ни соображения целесообразности не должны помешать кому-либо сказать, что он признает правильными средствами для достижения данной цели -- даже если окажется, что это средства, которым отдает предпочтение какая-то политическая партия.